

Дон Генин

Становление

(воспоминания)

книга вторая

Филадельфия - 1996

Дон Генин

Становление

(воспоминания)

книга вторая

Филадельфия - 1996

Книгу можно заказать по адресу:
2101 Winchester Ave. #C-11
Philadelphia, PA 19115
Tel. (215) 464-5924

Дон Генин
СТАНОВЛЕНИЕ
(воспоминания)
книга вторая

Don Genin
Ripening
(reminiscences)
part two

Copyright © 1996 by Don Genin
All rights reserved

Редактор Татьяна Успенская
Edited by: Tatiana Ouspenskaia

Library of Congress Catalog Card No. 94 - 69401

Издательство "Побережье"
Published by: The Coast



ДОН ИЛЬИЧ ГЕНИН

СЕНТЯБРЬ 1939 г.

ПАМЯТИ ТЕХ, КТО ПРОШЁЛ
ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ СТРАШНЫХ
ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ,
ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ,
ПОСВЯЩАЮ

Автор

ГЛАВА 1.

ПАМЯТИ ЕГО СВЕТЛОЙ.

Первую свою книгу я закончил рассказом о дядях своих — Исааке и Нафтеле. В нём пришлось мне, забегая вперёд, обратиться к годам тридцатым и даже к сороковым. Так что, по логике вещей, начинать вторую книгу следовало соблюдая известную хронологию. Но я этого не сделал, подчинившись другой логике. Необходимым показалось мне установление связи с событиями лет предшествующих. Хотя бы ради упоминания о брате моём Вовке, с которым знакомы лишь те, кто прочёл первую мою книгу. Его роль в дальнейшем будет немаловажной.

В первых главах в основу хронологии положены не столько данные календарные, сколько последовательность и взаимосвязь событий. Насколько это удалось, судить не мне. Тут уже слово читателю. Он мой главный и наивысший судья. Для него ведь, в конце концов, только для него, и трудился.

* * *

До поступления в школу нашим с Вовкой образованием занимался отец. Учил нас письму, каллиграфии, чтению и арифметике. Никаких сомнений в том, что, будь отец мой учителем, педагогом, не было бы ему равных. Редкостный дар свой получил он вместе с "меламедовскими" генами родителя своего. Самые сложные вещи в его изложении становились простыми и зримыми, как бильярдный шар. И рассказчиком был отец удивительным. Обладал он незаурядной наблюдательностью и хлёстким остроумием. Слушать его было сплошным удовольствием. В общем, мастер Божьей милостью. Но... вечное это "но". Все отцовские таланты являли себя и расцветали, когда слушали его чужие. При нас же, родных его чадах, исчезали они бесследно. С нами не был он уже ни педагогом, ни даже отцом. Объяснить это я не могу. А вот понять очень даже могу. Потому что на беду свою полностью и без изъятия унаследовал этот отцовский порок. Хвалить себя не стану — это всю жизнь делали мои ученики, скажу только, что педагогом я был хорошим. Всему, что сам знал, мог научить, всё и всем объяснить с предельной ясностью. Всем, кроме... своих близких. Никогда

за долгие годы не повысил я голоса на своих студентах, аспирантах, лаборантов и всех, с кем приходилось иметь дело. Но, Господи, как я третировал собственных, бесконечно дорогих мне малышей! Каждая их ошибка, непонимание приводили меня в ярость. Откуда только брались у меня эта жестокость, унижающие и оскорбительные интонации! стыдно и больно вспомнить.

Вот так было и у нас с отцом. Чтение, письмо, каллиграфия давались мне легко. Но, как только дело доходило до арифметики, проклятых задач с трубами, бассейнами и поездками, курсирующими между пунктами А и Б, всё погружалось во тьму. Вовка с ними ладил. Был он всё же старше на год с лишним, да и головёнка имела подходящее устройство. Но я... вспомнить жутко. Туп был, как пень дубовый. Ни черта не соображал. А главное — владел мною страх, который нагонял на меня отец. Никого страшнее его для меня не существовало. Ох, и нагонял же мне жару мой дорогой папочка!

В конце концов вынес он приговор: туп сынок! Не умудрил Господь. Дай ему Бог окончить школу, а потом так: или в доктора, или в адвокаты, а не то и... в дворники. Чтобы никакой математики, никаких задач, никаких бассейнов и поездов.

С этим приговором и отправился я в большую жизнь. Впрочем, особенных неудобств я не испытывал. Школа оказалась доброй. Незнание каралось мягко. Терпеть было можно.

Первый удар по беззаботному моему житью нанёс школьный учитель Лазарь Моисеевич.

Нужно напомнить читателю, кто такой Лазарь Моисеевич.

Говорят (сам не видел, но слышал много раз), что уж, намереваясь проглотить лягушку, раскрывает пасть, и она, бедняга, сама в неё ползёт. Кричит, безумея от ужаса, а ползёт. Вот так и с Лазарем Моисеевичем. Он открывал пасть, а мы ползли. Все. Таланты и бездары. Трудяги и лодыри. Страшились, но ползли. И я полз. Всего один год был его учеником. Один только год. Но чудом, непостижимым чудом было то, что со мной произошло. Изрядный кус алгебры сумел он вколотить в меня, да так, что уже под самую шляпку. Никакими клещами не вытащить. Не раз поминал я добром своего учителя-мучителя, когда добирались мы с внуками до действий с многочленами и до алгебраических уравнений.

Но кус этот был невелик. И без него ещё оставалось немало. Были ещё и геометрия да тригонометрия, и много чего. Они остались за пределами. По ту сторону, куда добраться я уже не смог. Ни в школе, ни затем и в техникуме. Как был, так и остался неучем. Абсолютным невеждой.

Но всё проходит. Прошли школа, техникум, и настало время выбирать свой путь в жизни. Я его выбрал. Решил стать зоологом. Решил так, потому что, во-первых, по велению сердца — помните, бабочки!, а во-вторых, как говорил бравый майор Крупянский, военрук наш, чтобы жабе между ног заглядывать, не нужно ни квадратных уравнений, ни косинусов с тангенсами.

С "во-первых" всё правильно. А вот со "во-вторых" просчитался я вместе с нашим майором. Постигла меня беда. Страшное дело! Вопреки, казалось бы, логике, в перечне экзаменов на биологический факультет первой значилась математика. Это же с ума сойти! На кой чёрт биологу математика? Ведь с живыми тварями дело имеет! При чём тут алгебра и тригонометрия? Вот каким я был недоумком. Правда, и время было такое. Низко статистическое и докибернетическое. Полагаю, что и профессора наши университетские недалеко от меня ушли. Занимались себе всякими раками, червями да птицами. Занимались вполне успешно и без алгебры и тригонометрии. Но на то они и профессора. Им можно. А мне каково?

Семь отчаянных дней и ночей пережил я. Сердце своё разбитое вином пытался лечить. Потом, поуспокоившись, стал из тупика выход искать. И понял: один только выход и есть. Надо проклятую эту науку одолевать. Обойти, перескочить или как-то словчить не удастся. И ещё понял я, что одному груза такого мне не поднять. Слишком уж глубоко моё невежество.

Известно, что на ловца и зверь бежит. И на меня он выбежал. Встречаю я вдруг подружку свою былую — Фаю. Разговорились, и оказалось, что беда у нас одна. Я себе биологический, а она филологический выбрала. Уж на что я тёмный был, но она, думаю, и вовсе дальше таблицы умножения ни на пядь в великой науке не продвинулась. А выходит, что и ей выпало экзамен этот сдавать. Вот тебе и филология!

Короче. Поплакали мы с ней и договорились: кто подходящего учителя отыщет, тотчас же сообщает.

А через день, другой она звонит.

— Ну как, — спрашивает, — нашёл?

— Никак нет, — отвечаю. — Пока глухо.

— Ну и шляпа. А я нашла. Бери карандаш и пиши. Значит так: Слоним Гедалий Соломонович. Улица Трёхсвятительская, номер... Скажешь, что ты от Сайко, Ивана Потаповича. Это сослуживец отчима моего. Сайко мне этого Соломоновича ужасно хвалил. Говорит, что он даже из таких, как мы, обалдуев, профессоров делает.

Я записал. Теперь посвящаю ему главу. Я бы не только главу. Памятник бы поставил Гедалию Соломоновичу.

* * *

Встретил меня Гедалий Соломонович в полутёмной передней, так что рассмотреть его толком я не смог. Это уже потом изучил я его до самого конца и без остатка. Сейчас же только разглядел, что был он мне чуть повыше плеча (это мне-то!) и носил огромные, как у Гарольда Ллойда, роговые очки, примостившиеся на крошечном носике-пуговке.

— Значит, вы, юноша, решили заняться математикой? Экзамены вынудили или так — для души? — Голос у него был обидно-насмешливый.

— И кто же вас ко мне направил? — Я ответил. — Сайко? Так, так, помню. Иван...

— Потапович, — подсказал я.

— Да-да-да. Помню, помню и удивлён. Ох и попортили мы друг другу крови! Значит, не держит зла на меня. Трудный, трудный был случай.

Я объяснил, что самого Сайко никогда не видел. Получил адрес из вторых рук.

— Ничего не потеряли, — буркнул учитель. — А мои условия вам сообщили? Нет? Так вот. Я беру за урок десять рублей. Найдёте себе компаньона, то с двух будет двенадцать, а с трёх — четырнадцать. Деньги — за две недели вперёд. Если подходит, сразу же и начнём. Если нет, то будьте мне здоровы.

Меня даже в пот бросило. Что за разговор? Учитель он или торгаш? Будь я посмелее, да не нужда, я бы ему плюнул под ноги и ходу отсюда. Но смелости не было, а нужда была. Первый урок был назначен на завтра в восемь часов утра.

Я, конечно, явился с боем часов. На звонок вышла ко мне крошечная, словно игрушечная, старушечка.

— Вам надо Гедалия? Так он же ушёл на службу! Он всегда утром ходит на службу,— прошуршала она. Зубов у неё не было напрочь. — Вы можете его подождать.

— Как это подождать? Он же мне назначил в восемь часов!

— Его всегда все ожидают. Он очень занят, Гедалий. Такая у него самашечая жизнь. Он шовшем не думает про своё здоровье. Будете ожидать?

Я кипел. Ну и учитель! Какое свинство! Назначил и смылся! Не мог же он не знать, что будет занят? Чёрт знает что! Но делать нечего. Надо ждать.

Старушка провела меня в комнату. Я уселся в уютное, обитое серой замшей кресло и принялся рассматривать роскошную лепнину потолка и редкостной красоты пол, покрытый линолеумом, расцвеченным голубыми виноградными листьями. До революции, как я узнал потом, эта квартира принадлежала итальянскому послу.

Учитель, как и я, прибыл с боем часов. Но они пробили одиннадцать. Он даже не счёл нужным извиниться. Вбежал, бросил на стул пальто, шляпу и сел против меня.

— Как прикажете вас называть? Ага, очень мило. Обожаю ветхозаветные имена, — на лице его появилось бледное подобие улыбки.

— Теперь скажите, что вы знаете, а чего не знаете?

— Ничего не знаю, — сказал я с вызовом. Мой тон не произвёл на него ни малейшего впечатления.

— Вот и прекрасно. Люблю всегда начинать сначала. Тетрадь, карандаш захватили?

Урок длился ровно сорок минут. Речь его была сжатой и ритмичной. Ни одного лишнего слова. Самые сложные вопросы в его изложении казались простыми, как гамма до-мажор. Без единой чёрной косточки. Я сидел не шевелясь все сорок минут, как спелёнутый. Дважды у меня возникало желание переспросить, но именно в этот миг учитель поднимал маленькую сухонькую ручку и отвечал на незаданный вопрос. Чудеса! Он просто читал мои мысли. Что действительно читал, я убедился, когда он вдруг с мягкой улыбкой сказал:

— Угадал, о чём вы думаете? Нет, я не гадалка. Просто у меня столько было таких, как вы, что я всё уже знаю наперёд. Итак, всё поняли? Прекрасно. Теперь мне нужно уходить, а вам я советую остаться и поработать. Так делали многие мои ученики. Здесь вам никто не мешает, не от-

влечёт. Вы спрашиваете, как работать? — Я его, между прочим, ни о чём не спрашивал. — А вот как. Возьмите задачник и решайте всё подряд. Всё. Ничего не пропускайте! От и до. Когда кончите, алгебра будет вам ясна, как букварь. Договорились?

Я просидел до вечера. Ждал, что учитель появится. Хотя бы к обеду. Не появился. Для чего мне такой учитель? Конечно, объясняет он здорово. Но читать задачник я могу и без него. И не за десять рублей. Но что делать? Не бросать же! И я сидел. Много не получалось. Иной раз вроде выходило, но не совпадало с ответом. Тогда начинал сызнова. Ещё и ещё решал. Злился, чертыхался. И всё же в какой-то момент осознал, что занятие было не таким уж и неприятным. А когда удавалось справиться с особенно длинным и пёстрым от всяких скобок, показателей степени и корней примером, то испытывал даже, пожалуй, удовольствие.

Когда я уже собирался уходить, учитель мой появился. Попыхтел за дверью, сбрасывая калоши, вошёл, кивнул и сразу же ухватился за мою тетрадь. Я ждал, что он похвалит меня — целую тетрадь почти исписал!, но он и бровью не повёл.

— Там у меня кое-что не получилось, — сказал я вставая, — в следующий раз посмотрим, Гедалий Соломонович.

— В следующий раз? — вскинулся учитель. — А до следующего? Вы забыли, что ваш папаша платит за каждый визит по червонцу? В следующий раз! Вы только посмотрите, чего вы не сумели сделать! — ворчал он. — Тут ведь самые простые задачи! Вот рядом решили потруднее! Следующий раз... Можете вообще плюнуть на всё! В следующий раз!

Своими причитаниями он, как при первой нашей встрече, довёл меня до точки кипения. Характер у меня слабый. Самый бы раз швырнуть ему эту тетрадь и вон отсюда. Пришлось влезть в кресло и делать всё снова.

Я сидел злой, голодный и обиженный. Ну и учитель! Палач какой-то! Кровопивец! Не понимает, что ли, каково мне с утра не пивши, не евши? Но сказать было неловко. Я решал, а он только просматривал. Как запнусь или заеду не туда, подбросит вопрос или словечко. Оно, вроде, ничего не поясняет, но удивительным образом, услышав его, я вдруг прозревал. Понять не могу, как ему это удавалось. Наконец всё перерешал.

— Теперь вы свободны. Вы же, наверно, немного устали и перекусить хотите, так что можете идти.

Нет, вы такое видели? "Немного устал, перекусить..." Да это же не человек! У меня ноги подгибаются, кишки пере-сохли! Перекусить...

— Завтра у нас первый урок. Жду вас в девять часов. А теперь не теряйте времени.

Господи, какое время? И почему урок первый?

— Гедалий Соломонович, простите, не пойму, почему вы считаете урок завтрашний первым? А сегодня как?

— Сегодня была маленькая увертюра. Бесплатная, заметьте, — он, кажется, впервые улыбнулся во всю ширь своего детского ротика. А время терять вам никак нельзя. Сейчас всего лишь семь часов, а урок завтра в девять. Вы ещё горы перевернуть можете!

У меня прямо-таки спазм в горле сделался. Схватил свои манатки и — в дверь.

...На сей раз учитель был на месте. Урок начался ровно в девять. Уже через короткие пять минут я почувствовал, что слово "урок" здесь неуместно. Происходившее было явлением иного порядка. Рассказ учителя был увлекателен, изыщен, он захватывал, волновал стройностью и логичностью доказательств. И прост! Удивительно прост. Ну прямо-таки поэма! Симфония! Настоящее чудо! И уже совершенно непостижимым было то, что он проделывал в моей тетради. Она лежала передо мной, а карандаш его вихрем мчался по странице. Я даже не сразу сообразил, что происходит. Строки были обращены ко мне! Он писал их вверх ногами! И в таком темпе! Справа налево! Это же цирковой номер! Волшебство! Строка за строкой — передо мной выстраивались ряды букв, цифр, всевозможных знаков. Ну, чудо, чудо да и только. Вот это мастер!

Время я уже не воспринимал. Я вообще ничего не воспринимал, кроме этого суховатого, слегка вибрирующего голоса и набегавших, как прибрежные волны, строк на бумаге. Ничего подобного не только слышать — вообразить я себе не мог!

Он поставил последнюю точку и смолк.

— Вам всё ясно? Вы не устали? — спросил он, глубоко вздохнув. — Хотите, сделаем перерыв? Прошло уже полтора часа.

— Полтора часа! — вскричал я. — Да быть этого не может. Нет, нет, что вы! Но если полтора часа...

— Ну не устали и прекрасно.

Чудо возобновилось и длилось ещё... уж не знаю сколько.

— Боже мой Половина двенадцатого! — с резвостью подростка выскочил из кресла учитель. — У меня остаётся всего двадцать пять минут. Бегу, а вы садитесь и — за дело! Вам здесь удобно?

Вечером мы встретились снова, и всё было как вчера.

— Ну-ка, посмотрим, что вы успели? Так, так, это хорошо. И это недурно. Разобрались, значит... — бормотал он, листая тетрадь. И это сделали? Ну, молодчина! Работает, значит, голова! И сделано отлично! — Он повернул ко мне сморщенную в улыбке очкастую физиономию. На один миг.

— А это что такое? Что за чепуха? — Улыбку, как губкой, стёрло, и носик-пуговка налился кровью. — Кто же так сокращает? Тут же сумма! Сумма. Слагаемые сокращаете! Азбуки не знаете? А это и вовсе не сделали? Вы что? Смеётесь надо мной? Нет, Эйнштейна из вас не получится! Как вам это нравится? Если не хотите думать, так у меня вам делать нечего. Зря деньги получать я не привык. Как себе хотите.

Знакомая история. Клянялся ему мой папка! Спасибо хоть, что линейкой не размахивает. Тоже мне учитель! Его жёлтая физиономия с ничтожным носиком была мне просто ненавистна. Ещё какая-то пена выступила по углам бледных губ, смотреть тошно.

Но забыть о недавно испытанной радости я уже не мог. Так, видимо, и бывает в жизни. Одно есть, а другого нет. Всё дело в соотношении. Что перекроет.

Так и шли наши уроки. У Гедалия Сломоновича задачников в шкафу было великое множество, и я разделявал их один за другим. И, честно скажу, было это занятие чертовски увлекательно. Уж какие только ни встречались мне заковыристые штучки! Решишь такую, и словно леща на три килограмма подцепил. Аж трясёшься от радости. В груди тесно становится. А если ещё и Гедалий похвалит, то в пору на потолок залезть, так распирает. Вот оно где, счастье! Дальше некуда!

Весь шкаф я перетряхнул. Всё перерешал. Ну, а теперь что? Но учитель мой дело своё знал. Стал он мне приносить — Бог знает, где он их доставал — какие-то ветхозаветные, крытые мраморной бумагой книжонки прошлого столетия. Были это сборники задач, предлагавшихся на конкурсных

экзаменах императорских университетов. География — от края до края государства российского. Петербург, Казань, Воронеж, Москва и пр. и пр.

Раздобудет Гедалий Соломонович такую реликвию и весь сияет. Портфель свой, растрёпку, несёт, как подушку с орденами покойника.

— А ну гляньте, какого зверя заарканил! — врывался он в комнату, позабыв даже калоши свои сбросить.

Я вырывал из его рук книгу, дрожа от нетерпения, хватался за тетрадь и карандаш.

— Э, нет, мой дорогой, так теперь не пойдёт! Хватит бумагу переводить. Давайте без бумаги! Давно пора! Что же, зря я на вас время тратил?

Я пугался. Как же так, без бумаги? Не детские ведь забавы! Разве такое в уме делается? Но с Гедалием не поспоришь. Опять начнёт мне Эйнштейна поминать. Чуть помедлишь, и пошло-поехало. За голову будет хвататься. И точно. Я ещё в условие не вчитался толком, а он уже готов.

— Я же говорил, что Эйнштейна из вас не получится! А ведь пятый месяц бьюсь! Пятый месяц! — и он, конечно, уже воздевает руки и ерошит серенькие свои волосёнки.

Но меня его фокусы уже не пугают. Оба привыкли к этой игре. Мне она даже нравится. А главное, что знаю: верит он в меня. И я ему верю. Раз говорит, что можно без бумаги, значит, можно. Если считает, что мне это по силам, значит, по силам.

День-другой прошёл, и я забросил тетрадь. Изредка, когда уже слишком велики были числа, черкну что-нибудь для памяти. Выходит, прав был учитель.

А через неделю встретил меня Гедалий Соломонович в передней, а в комнату не пригласил. Встал передо мной столбиком и — ни с места.

— Хочу, Гедалий Соломонович, сделать взнос на следующие недели, — сказал я, протягивая конверт.

Но он отвёл мою руку.

— Всё, дорогой реб Дон, — с мягкой улыбкой произнёс он, — кончились уроки и взносы. Больше у меня вам делать нечего. В гости — пожалуйста! Буду рад. Чай пить — с удовольствием, а с уроками — всё. Ничего больше сделать для вас не могу. Что мог, сделал. Чего не смог, извините. А теперь как вам будет угодно. Хотите позаниматься, валяйте. Мой дом для вас всегда открыт.

Вот так мы с ним и расстались, с Гедалием Соломоновичем. И остаётся мне только прибавить несколько строк в качестве, так сказать, эпилога.

Сию как-то раз в "детской" нашей, и доносится до меня вот такой разговор!

— Дон Ильич дома?

— Какой Дон Ильич? Это кто такой?

— Как это кто? Учитель математики!

— Учитель? Нет у нас никакого учителя. Дон Ильич? Это... Ах! Досенька, это, наверно, к вам!

Вот так удружила мне наша дурочка домработница Франия. Ну, темнота. Нет учителя, есть "Досинька". Вот дурёха! Опозорила так, что стыдно и показаться.

А вскоре завёлся у меня настоящий хедер, по милости Гедалия. И стал я учителем. Говорят, неплохим. Впрочем, чего тут скромничать? Хорошим стал учителем. Отбоя от учеников не было. Валили, как в церковь на храмовый праздник. Я уже многим отказывал. Невмоготу стало.

Брать по десять рублей, конечно не стал, за что потом Гедалий мне взбучку устроил. Но я не отступил. Брал, правда, по его примеру с одного — восемь, а с двух — десять и с троих — двенадцать. Очень недурно зарабатывал. Всё, что Гедалию выплатил, вернул с лихвой. Но это не главное. Главное, что экзамен сдал на "пять" да ещё и с плюсом. Да что с плюсом! С двумя плюсами! Прославился на всю комиссию! В один голос все её члены меня уговаривали, чтобы плюнул я на своих бабочек и шёл на физмат. Но я устоял, хотя и лестно было. Весьма и весьма. Устоял на свою голову и пошёл на биофак, со всей его мутью мичуринской и лысенковской той поры. Простить себе не могу, всю жизнь себе испоганил. Вот такие получились бабочки! Но это разговор особый. Ни к чему он здесь.

Как бы то ни было, а память светлейшую о чудном учителе моём я храню благоговейно. И не только потому, что математику он мне открыл. Он сделал куда больше. Он в тайну меня посвятил. Тайну педагогического мастерства, научил многотрудному его искусству. И ещё что-то дал он мне, чего и выразить не могу. Силу он в меня влил. Никогда прежде, до встречи с ним, не знал я такого чувства, чувства п о б е д и т е л я, уверенности в том, что я могу всё. И ещё я понял, что так должно быть всегда, что именно к этому должно стремиться. Всегда и во всём. И всё это я понял благодаря ему, Гедалию Соломоновичу Слониму, маленько-

му, смешному человечку, с крошечным носиком и огромными очками. Понял я ещё, как жестоко может ошибиться педагог и сколь тяжёлыми могут быть последствия его ошибки. Это я о своём отце. Бог смиловился надо мной и послал мне Гедалия Соломоновича. А ведь мог бы и не послать.

ГЛАВА 2.

ЕЩЁ РАЗ ОБ УБЕЖДЕНИЯХ

Чужая, говорят, душа — потёмки. Не спорю. Потёмки и есть. А своя как? В ней, что ли, всё понятно? По своей воле мысли там рождаются? Да ничего подобного! Сами они по себе заводятся, как черви или какие-нибудь инфузории в сенных настоях. И управы на них нет.

Вот взялся я написать свои воспоминания. И с чего же начал? С убеждений. Просто-таки не задумываясь, сходу, стал свои убеждения описывать. Это у меня-то, тогда! Ну какие убеждения у несмышлёныша, который и на стол-то мог заглянуть лишь встав на цыпочки?! А ведь написал же! И честно написал! Значит, были?

Всё это я так, к слову. Главное, что не всё так просто с убеждениями. Без них в то время не обходилась никакая живая материя. Значит, был я вправе о них вспомнить прежде всего. Любимая учительница моя, которая у нас обществоведение преподавала, всё время твердила: "Человек должен быть сыт, одет, обут. Лишь тогда может он интересоваться политикой, литературой, искусством и всем прочим". Странно только, что, вопреки тому, чему учила нас Нина Ивановна, не был я ни сыт, ни одет, ни обут. А значит, если по закону, то не должен был я интересоваться ничем, кроме наинасущнейших потребностей своих. Какие могут быть ещё интересы, когда в тоске мечутся кишки, томит тело холодный озноб и вечно зудят обмороженные пальцы худо обутой ног?

А они были, интересы. И в немалом числе. Всё размышлял, мозговал, прикидывал, кто есть кто? Которые "наши" и которые "не наши"? И цвет, цвет у кого какой? Где белые, а где родные красные? И ещё мучительно искал определения, искал признаки, чтобы без ошибки распознать буржуа, рабочего или крестьянина. Впрочем, с этими последними я разобрался без особого труда.

Вот, к примеру, слесарь Миркин, что жил под нами и чинил-лудил кастрюли, налаживал примусы и протекавшие краны. Тут и думать нечего. Самый он что ни на есть рабочий. Он и ходит всегда чумазый, с сажей под носом, как положено представителю его класса. И с тётей Дуней, которая носила нам молоко, тоже было просто. Тётя Дуня, конечно, была крестьянкой. Во-первых, она жила в деревне. Дарнице. Во-вторых, у неё была корова, а у рабочих коров не бывает. Некоторые сомнения, правда, у меня возникли. Носила тётя Дуня золотые зубы, и, когда улыбалась, рот её сверкал, как таз для варенья. Но зубы зубами, а корова коровой. Так что сомнения мои были недолгими.

С буржуями дело обстояло хуже. Просто даже плохо обстояло. Не мог я с задачей этой справиться. И помочь было некому. Ведь семьдесят лет понадобилось, чтобы распутать этот тугой узел. Слава Богу, хоть тихенько, а звучат в наши дни голоса, призывающие опомниться, взглянуть трезво на преданных анафеме предков наших — буржуев. И не только их, а и вообще всех, чей мир мы торжественно клялись разрушить до основания. А как стали разбираться, то вышло, что были многие из них не врагами трудового народа, а напротив, делали ему добро. При них, буржуях, строились заводы и дороги, процветала торговля, и милосердия были они не чужды, сооружали больницы и дома, где немощных призревали, и искусства поощряли, и многое ещё другое делалось ими для блага народа. Вот как всё обернулось. А мы всю дорогу только плевали в их сторону да гадкие картинки рисовали.

Но тут я уже далеко в сторону заехал. Заболтался. А речь ведь о чём? Всё о том же. Был не сыт, не одет и не обут. К тому же, как говорится, от горшка три вершка. Но политикой интересовался. Вникал. Даже линию свою имел.

Были у меня убеждения? Вне всякого сомнения. Были. Ведь и в пионерах состоял, и бабушку свою, которая никак не хотела порвать с проклятым прошлым, правильно воспитывал. Она, между прочим, позволяла себе такие шуточки, вроде: был Николка-дурачок, была булка пятачок! Как будто булок ей не хватало. Слава Богу, каждую пятницу ей у Вейцмана самые белюсенькие халы покупали. Она над ними и подсвечниками проделывала пассы и шептала свои заклинания: борух, ато, аденой, мелах гойлум... Дальше не помню. Ох, как же давно это было!

Значит, были убеждения, и линия моя была твёрдой и ровной, как телеграфный столб. Какая, спросите, линия? А вот такая. Власть у нас советская. Рабочая и крестьянская. И всё она делает, чтобы бедным людям жилось хорошо, а богатым, таким, как Могилянский с его мельницей и магазином, — плохо. И управляет всей нашей рабоче-крестьянской страной — Ленин. Владимир Ильич. Вот и вся линия. РСФСР, одним словом.

А между тем, когда, тужась изо всех сил, хочу вспомнить хоть что-нибудь, имеющее прямое отношение к политике, то ничего у меня не получается. Одни лоскутки. Обрывки. Даже о Ленине — вожде мирового пролетариата только день смерти его в памяти и сохранил.

Стояли мы, помню, в тот вечер, как обычно, все у печки. Мы часто так стояли и грелись, прижавшись к её ласковым кафельным бокам. Было почему-то темно. Это я тоже точно помню. Наверно, свет отключили. Его тогда часто отключали. Потом отец зажжёт керосиновую лампу. И тут позвонили в дверь. Пришёл папин товарищ — господин Бородянский. Пришёл какой-то всключенный и даже раздеваться не стал. Ввалился в комнату при калошах и в шубе внакидку.

Ему мать:

— Что случилось, Михаил Осипович, что вы мечетесь? Садитесь, сейчас вскипит самовар, будем чай пить.

— Какой чай! Какой там чай! — вскричал он. — Вы, что, с луны свалились? Ничего не знаете? Ленин умер! Ленин! Что теперь будет? Не знаю, что и думать! Кто станет во главе правительства? Троцкий?

Он сделал отчаянный взмах рукой. Шуба соскользнула с его плеч, и он подхватил её в последний момент.

— Троцкий — вояка. Ему армией командовать, а не государством управлять. Плохо, плохо будет без Ленина.

Что-то стали они с отцом обсуждать, спорить, даже на крик перешли, но я или ничего не понял, или позабыл. Скорее всего, потому и позабыл, что ничего не понял. Вот такой лоскуток сберёгся. Понимал я мало, но на душе было жутковато. Особенно, когда услышал, что плохо будет без Ленина. Но горевал я недолго. Тем более, что ничего дурного за смертью Ленина не последовало. Напротив, жить стало лучше. НЭП всё увереннее шагал по измученной стране. Без Ленина.

И ещё обрывок, уже из школьных моих лет. Какой-то на уроке Нины Ивановны возник разговор, и впервые тогда я

услышал имя Сталина. Что о нём говорилось, как его представила нам Нина Ивановна, всё позабыл. Помню лишь, что Сашка Голубев спросил, какой Сталин национальности и какой занимает пост. Вот тогда я и узнал, что он грузин, фамилия его Джугашвили, и что в партии большевиков он главный секретарь. Наверное, Нина Ивановна сказала — генеральный, но я воспринял так. Главное — это и понятнее, и выговорить проще.

Может показаться странным, что я, не самый тёмный среди своих сверстников, ничего не слышал о Сталине до этого дня. Но всё обстояло именно так. Ни в школе, ни в семье это имя не звучало, хотя всех наших вождей мы, мальчишки, знали хорошо и даже в лицо. Запоминали мы их потому, что азартно собирали конфетные этикетки. Теперь — это я слышал от внуков — их называют фантиками. Так вот, на фантиках тогда было принято печатать портреты. Были конфеты "Маркс", "Роза Люксембург", "Зиновьев", "Ленин" и другие. Самих конфет мы никогда не видели. Кто их ел, уж и не знаю. К нам они, по всем признакам, попадали из типографии, потому что были без единой морщинки. Гладюсенькие. Мы их ласково "прессиками" называли. Ну и, конечно, всех вождей знали наперечёт. А вот конфет со Сталиным не было. И газет мы не читали. Откуда могли мы о нём узнать?

И вот пытаюсь разгадать эту загадку. Газет не читал. В школе ещё царил дух старой гимназии. Была она, выражаясь современным языком, деполитизирована. С вождями знакомился по конфетным бумажкам. Но при всём том идеологическая основа во мне сложилась и сидела прочно. Без малейших колебаний следовал ей долгие годы. Никаких сомнений у меня не возникало. Окружающий мир виделся мне устроенным наилучшим образом, не требующим никаких изменений. И если даже встречался я с очевидной несправедливостью, то с лёгкостью находил ей объяснение и оправдание. И всегда, конечно, с единственно правильной, классовой, "нашей" позиции. Ни для семьи, ни для себя лично никаких поблажек я не терпел. Никогда общественное не заслонялось и не подчинялось личному. Моя преданность Великой Идее была безграничной. Достаточно сказать, что в нескончаемой борьбе моих родных с фининспектором, я был на его стороне. В детали не вникал, да и не смог бы, по мелкости своих суждений. Но суть улавливал. Понимал: инспектор хочет побольше взять, а родители — поменьше

отдать. Очень просто. Станным образом, их позицию я считал неблагоприятной. И это при том, что не мог не сообразить: больше отдадут, меньше останется. Всем нам и мне в том числе. Но, чёрт знает, на чём строилась моя уверенность, что в этом споре прав фининспектор. Она просто была стихийной. Понимал, что он — представитель власти. А какая у нас власть, известно. Рабоче-крестьянская. И уже поэтому всегда, конечно, и во всём справедливая. Чью же мне сторону держать? Тут и думать нечего! Родители мне дороги, и даже очень, но истина ещё дороже. Так что какой-то задел, какая-то заявочка на славу незабвенного Павлика во мне уже зарождалась.

Слава Богу, нимба вокруг головёнки малолетнего предателя ныне уже нет. И деяние его не возводится в ранг высочайшей доблести. Даже сам факт ставится под сомнение. А я в глубинах глубин своей души таю мысль: может быть, очень даже может быть, что не было факта. Но что был он, Павлик, к совершению своего "подвига" готов, я очень даже допускаю. Да не только готов, а и желал его. Ибо, как сказано в "Нагорной проповеди": "Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своём". Пусть не было прелюбодеяния, но вожделение было. Ещё не совершённое предательство уже было обречено на славу. По логике вещей. Пусть бы и вовсе не было юного героя. Это не имеет ровно никакого значения. Было нечто в тысячу раз более страшное: был с и н д р о м Павлика, и было им поражено всё наше поколение. И не одно наше.

События, которым посвящены предшествующая и все последующие главы, относятся к зрелым моим годам. Но я не зря вернулся к дням моего детства. Они для меня вечная загадка, потому что именно тогда необъяснимым образом уже сложился во мне тот образ мыслей, тот комплекс мироощущений и восприятий окружающей жизни, который составляет суть советского человека. То же произошло и с моими сверстниками. Все мы сформировались в "советикусов". Независимо от того, каковы были наши семьи. А ведь среди нас попадались и нэпманские дети, и дети тех, кого принято было называть "бывшими". И это то, чего постичь я не могу и по сей день.

ГЛАВА 3.

О МОЕЙ И НЕ ТОЛЬКО МОЕЙ ЛЮБВИ.

Когда задумал я посвятить главу светлой памяти учителя моего Гедалия Соломоновича, никаких планов иных не имел. Только о нём, учителе, и думал. Ну немножко, может быть, о себе. Чуть-чуть. Очень уж не простое место в жизни моей занял этот человек. И то, что совершил я скачок от мрака невежества к свету мира цифр, обойти молчанием было бы жаль. Тем более, что сыграл скачок этот в судьбе моей роль, которую предугадать было мне не дано. И дело здесь не столько в уравнениях и многочленах, сколько... А впрочем, чёрт его знает. Может быть, именно в них, многочленах, всё дело и было. Такая уж удивительная штука жизнь. Живёшь себе, вершишь маленькие свои дела, делаешь, казалось бы, как придётся, плывёшь, вроде, по течению, а пройдёт какое-то время, оглянешься и только диву даёшься, как всё сплелось и куда повернулось. Прямо-таки мистика какая-то. Поступал так, потому что иначе и нельзя было, а вышло нечто невообразимое.

Вот пытаюсь выстроить события в их естественном, даже строго хронологическом порядке. Одно за другим. Ведь как всё было? Было так, что сначала обрушилась на меня беда с необходимостью сдавать экзамен по математике. Стал беду преодолевать и, конечно, неизбежной стала встреча моя с учителем математики. Иначе и быть не могло. Не я один, тысячи таких в подобном положении обращались к учителям. И те натаскивали их. Кто хуже, кто лучше. Сдавали эти тысячи свои экзамены и об учителях забывали. А мне вот такой достался, незабываемый, который не "натаскал", а чудо совершил. Из грязи в князи вытащил. И то, что стал я таких, каким недавно был сам, из грязи в князи вытаскивать, опять же вполне закономерно. А уж что умел я дело это трудное делать лучше иных, тут, конечно, Бог помог. Только он один.

И вот с этого самого места стали события разыгрываться самым удивительным образом.

Рассказывает однажды мать, что встретила случайно на Крещатике давнюю свою приятельницу. Встретились они и разговорились. Разговор, конечно, о детях зашёл, и тут, полагаю, решила мать похвастаться: вот какой де у неё младшенький молодец. Закончил техникум, работает в депо и

теперь готовится в университет. А пока что уроки даёт по математике и, между прочим, недурно зарабатывает.

Очень обрадовал приятельницу рассказ, и стала она жаловаться, что и её дочь на биофак собралась. И всё бы ничего, если бы не эта математика. Так вообще девочка она способная, по всем предметам училась хорошо, но математика... Кто мог думать, что будет экзамен? Она ведь и факультет выбрала такой, чтобы без математики!

Довела мать рассказ свой до этого места и задаёт уже наперёд мною угаданный вопрос. Я даже закончить ей не дал.

— И ты, — говорю, — как я понял, меня в это дело втравила? Забыла, что я уже давно всем отказываю? А с этой, твоей, придётся ещё и за "спасибо"? Знаю я таких, которые по всем предметам "хорошо", кроме математики. Так они хоть платят! И кто только тебя за язык тянул?

Я понимал, что поступаю дурно, но как подумаю, что мне предстоит, так у меня всё тело зудеть начинает.

В общем, выбросил я всё это из головы. Она и так была заморочена работой, учениками, предстоящими экзаменами, да, к тому же ещё и Фаей. Роман наш вступил в самую грустную фазу. Это когда оба понимают, что будущего нет, настоящее уже невыносимо, и всё держится на одном лишь прошлом. Оно одно только и связывает. Труднее всего оторваться от прошлого. Прошрое всегда — в свете, ничто не может омрачить его, нетленно оно.

Но, как известно, если суждено тебе утонуть, то может это и в ложке произойти.

А было мне, видимо, суждено. Так что и недели не прошло, как на том же Крещатике носом к носу сталкиваемся мы с матерью с этой самой приятельницей. Я почему-то сразу понял, что это она, хотя никогда прежде и краем глаза к ней не прикоснулся. А та уже издали, завидев нас, приготовила такую радостно-изумлённую улыбку на круглом, не лишённом, впрочем, приятности лице. И так она этой светлой улыбкой меня заморозила, что ничего вокруг я и заметить не успел. Мать тоже состроила подходящую мину, и пошли мы на сближение. Тут только и увидел я, что эта улыбающаяся женщина не одна. Чуть поотстав, не глядя на нас и даже вовсе отвернув лицо куда-то в сторону, следует её спутница. Теперь, когда сошлись мы вплотную, сумел я её разглядеть. Употребляю это слово, хотя понимаю, что оно здесь никак не годится. Ничего я не разглядел. Если, увидев

это лицо, я что-то ощутил, то менее всего имело это отношение к глазам. Дивный образ прошёл, минуя их, к самому сердцу.

Не хочу употреблять здесь приевшихся выражений, которыми обычно пользуются при описании так называемой любви с первого взгляда. Во-первых, терпеть не могу затасканных слов, а во-вторых, никакой такой любви у меня не возникло. Я просто был ошеломлён, как это бывает при внезапной встрече с чем-то удивительным или невообразимо чудесным. Именно таким было лицо и особенно глаза моей новой знакомой. Ясные, сияющие и неправдоподобно широко расставленные, как у новорождённой козочки или ягнёнка. Казалось, занимали они половину всего лица. И остальные черты виделись мне совершенными до нереальности. Такие лица встречал я у мраморных античных статуй или на полотнах великих мастеров прошлого. Взгляд этих глаз был печален, и печаль из них не ушла даже тогда, когда нас знакомили. И улыбка не появилась на лице, когда шевельнулись губы, чтобы произнести имя. Я почувствовал себя неловко, хотя вообще робостью не отличался.

Звали это чудо Ирой, и мне показалось, что имя это как-то ей не к лицу. Лучше подошло бы какое-нибудь библейское. ветхозаветное или классическое. Вроде Суламифи, Руфи или Геры.

Между тем, мамы наши повели разговор на тему, которая меня уже не страшила, если не сказать больше. Иметь такую Иру в ученицах не казалось мне столь уж обременительным. Не знаю почему, но мать сочла, что согласие моё в кармане и обсуждению подлежат лишь детали. Да так оно и было, по совести говоря.

В общем, договорились. Занятия решено было начать сразу же, поскольку времени до экзаменов оставалось в обрез. Я, конечно, не возражал. Шок, в который повергла меня неожиданная встреча, ещё не прошёл, и я молча продолжал разглядывать необыкновенное существо. Осмелев, я даже решился перевести взгляд с лица на всё, что располагалось ниже, и показалось оно мне столь же совершенным. Теперь восхищение моё сменилось грызущей тоской. Той тоской, которая возникает при виде чего-то очень желанного, но недоступного, безнадёжно-недосягаемого, лежащего за пределами твоих возможностей. Нет, я не их тех кобелей, которые, завидев смазливое личико, рубенсовский зад или грудь, сразу же мечтают заполучить всё это в постель. К мы-

сли о постели я иду долгим путём, а иной раз не прихожу к ней вовсе, о чём не раз мне приходилось впоследствии сожалеть. Но так уж я устроен не по-людски, и, разглядывая свою новую знакомую, я никак не представлял себе наших будущих отношений. Я был восхищён, поражён, но вожделения не испытывал. Одна лишь тоска владела мною. Безнадёжно-мучительная тоска.

* * *

Если скажу, что никакому другому предмету человечество не уделило столько внимания, сколько — любви, то вряд ли кто-нибудь станет мне возражать. Да и нечего возражать. Она, любовь, с незапамятных времён в центре всеобщего внимания мировой, так сказать, общественности, и ничего нового в этих словах моих нет. Я даже осмелюсь пойти дальше и заявить: будет о любви ещё написано, рассказано и спето столько же и даже в тысячу раз больше, сколько написано, рассказано и спето уже, и всё равно останется она неразгаданной и нераскрытой вечной загадкой. Без ясности и научного определения. Тем более, что, как уже отмечено древними, меняются времена, а с ними и нравы. И, конечно же, изменится и любовь. Она уже сейчас не та, что была прежде, и принимает самые необузданные формы.

Скажу о себе. Жизнь моя прожита. Долгая жизнь. И кое-что о любви довелось мне тоже узнать, услышать, прочесть, да и самому испытать. Но ответить на самый из всех простой вопрос: что такое любовь, что стоит за этим, столь примелькавшимся словом, не возьмусь. Тонет он в неоглядном многообразии, где уловить закономерность не удаётся. Одно лишь должен сказать, что при решении этой нелёгкой задачи высочайшие образцы любви, почти недоступные, непостижимые её вершины, брать в расчёт нельзя. Ни в коем случае. Они — явления чрезвычайные, я бы даже сказал, экзотические и человечеству в целом недоступные.

О чём говорят нам такие, уже совсем запредельные, примеры чувств, которые испытывали Петрарка к своей Лауре или Данте к Беатриче или даже совсем уж близкий к нам герой купринского "Гранатового браслета"? Кто встречался с подобным в нашей приземлённой, многотрудной и суетной жизни? Да никто! Такие люди, с их чувствами, — существа иного порядка. Они — Божьи избранники, наделённые особыми умом и сердцем, чувствами не доступных осмыслению

мощи и красоты. Они, я бы сказал, аристотели, ньютоны и эйнштейны в сфере чувств. Ни равняться на них, ни, тем более, принимать их во внимание в нашем произведении смысла нет.

Оставим их. Что до всех прочих, Богом не избранных, то с ними всё проще и понятнее. И закономерность проглядывает. Наблюдал я её, эту среднестатистическую, всенародную, так сказать, любовь. Сам не раз бывал в неё вовлечён. И пришёл я к невесёлому, обидному и даже в какой-то мере унижительному заключению.

Всё в любви происходит подобно тому, что можно наблюдать в простейшем химическом опыте. А в химии как? Если два вещества, способных, замечу, по природе своей и месту в таблице Менделеева ко взаимодействию, поместить в пробирку или колбу, то раньше или позже, и чаще раньше, чем позже, произойдёт реакция. Вещества вступят во взаимодействие, и возникнет нечто новое, чего недавно и в помине не было.

Вот так, примерно, и с любовью. Два существа, способных к взаимодействию, помещённые в благоприятные условия, неизбежно вступают в интимную связь. Такова безрадостно-обидная закономерность, простая до отвращения. Всё происходит так, словно участники этого события — не по образу и подобию созданные существа, наделённые сложной организацией и интеллектом, а намагниченные железные чурки. Одни со знаком плюс, другие со знаком минус, и в результате — хорошо известный эффект. Взаимное притяжение.

Всю жизнь и по сей день, когда уже и голова, и борода — белые, и зубы — замечательные, мастером искусным обработанные, душа моя протестует против этого. Всегда казалось мне, что соединяет людей не это примитивное, казалось бы, унижающее человеческое достоинство притяжение, что любовь — чувство более высокое, чем заурядная сексуальная реакция. Но опыт всей моей долгой жизни никак мне утвердиться в таком мнении не помог. Ничего, кроме этой реакции, я не встречал. На меня и ныне нападает тоска, когда думаю об этом. А вокруг только и слышишь: любовь, любовь, любовь... Пишут о ней стихами, пишут прозой, изображают на подмостках и поют, поют... Выходит, пишут и поют об этой самой реакции. И весь этот шум всего лишь вокруг физиологического процесса. Да и сам шум — словес-

но-музыкальное явление того же порядка. Та же физиология его и творит.

Пусть всё сказанное не шокирует читателя, и да не сочтёт он меня вульгарным циником или примитивным простаком. Я, конечно же, понимаю, что всё далеко не так просто. Между вершинами, уходящими в заоблачные выси, и тем, что в прахе у наших ног, — бессчётное число разнообразных промежуточных состояний. Не все, очутившись в сколько-нибудь изолированном пространстве, без промедления, срывая с себя одежды, кидаются друг к другу. К тому же, даже и после такого, самого что ни на есть физиологического сближения, нередко возникает прочное и всяческого восхищения достойное чувство. Бывают отношения, где и вовсе отступает на задний план физиология и жертвенное слияние душ образует прочный, нерушимый союз. Всё бывает. Подобно тому, как миллиарды людей, населяющих планету, обладают каждый своим неповторимым пальцевым отпечатком и набором генов, такими же неповторимыми бывают в любви человеческие взаимоотношения. Но вынужден заметить, что когда отпечатки пальцев и генные наборы подвергаются классификации, то оказывается, что есть среди них типичные, тривиальные формы, коих подавляющее большинство, и есть своеобразные, оригинальные. Одни обычны, вторые — редкостны. Вот и с любовью так. На беду свою, встретился и я с такой. Мало, скажем, оригинальной. Той, что привела меня к рассуждениям о пробирках, колбах, менделеевской таблице и железках с разными знаками. Плюсом и минусом.

* * *

Позволил я себе порассуждать насчёт любви не просто так, как говорится, для разговора. Вспоминаю ход событий далёкой давности и вижу, при нынешней мудрости своей, что ничего исключительного в событиях этих не было. Вполне укладывались они в приведённую схему с химическими веществами и железками. Были способные к взаимодействию существа, и были более менее подходящие условия. Вот она, реакция, и произошла.

Начались наши с Ирой уроки. Теперь я получил неограниченную возможность рассматривать в подробностях то, что так меня впечатлило при первой нашей встрече. И скажу честно: ни в чём разочарован я не был. Всё оказалось та-

ким, как тогда. Более того. Нашёл я много такого, что прежде было мне неизвестно. Например, неизъяснимо-прекрасным оказался Ирин смех. Мелодичный, звонкий, какой-то трогательно-беззаботный, как смех младенца. Столь же притягательной была и мимика её лица, на редкость подвижного и переменчивого. Выражение его менялось ежеминутно. И каждая перемена украшала это лицо. Хмурилось ли оно в момент напряжения мысли, расплывалось ли в улыбке, или появлялась на нём откровенная кокетливая гримаса — всё было умирительно-очаровательным и будило во мне неодолимое желание. Не плотское, Боже упаси! А то, что возникает по отношению к слабому, милому существу, ребёнку или животному, котёнку, щенку или птенцу. Естественное желание прикоснуться, приласкать, излить спровоцированный ими порыв нежности. Но, когда речь идёт о ребёнке или щенке, чувства эти чисты и бескорыстны. Ни во что другое они не перерастают, замыкаясь на самих себе. Но прикосновение к женщине, да ещё такой, как Ира, самим собой не исчерпывается.

Я вообще прикосновению отвожу особое место в человеческих отношениях. О многозначительных взглядах написано много. О прикосновениях почти ничего. Между тем, желание прикоснуться к живому существу есть одна из важнейших эмоциональных потребностей, одна из форм общения. Оно, прикосновение, может совершенно не иметь сексуальных побуждений. Более того, стремление прикоснуться весьма настойчиво, даже когда предмет и вовсе неодушевлён. Недаром повсюду в музеях всего мира развешены таблички: "Не прикасаться!", "Руками не трогать!" Те, кто развесил такие таблички, знают, что к прикосновению тяготеют все. По-видимому, все прочие чувства остаются неудовлетворёнными без соприкосновения, без телесного взаимодействия. И если такого чувства человек лишён, то значит есть в нём какая-то ущербность.

Слава Богу, ни я, ни Ира ничем обделены не были. И очень скоро наши отношения вступили в самую захватывающую фазу — фазу изначальных и на этом этапе ещё невинных прикосновений. Не знаю как они, эти прикосновения, расценивались ею. Но было очевидно, что неприятны они ей не были. Обо мне и речи нет. Я пользовался любой возможностью притронуться к ней. К её руке, плечам, волосам. Я, конечно, старался сделать так, чтобы такие мои движения были оправданы, естественны, без подтекста. Если,

например, решая задачу, она делала ошибку, я на самом, так сказать, законном основании останавливал её руку. На том же основании удерживал её в своей, пока длилось моё объяснение. Если, напротив, она быстро и верно справлялась с заданием, я как бы в награду запечатлевал на её лбе поцелуй. И всё это выглядело, как мне казалось, так просто и естественно, что всякий её протест был бы неуместным и даже обидным.

Одно лишь смущало меня и удерживало от дальнейших, более решительных действий. Я уже к этому времени кой-какой опыт в амурных делах имел. Знал цену и этим, пока ещё робким шагам. Ира же виделась мне существом младенчески невинным. Даже её терпимость к моим "учительским" объятиям и поцелуям в лобик или в ручку, убеждали меня в этом. Дитя и дитя. Что с неё взять? Совращать такую букашку было не в моих правилах. Да и о последствиях не грех было бы призадуматься. Не один я здесь в ответе. В какой-то мере, да и не в малой, моя мать ответчик перед Ириной семьёй. Нет, дальше так нельзя. Пока ещё не поздно, надо прекратить эту рискованную игру.

Все эти невесёлые мысли преследовали меня неотступно. Вместе с тем, я осознавал, что это тот случай, когда ничего изменить не смогу. Кто-нибудь другой, более твёрдый, наверно, повёл бы себя иначе. Какой-нибудь Рахметов, к примеру, который спал на гвоздях и позволял себе баловаться апельсинами только находясь в Петербурге. Но я не Рахметов. Все эти штучки не по мне. Ни гвозди, ни апельсиновые подвиги. Иметь в руках такой райский плод, как Ира, надкусить его и по доброй воле отбросить? Нет, такое мне не по силам. Значит, выход один: бежать мне надо.

Был, правда, и ещё один путь — законный, так сказать, брак. Но к нему я никак ещё готов не был. Хотя и специальность имел, и заработок кое-какой, но в душе и по природе своей считал себя мальчишкой. Неотъемлемым членом родной семьи. Даже мысль о том, чтобы заявить матери и, тем более, отцу, что хочу, дескать, жениться, казалась мне совершенно несуразной. Значит, надо бежать.

Найти пристойный предлог и спокойно, тактично отказаться от уроков. И не так уж это и сложно, в конце концов. Ведь есть же у меня Гедалий Соломонович! Передам Иру ему, и все дела. Чего доброго, он ещё и с ней такое чудо сотворит, как со мной, и все будут счастливы. Идея, конечно, была замечательной, с какой стороны ни посмотри. Но

мысль о том, что Ира расстанется со мной без сожаления, была убийственна до невозможности. Да и сам я с болью думал о том, что потеряю её. Ведь так хорошо было видеть её ежедневно, вести эту волнующую игру с прикосновениями и маленькими нежностями. Господи, где взять силы на такое!

Не отдал я Иру Гедалию. И вообще никаких решений принимать не пришлось. Всё сделалось само собой. Внезапно и неожиданно. Неожиданно до упоминания.

* * *

— Ирушка, доченька, ты можешь выйти на минутку? — приоткрыв дверь и просунув в щель голову, прошептала Дина Иосифовна, Ирина мать.

— Не могу, не могу, потом, видишь, мы заняты, — бросила Ира, соорудив очаровательную гримасу и продолжая писать.

— Ну, ну, пусть потом. Я только хотела сказать, что пришло письмо от Дани. — Дверь захлопнулась, но Ира уже вскочила.

— Я сейчас, только посмотрю письмо, — сказала она и выбежала из комнаты.

Долго ждать мне не пришлось. Письмо, видимо, было не очень длинным. Ира вернулась и сразу же уселась, взяв в руки карандаш.

— Что случилось, что за письмо? — спросил я больше из вежливости, чем из любопытства.

— Письмо от Дани. Он же у нас на Дальнем Востоке. Письма оттуда идут очень долго.

— Простите, Ирочка, кто это, Даня?

— Как кто? Даня — мой муж, вы разве не знаете? Я думала, мама вам говорила.

Мне даже невозможно себе вообразить, что произошло с моим лицом, только Ира расхохоталась так, как смеются лишь перед комическими зеркалами в так называемых комнатах смеха. Она хохотала, а я сидел перед ней, как последний идиот.

Так она замужем, эта букашка! А я-то, Господи... Каким же болваном я должен выглядеть в её глазах! Все эти робкие прикосновения и детская игра с поцелуями и пожатием рук! Это же курам на смех! И надо же такого дурня свалить! Это с мужней-то женой! Небось, дальневосточный Даня успел

обучить её всем премудростям любви, а я — в лобик и в ручку!

Теперь так. Или и впрямь передать Иру Гедалию, или... заниматься тангенсами и многочленами, выбросив из головы всю эту дурь. Примириться с тем, что куколка эта — жена ближнего, и на том поставить точку. В конце концов, девчонок хватает и без неё. Нечего посягать на чужое добро. У меня всё же есть совесть, и заповеди скрижальные я приучен уважать ещё сызмальства. Втайне, однако, рядом с этими трезвыми мыслями, будоража самые низменные инстинкты, ютилась неуправляемая уверенность: всё будет, как было. Не смогу я отказаться от Иры. Вот оно, это самое! Может быть, так именно и возникает настоящая любовь, если плюнуть на все рассуждения о химических веществах и магнитах. Одно ясно: я хочу эту девочку. Всё хочу. Обнимать, целовать. И всё прочее тоже. Преодолеть свои желания мне не удастся. Поздно. Они сильнее меня. И великие заповеди тоже меня не остановят. Да и кого вообще они когда-либо удерживали? Разве что когда-то, на заре человеческой цивилизации. Вон что в мире творится! Как перед великим потопом или содомско-гоморрской катастрофой! Одно зло вокруг! Насмешкой звучат эти давно наскучившие словечки: не убий, не пожелай — и про жену чужую, и про осла... Убивать я никого не собираюсь, и ослы мне тоже, как говорится, без надобности. Но не желать... не могу. Желая! Жену ближнего! И какой он мне, к чёрту, ближний? Это она ближняя! Вот тут, рядом. А он вон где, за тысячи километров отсюда! Я его и в глаза, отродясь, не видел. И вообще всё началось, когда я о его существовании ещё и понятия не имел. Наконец, если уже к этим, скрижальным, прислушаться, то заповедь — "не прелюбодействуй" относится не ко мне. Насчёт "жены", всё верно, а это — нет. Если всё пойдёт как следует, то не я, а она — прелюбодействует. Пусть же и возьмёт на себя часть греха. Разделим его с нею честно. На двоих.

Конечно, ни в чувствах, ни в мыслях такой логичности не было. Всё было предельно просто и в полном соответствии с ранее высказанными соображениями. Есть два существа, способные к взаимодействию. Я бы даже сказал, весьма способные. И есть кое-какие условия. Вот всё и шло по уже знакомому плану. Это, как модно сейчас говорить, мы уже проходили.

С новым положением моей ученицы я освоился вполне и очень скоро. Ира, конечно, не почувствовать этого не могла. Изменились наши отношения. Теперь, если следовало останавить её, удержать от ошибки, я уже не хватался за её пальчики, а беззастенчиво обнимал. И когда она успешно справлялась со сложной задачей, то я, минуя лобик, целовал её прямо в губы. Другими стали и мои поцелуи. Их, поцелуев, ведь тысячи сортов существует. И не всегда поцелуем награждалось решение очень сложной задачи. Могла задача быть и попроще. Тут уж я, как учитель, сам определял, стоит она такой награды или нет. И я, конечно же, был щедр. Не скупился. А вскоре я стал обходиться без всяких задач. Короче говоря, поднялись мы с Ирой на следующую ступеньку, где уже места для алгебры и тригонометрии оставалось мало. Совсем ещё недавно мы добросовестно занимались и попутно немножечко обнимались и легонечко целовались. Теперь мы, в основном, целовались, а в оставшееся время немножечко занимались. Занимались уже не так. И целовались тоже не как прежде. И обнимались тоже. Не так. То, что я проделывал руками, назвать объятиями можно было с большой натяжкой. И всё это при том, что никакого противодействия я не встречал, очень мягенько выражаясь.

Конечно, всё это было сладко до одури, но ложечка дёгтя всё же во всём этом ощущалась. Маленькая ложечка. Маленькая, потому что мёда было по самые уши, и ещё столько. Не мог я не задавать себе естественно возникающего вопроса. Что же, собственно говоря, происходит? Поцелуи, объятия, а Даня, а муж как? Не любит она его, что ли? Ведь и поженились они только-только. Двух лет ещё не прошло, сестра мне Иринына рассказывала. Как же так? Не насильно же выдавали её за нелюбимого? Не прошлый, слава Богу, век! Так что же происходит? Есть муж, а стоило мне появиться, и кончилась супружеская верность? Конечно, парнем я был симпатичным, и девочки, как правило, мною не пренебрегали. Но переоценивать себя не в моём характере. Даже напротив. Грехи свои всегда осознавал вполне. Всегда и во всём, что касалось меня, сомневался. Всю жизнь от этого страдал. Значит, не во мне дело. Либо и впрямь очень я ей по душе пришёлся, либо есть в её отношениях с мужем какая-то тайна. Что-то, видимо, у них не слава Богу. Может быть, и на край света сбежал от неё по этой причине. Очень даже может быть. И, в самом деле, заполучить такое счастье

и тут же махнуть чёрт знает куда? Нет, неспроста такое. Я ещё в своё время раскопаю.

Между тем, отношения наши с Ирой развивались, так сказать, крещендо. Моя смелость и её, если уместно так выразиться, терпимость достигли высшего предела. И, конечно, слово "терпимость" тут в строку не идёт никак. Всё было обоюдное, по взаимному нашему согласию и желанию. Даже по страстному, я бы сказал, желанию. Оставалось совершить последний, решающий шаг. Накал наших чувств был огромный, и он требовал разрядки. Мы бы и разрядились, будь в этот час условия подходящими. Но они таковыми не были, и мы, изнемогая, томились в тягостном ожидании. В полной мере я осознал муки Танталовы. Не знаю, как там обстояло дело с путями Господними. Но что жизнь совершает иной раз самые немыслимые и головокружительные повороты, я наблюдал бессчётное число раз. Совершила она такой поворот и теперь.

Помню, как шёл я в тот день мимо университета, — а Ира жила рядышком, в следующем квартале, — и на все лады обдумывал предстоящую встречу. Было раннее летнее утро. Неистово благоухали цветущие липы, оглушали своим разноголосым щебетом воробы и прочая мелкая птичья. Настроение у меня было самое распрекрасное, а голова и грудь до краёв набиты обжигающими ум и тело сладострастными мечтами. Вчера мы расстались с Ирой измученные нескончаемыми, бесплодными ласками. Сегодня, как мы надеялись, наконец произойдёт то, чего так мучительно ждали мы долгие дни. Дина Иосифовна объявила, что с утра пораньше поедет навестить свою больную тётку, проживающую где-то в пригороде. Не то в Святошино, не то в Дарнице. Я не очень интересовался подробностями. Важен был факт. Завтра! Наконец-то! Завтра! Впрочем, "завтра" было вчера. Теперь оно уже не завтра, а сегодня, и мысль эта жаром охватывала мою голову и всё тело до самых ступней. Фантазия моя разыгралась и рисовала самые невероятные эротические картины. Я обдумывал всевозможные подробности предстоящей встречи. Я был преисполнен безудержным, кружащим голову нетерпением и всё ускорял шаг. Ещё пяток минут. Ещё десяток, другой шагов, и тогда...

Дом, где жили Ревзины, был уже на виду, но дойти до него мне не пришлось. То, что я увидел даже своими близорукими глазами, пригвоздило меня к месту. Навстречу мне двигались три фигуры. Я даже не сразу понял, что в их дви-

жениях и позах было необычного. Но высветили они вдруг в моей памяти сцену из далёких детских лет.

Вспомнилось мне, как в деревне, где мы снимали дачу, произошёл драматический случай. Жених попытался убить, как теперь полагаю, из ревности, свою невесту. Опыта в таком деле у парня, естественно, не было, и девица отделалась ударом ножа в спину, который добыл из неё несколько жалких капель крови. Но шум в народе был великий. У каждой подворотни толпились и перешёптывались люди, а по проезжей части, бережно поддерживаемая подругами, медленно шла пострадавшая. Все они ревели в голос, и больше всего шума производили именно подруги. Сама же жертва, помнится, шла молча, понуря голову, периодически всхлипывая и сморкаясь в подол праздничной тёмно-красной с оборками юбки.

Я не зря вспомнил эту сцену. Нечто подобное теперь было перед моими глазами. Мать и сестра Броня, точь-в-точь как ту невесту, вели под руки Иру. Глаза у всех трёх были красные и опухшие. И лица были такими же. Поравнявшись со мной, они остановились, а я растерянно пялился на них, переступая с ноги на ногу.

— Что случилось? — решился я, наконец, спросить, с трудом сдерживая дрожь в голосе.

Все они разом закачали головами, а Ира протянула мне мятый серый листок.

"Миркин Давид Мойшевич утонул при купании в озере десятого июня ведётся следствие следователь Никитенко".

Названия озера я не запомнил, да оно и ни к чему. Я прочёл эти строки трижды, не смея поднять глаз. Вот так. Дани, значит, уже нет. Ира теперь не жена его, а вдова. Всесторонне сразу осмыслить значение этого печального сообщения я не мог. Мысли мои метались в беспомощности. Знобящий холод разлился по телу.

Что мне теперь делать? Что и как сказать? Нельзя же мне молчать! Силы небесные! Что я должен делать? Никогда не приходилось мне бывать в таком положении. Хоть бы они не молчали! Сколько ещё можно так? А они — ни звука. Но я-то должен что-то сказать им или хотя бы спросить! А что спрашивать?

— Какой ужас, — наконец выдавил я из себя. — Ведь совсем недавно ещё было письмо, — добавил я и тут понял, как это глупо и неуместно. Словно письмо это может теперь иметь какое-то значение.

Выручила меня Броня. Она, умница, поняла, какое у меня крутое положение.

— Мы пойдём, Досинька, нам надо на телеграф. Приходите, — добавила она бодро и прикоснулась к моей руке. — Непременно приходите!

Я крепко сжал её пальцы.

Мы расстались. С Ирой я успел обменяться лишь ничего не значащими взглядами. Что бы мог выразить мой? Ничего. Сочувствие моё было совершенно абстрактным. Я не знал, к чему его приложить. К ней? К Дане? Я его не знал и жалости к нему испытывал не больше, чем к тем погибшим, о которых узнавал, читая отдел "Происшествий" в вечерней газете. Иру было мне жаль. Ей, конечно, не весело. Но и эта моя жалость была эгоистичной и бессердечной. По совести говоря, меня больше занимала мысль о крушении наших планов. Когда-то мы ещё вернёмся к горячим нашим и так внезапно прервавшимся отношениям? Да вернёмся ли? А с математикой нашей что будет? Что, если Ира с горя откажется от поступления и экзаменов? Мне тогда и вовсе в доме её делать нечего. Если не заниматься, то как будут выглядеть мои визиты? Одно дело учитель. А если не учитель, то кто я? Ухажёр? Жених? Это когда ещё слёзы у молодой вдовы на ресницах?

Я прошёл мимо университета, занятый этими невесёлыми размышлениями. Куда теперь девать себя? Вместо привычного заполненного дня образовалась какая-то злокачественная пустота. Я вдруг оказался не у дел. Свободен. И эта, совершенно не нужная мне, свалившаяся на меня свобода давила, как и внезапно возникшее одиночество.

Я круто повернулся и зашагал назад. Как же сразу не пришло это мне в голову? Всё. Сейчас не будет ни одиночества, ни этого дурацкого чувства потерянности.

В полу квартале от университета высится огромный, красный дом, некогда выстроенный купцом Морозом. Его и поныне киевляне называют так. Дом Мороза. Никакого другого адреса ему не требуется. Можно и письма так посылать: Киев, Дом Мороза. И всё. Вот к этому дому я и направился. Здесь, на третьем его этаже, жил ещё по техникуму товарищ мой Алик Когановский. В своё время сыграл он в моём становлении немалую роль.

Должен заметить, что по природе своей был я в юности человеком домашним. На людях свободной личностью себя не ощущал. Назвать это стеснительностью было бы неверно.

Я не был застенчив. Но не был и свободен. Поведение моё регулировалось самим для себя введённой цензурой, при которой всё натуральное, собственное загоняется внутрь. Я всегда завидовал людям, чувствующим себя свободными и раскованными в любой обстановке. Светскими, как я про себя называл их.

Алик был именно таким. Светским. Ничем и ни в чём не стеснённым. С завистью наблюдал я за ним, когда случалось нам бывать вместе в магазине, в кафе или в баре. Но более всего восхищался я им в парикмахерской. В кресло садился он так, что всем вокруг сразу же становилось ясно: здесь всё и все существуют для него. Для его удобства и комфорта. С гусарским шиком, откинувшись на спинку кресла, клал он перед собой коробку "Казбека", закуривал и, чуть выпятив нижнюю губу, выпускал к потолку густо-голубую струю дыма. Затем он кратко и выразительно подавал команды мастеру.

— Стяните потуже простыню вокруг шеи и не забудьте заложить вату. Не выношу, когда волосы сыплются мне за шиворот. — На какое-то время наступала тишина. Одно лишь клацанье ножниц нарушало её, а затем — снова: — Виски поострее, оставьте в покое баки и, пожалуйста, поосторонитесь чуток. Я не вижу зеркала. Ну-ка, подайте зеркальце поглядеть, как там получилось на затылке. — И через минуту: — Ради Бога, не поливайте меня этой гадостью! Есть у вас порядочный одеколон? Красная Москва? Пойдёт, действуйте! — И так всю дорогу.

Ну, конечно же, расплачивался он по-купечески. Парикмахер прямо-таки пополам складывался, взглянув на протянутую бумажку.

Господи, как я ему завидовал! Как хотелось бы и мне так! Иной раз даже пытался. Но выходило не совсем так, а вернее, совсем не так. Выучиться такому нельзя. С этим надо родиться. А я не родился.

Он же, Алик, научил меня фокусам с одеждой и косметикой. С его лёгкой руки, овладел я искусством делать себе "мраморное лицо", как он выражался. Когда предстоял нам выход на люди, Алик делал такое лицо себе, а заодно и мне. Делал с помощью горячих компрессов, каких-то кремов, одеколona и пудры. Ему, к слову сказать, эти фокусы были нужнее, чем мне. На лице его часто высыпали "хотелки". Так наш сокурсник Серёжка Субботин называл прыщи. Я уже к этому времени от хотелок избавился.

С особым шиком вывязывать галстук меня тоже научил Алик. Так что обязан я ему многим и вспоминаю его даже теперь. Нет уже моего Алика. Погиб он в первые же дни войны вместе со всей нашей студенческой ротой, обороняя родной город.

Вот такой у меня дружок обитал в Морозовском доме. И был он мне в тот день нужнее всего и всех на свете.

И не потому, что ближе у меня никого не было. Совсем напротив. Мы с Аликом после техникума встречались редко. Другая у меня была компания. Кое с кем мы в ней ещё со школьных лет дружбу вели. Самым, самым для меня Шурка был. А потом уже и Юрка, и Алёша, и другие. Более десятка нас собиралось. Шуркина квартира нам штабом служила, и все там толклись. Вечно полный дом. Сейчас только удивляюсь, как родители Шуркины всё это терпели. У Шурки все себя, как дома, чувствовали. Шум, галдёж, девчонки. Ну и серьёзные, бывало, разговоры заводились. Такие, что, не дай Бог, кому-либо со стороны их услышать. Весьма вольными языки наши были. А Шурка всем руководил и распоряжался. Очень его народ наш уважал. Но, на беду мою, все мои ребята и Шурка в том числе, всегда летом на практику уезжали. Они уже на втором курсе были. Это я поотстал. С Шуркой, конечно, мы бы лучше, чем с Аликом, мои проблемы решили. Но так уж получилось: Алик был, а Шурки не было.

Приняв решение, я уже твёрдым шагом направился к знаменитому дому. Первый этаж в нём сплошь занимали лавчонки: овощная, молочная, хлебная и гастрономическая. Мне нужна была эта, последняя. Было всё-таки кое-что хорошо в то поганое время. Водки, например, хоть залейся, и по вполне подходящей цене. Да и к водке было тоже всё. Я взял поллитровку "Пшеничной", с белой головкой, и колечко "Краковской". Её уже так — для верности. В таком доме, как Алькин, и без неё нашлось бы чем "Пшеничную" закусать.

Жил Алик с отцом и братом. Мать их умерла давно, дом был холостяцким, но не бедным. Всё в нём было, кроме порядка. Всё захламлено, везде набросано и насорено. Полнейший, в общем, бардак.

Застал я своего друга в одиночестве. Он впустил меня и вернулся на тахту, где валялся в полосатых пижамных штанах с каким-то техническим журналом. Мы привычно обменялись короткими приветствиями. "Здорово". "Здорово". Я

молча поставил на стол бутылку и достал из буфета два мутных гранёных стакана. Что и где лежит в этом доме, я знал. Стаканы, наверное, не мылись со времён смерти хозяйки. Я налил их до краёв и выложил свёрток с колбасой.

— Ты это чего, с самого утра? — поинтересовался Алик. В его словах вопросительные интонации отсутствовали.

— Значит, есть с чего. Пей и запомни этот день. Он для меня важный день, — сказал я ему, протягивая стакан.

— Ну, ну, давай если важный. Выпить всегда можно, — процедил он, опрокидывая стакан так, словно вливал жидкость не в рот, а выплёскивал на пол.

Тут я тоже ему завидовал. Пить водку и даже спирт умел я не хуже его. Принимал целую бутылку и ни в одном глазу. Но так, чтобы одним духом, не сделав ни глотка, у меня не получалось. Как ни старался. Пил глоточками, словно школяр какой-нибудь.

— Так за что хоть пили, скажи? — отгрызая изрядный кус колбасы, пробубнил Алик и разлил то, что ещё оставалось в бутылке. Его пришлось ровно по полстакана.

И тут я выложил ему всё. С самого начала и как на духу. Про математику и ученицу мою, про её мужа, включая сегодняшнее, про наши с Ирой жаркие дела. Про них тоже рассказал. Ничего не стал утаивать. Ведь с другом близким говорил! Ну и жидкость тоже тому немало способствовала. Большая от неё польза в таких случаях.

Выслушал меня Алик, помолчал и поднялся со своей тахты с некоторой даже торжественностью в лице.

— Значит, так. Считай, выпили за упокой души Даниной, — пробасил он, протягивая мне стакан. — Пусть будет земля ему пухом. Если Ира такая, как ты её описал, то, значит, и он чего-то стоит. А теперь, что там осталось, давай за будущие твои успехи, — он мрачно ухмыльнулся и хитро посмотрел на меня прищуренным глазом. — Ты ведь за этим пришёл, чтобы я тебе на ручке погадал? Не поминки же по Дане справлять? Вот я и говорю. Без ручки. Твоя она теперь. Можешь мне поверить. Опыт имею. Бабы они бабы и есть.

Водку я, конечно, выпил, но словам его значения не придавал. При всех его светских манерах, девчонок рядом с ним я не встречал. Никакого опыта у него не было, и трепанул он так. Для форсу. Я ведь его с первого курса знал, когда нам едва только шестнадцать стукнуло.

— Ладно, Алька, поживём — увидим. Если выйдет потвоему, будет уже не "Пшеничная", а та, что со звёздочками, — сказал я, вставая. — Спасибо, очень ты меня сегодня выручил.

— Нет разговора, — буркнул он, плюхаясь на тахту.

* * *

Конечно, Алькины пророчества были дешёвым трёпом, но оказался он прав. Всё так и вышло.

Целую неделю не был я у Ревзиных. Всё чего-то ждал. А вообще-то не ходил к ним по одной лишь трусости. К своим, к близким, можно бы и при таких печальных обстоятельствах наведаться. На то они и близкие. А тут ведь чужие! О чём с ними говорить? Утешать? Жалкие слова сочинять? Это уметь надо. Я и сегодня, уже на старости лет, толком этого не умею. Тем более тогда. Понимал, что надо идти, а не шёл, и мать меня всю дорогу пилила.

— Как можно, как можно, у людей горе, а тебя, вроде, это не касается. Ты уже не чужой в их доме. Каждый день ведь прежде бывал! — грызла она меня. — Нехорошо, очень плохо.

Я и сам знал, что плохо, а пойти — духа не хватало. Отсиживался. И, как оказалось, очень правильно делал. Прошло дней ровно столько, сколько потребовалось Творцу для сотворения нашего поганого мира, когда раздался наконец долго мною жданный звонок. И снова, как тогда, выручила меня Броня. Её голос слышал я в трубке. Я даже вспотел, до того обрадовался.

— Почему не приходите, Досенька? Все мы по вас соскучились. Ирка всё спрашивает, не звонил ли кто-нибудь, — затараторила она. А я-то знаю, кто этот "кто-нибудь". — А я думаю, как ни ужасно, что так с Даней случилось, но экзамены всё равно надо сдавать. Приходите, очень вас прошу. И не бойтесь. Ирка уже в порядке. Я даже удивляюсь. Так, как, придёте?

Я из приличия что-то спросил, что-то сказал и пообещал быть при первой возможности. Про возможности я тоже для приличия, потому что готов был бежать хоть сейчас, что практически и сделал. Звонила Броня вечером, а утречком я уже стучался в столь знакомую, дерматином одетую дверь. Пришёл и сразу же понял, до чего был глуп и недалёковиден, какие упустил возможности. Никаких изменений ни в

облике, ни в поведении Ирином я не обнаружил. Так что зря боялся. Мыслил себе, что застану её в глубоком трауре и скорбной бледности, что будет она молчалива и отрешена. Что всякое упоминание о наших отношениях будет кощунством. А застал я всё совсем иным. Вот так приобретаются опыт и мудрость житейская. Боялся я, что встанет между нами стеной неодолимой смерть Данина. Скует она меня по ногам и, главное, по рукам. А всё вышло наоборот. Оказались руки мои даже свободнее, чем прежде. Оба мы почувствовали себя вольнее. Обнимать, целовать и нежные слова говорить стало как бы проявлением естественного сочувствия. Даже посторонние перестали стеснять. Ведь утешаю, соболезнаю. И она тоже так. Вполне естественно, что, одолеваемая грустными мыслями, плача, прижималась она к моей груди. Я, конечно, отвечал ей тем же, и — с большим подъёмом. Прижимал, гладил, целовал и лепетал какие-то подходящие к случаю слова.

Прошёл день, другой, и каждый прибавлял мне смелости. Прильнёт она ко мне, взгрустнув, а я её обниму, слёзы поцелуями сушить стану. И, конечно же, глажу при этом по голове, плечам, спине... А там уже как придётся. Так что всё вернулось на круги своя. словно не было никакой беды и прошедшей в разлуке недели. А тут ещё обстоятельства сложились так, что и деваться стало некуда. Тем более, что к этому времени достигли мы столь высокого предела, что и обстоятельства стали уже как бы излишеством. Всем готовы были пренебречь. И когда Дина Иосифовна собралась в дальний путь, то стало это той самой роковой каплей. Слишком уж переполненной была наша чаша. Дальше некуда.

В муках сверхчеловеческих дождался я той минуты, когда захлопнулась за ней дверь. Щелчок, произведённый замком, явился как бы сигналом, по которому, не произнеся ни слова, бросились мы друг к другу. Как безумный, стал я стаскивать с Иры платье, раздёргивать всякие кнопки и застёжки. Но она вдруг стала вырываться, отбиваться, хватать меня за руки, словно я насильник какой-то.

— Что с тобой, Иронька, — оторопело шептал я, в беспомощности борясь с ней и целуя те места, которые уже успел освободить от ненавистных тряпок.

— Я так не хочу, милый, — продолжая сопротивляться, строго сказала она. — Только в моей постели, только в постели. Пусть у нас будет всё красиво. Только в постели. —

И лишь по ненужному повторению этих слов, можно было понять её состояние. — Сейчас пойду постелю. Не хочу так.

Меня удивили такие её странные причуды и рассуждения. Сам я ни на какие рассуждения способен не был, и досадная эта проволочка повергала меня в отчаяние. Но что оставалось делать? Не драться же с ней всерьёз! Я отпустил её, хотя стоило это мне такого усилия, словно отрывал я от себя кусок собственного тела.

Не берусь судить, насколько всё потом было красиво, но счастье мы испытали. Никакого преувеличения здесь нет. Счастье наше было огромным и беспредельным. Ни в каких стихах, песнях и прочем мы не нуждались. Все искусства мира мы держали в наших руках. И выразить этого не могли бы ни слова, ни музыка. Счастье ведь, в конечном счёте, один лишь миг. Одно короткое мгновение. Короткое и редкое.

* * *

У меня всё было в самом лучшем виде. Об экзаменах сохранил я до сих пор приятно-волнующие воспоминания. Всё сдал на круглые пятёрки, а уж по математике так ещё с жирным плюсом в придачу. Дал я, как говорится, по мозгам высокой комиссии. Да иначе и быть не могло. Кто из них встречал абитуриента, который конкурсные задачи решал, заложив руки в брюки? Все члены этой высокой комиссии места свои высокие покинули и собрались вокруг меня посмотреть на такое диво. А декан факультета математического — я даже фамилию его запомнил — "Мовшиц" — стал меня агитировать. "Зачем, — вразумлял он меня, — такой дар на биофак растрачивать? У вас (у меня значит) одна дорога — физмат! Вы же, говорит, прирождённый математик! Это же преступление — загубить такие способности!"

Но я, хоть и было это чертовски лестно, не сдался. Цепко держали сердце моё бабочки, рыбы и прочая живность. Виделись мне разные экспедиции и путешествия в неизведанные места. А что математика? Одни цифры да закорючки. Корни, скобки, интегралы... Ну их. Скукота.

Я не удивляюсь тогдашнему моему недомыслию. Был ведь мальчишкой, который ещё совсем недавно бредил джигитами, индейцами и бизонами. Но, так или иначе, судьба моя была решена, и стал я студентом университета имени Шевченко Тараса Григорьевича.

Между прочим, на экзаменах я с Тасей познакомился — будущим нашим вождём курсовым. Очень она мне сразуглянулась. Бойкостью своей, улыбкой, не сходящей с лица. Ну, и толковая была — со всякими уравниваниями и прочими премудростями справлялась вполне прилично. Не так, думаю, как я, но очень даже. Особенно учитывая, что девчонка.

Был потом в моей жизни эпизод, что я за ней ухаживать стал. Даже в компанию нашу привёл. Но кончилось тогда всё очень для меня прискорбно. Хлебнул лишнего, стекло в подъезде разбил. В общем, нахулиганил, попросту говоря. А потом уже и вовсе разошлись наши пути...

И тут у меня какой-то необъяснимый провал памяти. Ведь сколько подробностей жизни моей тогдашней она удержала! А тут — пятно белое. Помню лишь, что учебный год Ира со мной не начала. Не пошли мы с ней, как мечтали, первый раз в первый класс вместе. Какие-то, теперь полагаю, делались скрытые тогда от меня дела. Экзаменов Ира не сдавала по причине траура, но принята была, хоть и на несколько месяцев позже. Был, видимо, у отца её крепкий "блат". Работал он каким-то начальником в системе, которой все магазины так называемых "культтоваров" принадлежали. И получилось в конечном счёте так, что место учителя при Ире сохранил я ещё на целый университетский семестр. Учил я её теперь уже не одной математике, но ещё и анатомии и зоологии, и многим другим наукам, о которых сам услышал впервые.

Занятия наши проходили в уже установившемся стиле. Как в том старом анекдоте с пирожками, начинка которых состояла, по словам продавца, наполовину из рябчиков, а наполовину из конины. "Я честно. Кладу одного рябчика и одного коня", — объяснял он. Вот и мы так время своё распределяли. Часть его — за столом, а часть — вне его. И, конечно, лошадиная доля его приходилась не на сидение за книгами. Они у нас в рябчиках ходили. Иначе и быть не могло. Надо было быть чугунным или каменным, чтобы, соприкасаясь с такой "сластью", как Ирино тело, думать о частях черепа или дифференциалах. Я чугунным не был. И каменным тоже. Страсть моя была раскалена добела. Она одна управляла мной. Телом, мыслями, чувствами.

Вспоминаю это время и думаю, что иначе, чем безумием, состояние наше назвать было нельзя. Оба мы обезумели. Один взгляд, одно соприкосновение, и мы уже теряли власть над собой. И так, независимо от места, времени и обстоя-

тельств. Теряли всё. О разуме уже и не говорю. Теряли самое элементарное благоразумие. И безумие это не покинуло нас, когда уже стала Ира студенткой и сидели мы с ней бок о бок на лекциях и на занятиях.

Не могу не вернуться к рассуждениям моим о любви. Как назвать то, что с нами творилось? Испытывали мы с Ирой нечто возвышенное, такое, о чём писали великие писатели и поэты, чему посвящались серенады, романсы и симфонии? Ради чего совершались беспримерные преступления и подвиги? Нет! Ничего такого не было. Одно лишь ослепляющее, непреодолимое влечение разгорячённых желанием тел, распалённой кровью и гормонами плоти. Не душ. Одних только тел.

Невольно сравниваю свою детскую любовь с этой. Тогда с Ниной тоже было безумие. И тогда жил я какой-то потусторонней жизнью, на грани помешательства и преступления, будучи готов на всё, включая предательство. Совсем как несчастный Андрей Бульба со своей полячкой. И тут у меня сомнений нет. Была та любовь большой и чистой. Да и запачкаться ей было не обо что, если такое слово здесь уместно. Помыслы мои были безгрешны и невесомы, как пух одуванчика. Даже слова нужные трудно было найти, чтобы облечь в них необъяснимое это чувство. В какой-то мере оно сродни уже упомянутому влечению к ребёнку или котёнку. Сродни по безысходности, незавершённости, невозможности удовлетворить и вырваться из нестерпимой его тесноты.

Ничего похожего с Ирой у нас не было. Когда мы расставались и я, конечно же, думал о ней, а вернее, ни о чём другом не думал, то все помыслы мои были прикованы лишь к одной нашей близости. Только к ней одной. Кроме наслаждения, которое влекло меня неизменно, никаких других чувств я не испытывал.

Ира была не последней женщиной в моей жизни. Были, конечно, и другие. Но и с ними отношения складывались таким же образом. Вернее, почти таким, потому что безумия и доводящей до беспамятства страсти уже не было. Всё было, а этого — нет. Были то обыкновенные, так сказать, банальные постельные романы. Иной раз весьма продолжительные и жаркие. Иной раз стремительно короткие. На то, что было у нас с Ирой, они не походили. Так что, оглядываясь на далёкое моё прошлое, должен признать: два взлёта любовных пережил я. Два подъёма на вершины вечного чув-

ства. На первый возвела меня скромненькая и безыскусная девочка из Тифлиса на заре моей жизни. Второй совершил я в расцвете половой моей зрелости с Ирой, вложив в него всё, что дано мне было природой.

Обещание, данное другу моему Алику, я выполнил, хотя и с большим, непростительным опозданием. Выпили мы с ним из тех же мутных стаканов пятизвёздного — кавказского, высшего достоинства. Алик, конечно, не преминул при этом похвастаться своей прозорливостью. Да и были у него к тому все основания, хотя в заслугу я ему этого не ставлю. Простое совпадение. Обыкновенная случайность. И опыт, которого, кстати, он не имел, никакой роли не сыграл. Просто относился ко мне Алик с большим респектом и был уверен: при столь тесном контакте не устоит передо мной никакая. Так что, не мудрствуя, пришёл он к тому самому выводу, который добыл я в муках на склоне лет: любовь — это... если два, способных к взаимодействию существа и т.д. и т.д. А существа такие были. И способность их к этому взаимодействию была такая, что и доныне кровь приливает к моей голове при одном лишь упоминании.

Подвели нас с Ирой эти способности к крайней до невозможности черте. Нет, нет да и встаёт в моей памяти тот мучительный и изнурительный день. День смерти Ириногo отца.

Помню, как вернулся он неожиданно с работы среди дня. Мы разве лишь с помощью Божьей не вляпались тогда в великий позор. Не вовремя он пришёл, тем более, что ни матери, ни сестры дома не было. Очень скоро выяснилось, что ранний его приход был не случаен. Пожаловался он на скверное самочувствие и на боли в груди. Тут же был поставлен ему термометр, который в минуту выгнал ртуть почти до упора. Ира его сразу же уложила, дала порошок аспирина и побежала за врачом, добрым знакомым Ревзиных, профессором Рашбой, жившим неподалеку.

Профессор приложил трубочку к груди больного, затем к спине, посопел, смачно высморкался и, не колеблясь, поставил диагноз: воспаление лёгких.

Времена были ещё до пенициллиновые, и диагноз этот звучал не менее грозно, чем в наше время рак или СПИД. А состояние больного ухудшалось с каждым часом. Мы с Ирой совсем потеряли головы.

К счастью, вскоре вернулись Дина Иосифовна и Броня. К счастью, это я так, по тогдашнему моменту. А вообще-то

никакого счастья не было. Профессор прислал сестру, которая делала какие-то уколы, и все мы вместе ставили больному банки и горчичники. Но всё это никак не помогало, и положение продолжало ухудшаться.

Трое суток, как заведённые, мотались мы, включая меня, по разным поручениям. Я курсировал между аптекой и домом, таская туда и назад кислородные подушки. Куда-то, помню, ещё бегал за льдом и какими-то лекарствами. Сутки перестали для нас делиться на дни и ночи, как во времена сотворения мира. Мне, конечно, было лучше, чем женщинам. Я, естественно, тоже переживал, тоже страшился надвигающейся развязки. Но мои переживания никак не идут в сравнение с тем, что испытывали они. Жена и дочери. Для них назревала драма, крушение всей жизни. Борис Львович был хорошим человеком. Да и не будь он хорошим, всё равно ведь муж и отец.

Наконец, наступила роковая ночь. Третья. Все сбились с ног. Засыпали на ходу. Можно было подивиться их выдержке. О себе не говорю. Мужик всё-таки. В последний раз отправился я с подушками в аптеку. В последний, потому что, вернувшись, понял: никому уже кислород мой не нужен.

Я вошёл в комнату, где в креслах по углам сидели женщины, сражённые горем и усталостью. Пожалуй, ею даже больше. Я тоже пристроился на стуле у стены. Все молчали, и если плакали, то совершенно беззвучно. Больше всего я боюсь обычных в таких случаях стенаний и истерик.

— Идите, дети, в столовую, — едва слышно произнесла Дина Иосифовна. — Теперь мы ему уже не нужны. Идите. Вам надо отдохнуть.

Подняться первому мне было неловко, но Ира подошла и взяла мою руку.

— Пойдём, — шепнула она, — нам всем надо прийти в себя. Я больше не выдержу.

Я послушно поплёлся за ней. Мы повалились на тахту, даже не пристроив подушек. Как стояли, так и рухнули. Ира доползла до стены, а я улёгся у края и закрыл глаза. Кажется, в наступившую тьму провалился весь мир. Не знаю, сколько длилось такое моё состояние. Может быть, час, может быть, и все два, а может быть, всего каких-нибудь десять минут. Но вдруг, сквозь не ушедшее оцепенение, донеслись до меня ещё не осмысленные мною звуки. Я открыл глаза и прислушался. Так и есть. Ира тихонько всхлипывала

и, как мне показалось, стонала. У меня даже сердце зачастило от жалости.

— Ирушка, миленькая, не надо, умоляю тебя. Успокойся, — зашептал я, обнимая её и привлекая к себе её голову. Но она продолжала стонать, всхлипывать, повторяя словно в бреду:

— Пап, папа, папочка... Боже, нет папы, нет папы...

У меня сжало горло и зашекотало под веками. Я теснее прижал её к себе и стал целовать в мокрые глаза, в губы, в шею. Она сжалась и прильнула ко мне. И в этот момент я с ужасом почувствовал, как просыпается и стремительно нарастает во мне желание. Я продолжал шептать успокоительные слова, но мои объятия и поцелуи становились всё более страстными и настойчивыми. Прошли, улетучились и сон и усталость. Близость её тела, податливость губ и то, что нарастало во мне при соприкосновении с обнажёнными плечами, шеей, спиной, было уже непреодолимо. Сдерживать разливающееся по всему телу расслабляющее волю томление я уже не мог. И не хотел тоже, хотя и делал над собой доступные в таком состоянии усилия. Но они были напрасны. Я хотел её, хотел до сумасшествия, до судорог и побороть это желание был не в силах. Мои руки настойчиво, помимо моей воли, проникали к самым сокровенным местам её податливого тела и уже почти в бессознательном состоянии я стал стаскивать с неё одежду.

— Что ты, миленький, дорогой, что ты, Боже мой, что мы делаем? — шептала она, продолжая прижиматься и своими движениями помогая мне освободить её тело от одежд. — Милый, Досенька, ну, не надо, прошу тебя, что же это, когда рядом тело отца... Это же безумие... Мы преступники, сумасшедшие... Боже...

На миг я было притих, но после произнесённого ею "мы", никто и ничто остановить бы уже меня не смогло, и нечеловеческая сладость совершившегося была слаще всех сладостей. Ничего подобного я прежде не испытывал. Этот день, вернее, ночь тоже была своего рода великим восхождением. Тут уж действительно было основание сказать, что для любви нет преград. Даже когда стоит она рядом со смертью.

Если назвать это событие вершиной, то всё, что произошло потом, было падением с неё. В моей жизни наступил период, который сломал всё. И любовь нашу тоже. Время это стало водоразделом, после которого всё пошло по-но-

вому. Нежданно и страшно. Ему, этому времени, и посвящена вторая часть моей книги.

ГЛАВА 4.

ЛЕТЯТ ЩЕПКИ, ЛЕТЯТ...

Мне многое пришлось испытать. Не слишком баловала меня жизнь. Всякое бывало. Но таких отчаянных дней ещё не было. Это когда у дочери моей вдруг появился симптом страшной, неизлечимой болезни. Тьма упала на меня чёрная. Мыслей безумных своих боялся. Жил как в затяжном кошмарном сне.

Повёл я её к профессору. К специалисту из всех специалистов. Повёл с надеждой, а на что надеялся, сам не знаю. Кое-что сам в этих делах смыслил. Не на что было надеяться. Понимал, что нет спасения, а всё же... Совсем без надежды не обходится даже, когда уже петля на шее.

Посмотрел профессор моё дитя, выпросил подробно о состоянии, выслушал. Смотрит он на меня ласковыми, жалостными глазами, а говорить не решается. Но я и без слов всё понял. Замерло всё у меня внутри.

— Профессор, — спрашиваю. Тихо так спрашиваю. — Скажите, профессор, не может быть это случайно, как уж и не знаю, а случайно? Может так быть, что больше припадки не повторятся? Бывает так?

Жду, а он молчит. И так страшно молчит, что уже мне его жалко стало.

— Нет, — заговорил он наконец. И тоже, как я, тихо, тихо. — Не бывает таких случайностей. Очень хотелось бы, чтобы были, а нет. Не стану вас обманывать. Это эпилепсия.

Не знаю, как и описать, что я тогда почувствовал. Да и незачем. И так понять можно. Без лишних слов. А на прощание, когда руку мне подал и дитя моё по головке погладил, сказал он своё последнее слово.

— Только одно ещё попробуем. Дайте девочке вот этот препарат. Глистогонный. Я вам его выпишу, а больше ничего не придумаю. Попробуйте. А вдруг? Бывало у меня в практике. Это последняя и единственная надежда.

Выписал он мне рецепт, и на том мы с ним распрощались.

Подробности здесь ни к чему. Дали мы дочери этот препарат, и сделал он своё дело. Вернул дочку, а следовательно

но, и меня к жизни. Здорово моё дитя. Спас профессор всем нам жизнь. Спас, потому что опыт его был огромен, годами накопленный, профессиональный опыт.

К чему я всё это? Ведь не о дочери пойдёт дальше речь и не о болезнях и не о профессоре. Опыт. О нём я.

Не было у нас опыта. Откуда ему взяться? Ни у кого его не было. Ни у одной страны, ни у одного народа. И профессоров в этом деле не существовало.

Я об этом к тому, что, будь у нас опыт, всё могло бы быть по-иному. А может быть, и нет, может быть, никакой опыт бы не помог, но всё же...

Помню, ходили тогда слухи об одном из адвокатов, будто берётся он за большие деньги улаживать любые дела. Я помню всё. Даже фамилию его - Ветвицкий. Был это сравнительно молодой человек, с чёрными, жёсткими глазами и необычным в этих кругах изъёном. Он был горбат. Горб — невелик, но о его наличии сразу же свидетельствовали перекошенные плечи и короткая шея при малом росте. Помню я и размер гонорара, который, по словам сведущих людей, запрашивал Ветвицкий. Двадцать пять тысяч! По тем временам сумма огромная. Но ни моих родных, да и никого другого она бы не остановила. А дело в том, снова повторяю: не было у нас опыта. Зато был страх. Боялись, сомневались, не решались. Господи, даже сейчас сердце моё даёт перебои, когда об этом думаю. Ведь мог бы жить на свете Вовка! Мог быть спасён! И всего лишь за проклятые деньги, сколько бы их ни нужно было тяжким трудом собрать! Разве есть цена за такое дело? Да я бы и жизнь свою отдал не задумываясь, не то что тысячи эти. Но повторяю в последний уже раз: не было опыта. Да и смелости тоже. Был страх. Один только страх. И удар, который сшиб нас, был неожиданен как землетрясение. Всё, что произошло, нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить. Словно упряжка, сорвавшаяся с горной тропы, полетела в пропасть вся наша жизнь. Правда, не одна наша. Сотни, тысячи, десятки тысяч таких упряжек разбились в те годы.

Хотел сказать, что от этого нам было не легче, но не скажу. Нет. Неверно. Легче. Мы не были одиноки. Значит, было легче. Так вернее.

Начну по порядку. Издалека. Прежде всего о Вове, поскольку началось всё с него, моего брата. Мы называли его Вовкой, хотя правильнее было бы - "Лёвка", потому что имя его было Лев.

К тому времени, когда всё это произошло, — я про упряжку, что полетела ко всем чертям, — былой близости между нами уже не было. Верность друг другу мы сохранили, а близость ушла. Были на то причины. Главная: очень мы оказались разными, хотя условия, в которых воспитывались, были одними и теми же, как в научном эксперименте. Ели вместе, спали рядом, играли вместе, читали одни и те же книги, учились по одним и тем же учебникам. Только и разницы, что Вовка был старше на год. А так, всё одинаковое. А были разными. Во всём. Я — общителен, легкомыслен, неустойчив в воззрениях, уступчив. Брат — замкнут, молчалив, методичен и твёрд. Во всём. В дружбе, в ученье, в убеждениях. Вот так. Родители одни, и условия — одинаковые, а генотип у каждого свой. В полном соответствии с законами Менделя, как наукой положено.

У меня куча друзей, приятелей, знакомых. У Вовки — два, а если точнее, то, пожалуй, и один: Володя. Фамилию он носил изысканную, патрицианскую, а на вид — плебей чистых кровей. Приземистый, неуклюжий, какой-то весь неудобный. Короче, не смотрелся парень, как теперь говорят. Голова — шар. Глазки — свиные, узюсенькие, и в рыжих ресничках. И весь до рук волосатых — рыжий. Причёсок Володя не признавал. Стригся как новобранец. Голос дьяконовский. Впрочем, пользовался он им нечасто. Молчун. Вовка тоже не из болтливых, но с Володей ему не тягаться.

Не стал бы я так подробно о нём. Роль его в нашем деле самая ничтожная. Просто никакая. Но для меня он от Вовки и от всего, что произошло, неотделим. Именно в одном их разговоре — брата с Двиняниновым — будь я прозорливее, мудрее, смог бы увидеть надвигающуюся беду. Но не был я ни прозорлив, ни мудр. Без всяких последствий вошёл в мои уши тот самый разговор, Двиняниновский, скупой, как срочная телеграмма.

Шагнул я через порог и слышу:

— Да нет, на дурака не похож, — отвечает Вовка и голос понижает, заметив меня. — Темноват, конечно, да и положение... Политрук ведь!

— А ты ему? — спрашивает Володя.

— Сказал, как есть. Страдают, говорю, при фашистах евреи и коммунисты, а народу, в общем, живётся лучше, чем в Веймарской республике. Тут-то он и взвился. Откуда, говорит, вы это знаете? Я ему о Фейхтвангере, а он о нём даже понятия не имеет.

Вот и всё, что я услышал. Мог бы, конечно, и больше, но не услышал, поскольку не придавал разговору никакого значения. Разве что подивился невежеству политрука. Экая темнота! Фейхтвангера не читал!

Была и ещё одна причина, помешавшая мне разузнать о стычке с политруком поподробнее. Дело в том, что, повзрослев, мы почти перестали общаться с братом. Виной тому была наша фрейлин, Екатерина Ивановна. Своими постоянными окриками "нур дойч", "нур дойч" она отучила нас говорить по-русски. Говорили только по-немецки. Но поскольку наш немецкий не выходил за пределы элементарной бытовой речи, то вскоре он из средства общения превратился в средство разобщения. Круг понятий расширился, а язык оставался прежним. Так началось наше отчуждение. И дальше, больше.

Конечно, что до чувств, всё было по-старому — наша привязанность друг к другу не ослабела, но близость ушла. Общение на чужом языке тяготило, оно не доставляло радости, и мы искали её на стороне.

Итак, ничего нового я об истории с политруком не узнал. Да и узнавать было нечего. В том-то и беда. Ничего больше не было. Ровным счётом ничего!

Силюсь вспомнить, сколько же прошло времени потом, до той ужасной ночи? И не могу. Месяц? Три? А может быть, и все пять? Не помню.

Разбудил меня тогда странный, необъяснимый среди ночи шум. Звучали голоса матери, отца, слышались не знакомые мне мужские. Слов не различал. Сунув ноги в туфли, выскочил в столовую. В ней было много людей. Родители, Вовка, соседи, что жили этажом выше, и наш дворник Сильвестр. Странное сборище, и только высокая фигура в милицмейской шинели придавала ему ясный и недобрый смысл. В петлицах милицмейского было четыре квадратика. Капитан, значит. В нашем доме он был тем, кого сравнивают с татариниом, но злых чувств у меня к нему не возникло. Форма на нём была серьёзная, но выглядел он мирно. Немолодой человек, с грустным и очень утомлённым, сонным лицом. Видно: человек исполняет привычные свои обязанности. Без большого рвения. Просто несёт свою службу, какая она ни есть.

— Придётся сделать у вас обыск, — сказал он негромко, как бы извиняясь, и присел к столу. — Сенченко! — окликнул он молодого милиционера, которого я прежде не заме-

тил, поскольку стоял тот за порогом у двери. Сенченко щёлкнул каблуками. — Давай: действуй! Понятые, вы будете наблюдать за обыском. Ты, Сенченко, не очень, поаккуратнее, зря хозяйство не рушь! — добавил капитан и тотчас, положив на стол голову, засопел.

Обыск Сенченко вёл по-божески. Видимо, с шефом своим сработался хорошо. Он лениво перебирал книги в нашем шкафу, пошарил на этажерке, перейдя в детскую — так мы продолжали называть нашу с Вовкой комнату, — пощупал постели, заглянул в ящики комода. В спальню родителей ткнулся, но обыскивать не стал.

А мы остолбенело и безмолвно наблюдали за ним. Прикидывали, что бы это могло значить, строили предположения. Ведь за Вовкой пришли! За тихоней Вовкой! Будь такое со мной, ещё куда ни шло! Парень я был шумный, народ вокруг меня всегда вертелся разный, да и язык мой строгостей больших не знал. Но Вовка!.. Что мог натворить Вовка?

Я видел, что и понятым, соседям нашим по дому, было тоже не сладко. Прижались к стенке, вытаращили глаза, всё пытались шепотком отмежеваться — мы, мол, не при чём — и выразить сочувствие.

Наконец обыск закончился. Ничего интересного, конечно, Сенченко не нашёл. Зря трудился. Капитан нехотя оторвал лысеющую голову от стола и встал. Пока он посапывал, мать не решалась его потревожить. Теперь она дала себе волю:

— Что же это такое, товарищ милиционер? Что сделал мой сын? В чём его вина? Кроме своих книг, он ничего не знал! Это недоразумение, какая-то ужасная ошибка!

— У нас не бывает ошибок, — сказал капитан, делая ударение на слове "нас", и мне показалось, что в голосе его прозвучала ирония. — Собирайте сына, мамаша. Можете дать бельишко, полотенце и прочее такое. А вы подпишите сейчас протокол, — обратился он к понятым. — Я мигом набросаю.

— Можно дать сыну немного денег? — спросила мать, укладывая вещи в рюкзак неверными, дрожащими руками.

Капитан почему-то перевёл глаза на потолок и так, глядя вверх, процедил: — А что с ними делать, с деньгами? Но если хотите, то можете дать. Немного, — добавил он, помолчав. Он стал собирать свои бумаги, неторопливо разравни-

вать стопку. — Ну, прощайтесь. Машина ждёт. Давай, Сенченко!

Я старался не смотреть на родителей, особенно на мать, но всё равно я их видел, куда бы ни отводил глаза. Никогда не знал, что за один час можно так измениться.

Потом Вовка подошёл ко мне, и мы молча постояли с минуту. Проклятый немецкий! Что мы могли сказать друг другу? Мы просто не знали нужных немецких слов, они никогда прежде нам не встречались! Так же молча мы обнялись. Я прижал к себе его голову и только в ту минуту осознал, что теряю самого дорогого мне человека, что совершается непоправимое и ужасное.

— Моя фамилия Лобанов, капитан Лобанов, — сказал милицейский. — Если есть претензии, можете обжаловать. — Он встал у двери и терпеливо ждал, пока все прошались с братом.

Потом за ними закрылась дверь. Забрали нашего Вовку. Брата моего.

Если есть претензии! Нет, у нас не было претензий к капитану Лобанову. Ни к кому не было претензий. Тут так. Или ошибка, или что-то Вовка натворил. Если ошибка, разберутся. Выяснят и отпустят. А если натворил, хоть и кажется это полным абсурдом, то какие могут быть претензии?

Что до Лобанова, то более корректного поведения и представить себе нельзя! Вот так мы все в тот час рассуждали.

* * *

Когда немцев, не эсэсовцев и гестаповцев, конечно, а рядовых заурядных бюргеров проклинаят и обвиняют, возлагая на них ответственность за преступления нацистов, они негодуют. Возмутительно! Клевета! Они-де ничего не знали! Конечно, кое-что слышали о концлагерях, еврейских погромах и преследовании коммунистов. Кое-кто при этом пострадал. Но, что речь шла о сотнях, тысячах и даже десятках тысяч, немыслимо! Клевета! Ложь! Да, были жертвы. Им даже известны случаи, когда вполне добропорядочные, хорошие люди исчезали, и о них потом говорили, что были они преступниками. Но они-то тут при чём? Они жили себе, работали, растили детей, как все и повсюду.

А я им верю! Откуда они могли знать? Газеты об этом не писали, с трибун об этом не говорили. Были слухи, разговоры шепотком — из уста в уста... Но слухи и разговоры

всегда оставляют сомнения. Арестовывали? Даже казнили? Нет сомнения. А где не арестовывают, не казнят? Каждое правительство имеет своих тайных врагов и борется с ними. Так было, есть и будет. Без этого нигде не обходилось и не обходится, да не только в Германии.

Я им верю. Ведь и мы ничего не знали. Как и они, мы считали, что арестовывают врагов народа. Не многовато ли врагов? А кто может это сказать? Ведь всё только слухи. А слухи... известное дело! Из десятков делают сотни, из сотен — тысячи! А что много, то ничего и удивительного. Ведь сказал товарищ Сталин ясно: чем значительнее наши успехи, чем ближе мы к заветной цели, тем яростнее сопротивление врага. Яснее ясного! Верил народ наш вождю, мудрейшему из мудрейших. Очень в то время утешались пословицей о щепках, что летят при рубке леса. Лес рубят, товарищ Сталин сказал. А вот такие, как наш Вовка, — щепки! Раз рубят, значит, должны быть и щепки. Тут уж ничего не поделаешь.

Ничем от немцев мы не отличались. Ничего мы не знали. Ни моя семья, ни мои друзья, ни я сам. Глупость — беда, но не вина, не преступление. Она как болезнь. В чём можно обвинить больного? Мы все были поражены одной болезнью — недомыслием. Поражены глубоко и неизлечимо. Мы все, весь народ, вся страна. Поголовно.

Помню, как однажды не явился на занятия один из любимых наших преподавателей — Дмитрий Васильевич Кваско.

— Нет, он не болен, — объяснил нам завуч, пряча глаза, — но у нас уже не работает. Мы пригласили другого, весьма опытного и знающего.

Мы были очень огорчены. А вскоре поползли слухи. Оказался Кваско врагом народа! Скрыл своё кулацкое происхождение. Говорили, что где-то на Полтавщине есть даже деревенька Кваски, принадлежавшая родителям Дмитрия Васильевича. Подумать только! Мы были ошеломлены, подавлены, но отношение наше к учителю не изменилось. Наши добрые чувства и скверные слухи сосуществовали, не оказывая друг на друга никакого влияния. Поразительно было лишь то, что и сомнений у нас не возникло. Чудовищно! Дмитрий Васильевич — враг! Чей враг? В чём состояла его враждебная деятельность? Никто этих вопросов не задавал. Сказано — враг, значит, враг. Скрыл? Скрыл, замаскировал-

ся. Это в те годы было одно из самых ходких словечек. За-маскировался!

Верю, верю я тем немцам, что бьют себя в грудь и делают круглые глаза: "Камеры смерти? Печи? Массовое уничтожение? Да господь с вами!"

Точно так же было и с нами. Мне не раз приходилось рассказывать о тех временах. Рассказывал молодёжи, студентам. Слушают, поражаются, недоумевают. Хотят верить, потому что привыкли верить мне. Не верить нельзя. Но как в такое поверить?

Да что студенты? Рассказывал я людям зрелым, ровесникам моим, или таким, что моложе меня на десять-пятнадцать лет, были они уже подростками в те годы. Но всё с тем же результатом. Сомнения, недоверие, изумление. Не может быть! До слёз меня доводили. А чем докажешь? Нет доказательств! Нигде не написано. Свидетели нужны. А где взять их, свидетелей? Полвека уже прокрутилась наша планета! Какие уж могут быть свидетели.

Вот я и есть свидетель. Мы с матерью и с отцом проводили Вовку в последний путь. Я один и остался. Нет никого, кроме меня. И Вовки нет. Закрылась за ним дверь тогда, и остались мы стоять вокруг стола, как возле гроба. Стояли и молчали. О чём говорить?

— Всё, пора расходиться, — сказал отец. — Скоро утро. Делать нечего. Я уверен, что Вова ни в чём не виноват. Задержат на пару дней, разберутся и отпустят. Ведь не дураки там сидят, поймут, с кем дело имеют!

Да, дела там делались без дураков. Основательно и все-рьёз. Ошибок у них не бывает. Вот и Лобанов, старый милиционерский, так считает. А он-то уж знает! Какие могут быть там дураки!

ГЛАВА 5

ВЕСЫ И МЕЧ ФЕМИДЫ

По новой, нехоженной и неведомой дороге покатилась наша жизнь.

Два десятилетия нам толковали о новом быте. Теперь мы его получили. Действительно, новый, ни на какой другой не похожий. Ранним утром отправлялись в поход, посещали учреждения, о которых прежде знали только понаслышке. Засыпали их запросами, заявлениями, просьбами, выслушивали

невразумительные ответы, отказы, дурацкие отговорки. И всё это в густых, нескончаемых очередях, в толпах растерянных, обезумевших, сломленных горем людей. Подавляющее большинство составляли женщины. Как и в прежние, далёкие времена, как всегда в часы великих бедствий, на них ложилась большая часть непосильного груза страданий. Теперь, правда, это были не те прославленные, многократно воспетые русские, а самые что ни на есть простые советские. Новым был и их национальный и социальный состав. Но горе и страдания оставались прежними, человеческими.

Загадочный и непостижимый феномен являет собой страдающая женщина. Матери, жёны, сёстры в горе обретают неожиданные твёрдость, бесстрашие и силу. Какое самообладание, какую выносливость нужно иметь, чтобы изо дня в день, из месяца в месяц мотаться между тюрьмой, что на Дегтяревской, прокуратурой в Присутственных местах, управлением НКВД на Екатерининской и кучей разных департаментов, разбросанных по городу? И не просто мотаться, а бороться, добиваться, сражаться, простаивать часы, врубаться в толпы и слышать повсюду грубые окрики, издевательские ответы, оскорбления и отказы, отказы...

Пустой я задал вопрос — "какое самообладание?.." Да именно такое, каким обладают женщины, даже такие, как моя мать. Никогда не подозревал я, какая сила заложена в этой избалованной, изнеженной, окружённой всеобщим уважением, привыкшей к изысканной вежливости маленькой женщине. Всё оказывалось ей по силам. И многочасовые очереди, и удушающая теснота в тисках мечущихся бабьих толп, и нескончаемое кружение по городу, и перепалки с наглыми энкаведешниками. Всё она терпела. Безропотно, без единой жалобы и без слёз. В глазах стояло отчаяние, но они оставались сухими. Я всегда любил и уважал мать, но теперь уважение приобрело новое качество. Она стала моим товарищем. Стойким и верным.

А вот отец соратником нашим не стал. Он был из тех, что способны на ПОСТУПОК, но не на длительную, изнурительную и часто безрезультатную деятельность. И ещё был отец болезненно чувствителен ко всякой несправедливости. Грубость и даже элементарная некорректность сразу выбивали его из седла. Не годился он нам в партнёры, силы пробойной не имел, и мы с матерью отстранили его от наших дел. Воевали сами, время от времени кое-чего добивались. Бывали иной раз и успехи — в том, например, что удалось

установить Вовкино местопребывание и однажды даже отправить передачу. Пустое дело, конечно, учитывая, что вручение её ничем не подтвердилось.

Но главный успех не заставил себя долго ждать. Лишь по невежеству нашему да по наивности мы сочли успехом сообщение о передаче Вовино дела в суд. Итак, Вову будут судить! Это ли не удача!

В те времена судили только уголовников: воров, убийц, бандитов и им подобных. Но, чтобы судили нашего брата, врагов народа, такого мы ещё не слышали. "Врагов" не судили. С ними расправлялись без суда. У нас, конечно, завязалась куча знакомств, появилось множество друзей среди жён, матерей и детей арестованных. Их дела мы знали так же хорошо, как и наше собственное, но с судом ещё никто не встречался. Суд — нечто диковинное по тем временам. Дела вершили две инстанции: "тройка" и ОСО. Была, как я узнал много позже, ещё одна: Военная Коллегия. Она не "вершила", а лишь выносила смертные приговоры. Нетрудно поэтому понять, почему так ласкало наш слух короткое слово СУД. СУД — это когда выслушивают, разбираются, взвешивают. В суде, конечно, выступает защитник, а значит, обвиняемый уже не одинок. Есть с кем посоветоваться, есть на кого опереться.

Мы возвращались домой чуть ли не счастливыми.

Впервые за всё это смутное время нам предстояло заняться хоть и не простым, но ясным и доступным делом. Нужно было пригласить адвоката. И, конечно, лучшего. самого лучшего. Выбирать не приходилось. Даже младенцы знали, что всем адвокатам адвокат — Рашба. Адвоката, равного Рашбе, в Киеве не было. Он, кстати, был родным братом профессора Рашбы. Того самого, которого мы пригласили к Ириному отцу в те памятные дни.

К Рашбе мы и пошли. Скажу сразу, что короля уголовных процессов я представлял себе иным. Король оказался маленьким, полненьким человечком, с кругленьким брюшком, обтянутым светлым муаровым жилетом. Голова его, до самого галстука, была гладко выбрита. Из растительности одни лишь ресницы сохранились. Брови у него просто не возшли. Не брил же он их! Вся его голова, цвета шоколадного пломбира, блестела как купол Андреевского собора.

Принял он нас в своём просторном кабинете, обставленном в традиционном стиле ушедшего столетия. Ковры, гобе-

лены, бронза, мрамор. Мебель массивная, старинная, красного дерева. Не кабинет, дворец! Только королю тут и жить!

Поздоровались мы, и он шаркнул ножкой, как гимнастик. Меня тоже так учили. Уселись в кресла, утонув в них чуть не с головой. И пошёл у нас невесёлый разговор.

— Увы, мадам, я ничего не могу вам сказать, пока не ознакомлюсь с делом, — сказал он, выслушав мать. Щёлочки его глаз то сужались, то разбегались и вспыхивали, как зарницы на ночном небе. — Только после знакомства с делом, — прервал он мать, пытавшуюся истолковать нашу беду как недоразумение. — О недоразумении не стоит говорить, мадам, — остановил он её, положив свою пухленькую ручку на дрожащую кисть матери. — Ведь уже заведено дело, и, как вы говорите, есть решение о направлении его в суд. Какое же может быть недоразумение?

Адвокат проводил нас до дверей, очень элегантно приложился к руке матери и назначил следующий день встречи.

Томительны были дни ожидания. Ох, до чего томительны! Но время делает своё вечное дело, и вот мы уже снова тонем в Рашбинских креслах.

— К великому сожалению, мадам, ничего утешительного я сообщить вам не могу, — страдальчески морщась, пробормотал адвокат.

Мне очень не хотелось смотреть на мать, но я смотрел. Делал вид, что смотрю на адвоката, а смотрел на неё. Лицо её как-то сразу пожелтело, и глаза на фоне этой желтизны угрожающе заблестели. В наступившей тишине словно костяшки на счётах, щёлкают суставы. Это мать ломает пальцы. Была у неё такая дурная привычка.

— Дело в иные времена не дело. Но в наши дни — 54 п. 10 — антисоветская агитация. Так это теперь расценивается уголовным кодексом Украинской республики.

Из уст адвоката услышал уже знакомую мне историю о Вовкином выступлении на политзанятиях.

— По делу есть два свидетеля... — продолжал адвокат. Он запнулся, заглянул в записную книжку. — Вот фамилии их: Брондз и Куринной. Знакомы они вам? Впрочем, это не имеет значения.

— Какие мерзавцы! — не сдержалась мать. Но адвокат остановил её, подняв руку.

— Повторяю, никакого значения показания свидетелей не имеют. Ваш сын ничего не отрицал. Свои собственные показания он подтвердил слово в слово. Свидетели — про-

стая формальность. Они лишь засвидетельствовали верность всего, сказанного вашим сыном.

— Господи, неужели ничего нельзя сделать? — не знакомым мне истерическим голосом вскричала мать, продолжая шёлкать суставами, хотя я до боли стиснул её локоть.

Адвокат встревоженно поморщился и потянулся к хрустальному графину с водой. Но мать уже успокоилась. Срыв её был случайным. Она умела держать себя в руках.

— Линия защиты может быть только на снисхождение, — спокойно продолжал адвокат. Он понял, что туча прошла стороной.

— Молодость, необдуманность слов, честное признание...

— Так он будет осуждён? Какой же может быть приговор?

В пределах десяти лет. Полагаю, лет пять или шесть. Будем пытаться сократить его насколько возможно. Ваш сын молод, здоров, отбудет срок...

— Что вы такое говорите? Ведь вся жизнь искалечена! Институт не закончен, и у него же невеста! Они собирались пожениться! Боже, боже!

Мать уже снова перешла на крик, но без прежних истерических нот.

Адвокат сидел неподвижно, покорно склонив голову. На его лице сквозь сочувственное выражение стыдливо проглянула скука. Как подавленный зевок. Но я отметил эту перемену и вылез из кресла.

— Что поделать, мадам, такие уж времена...

Я помог матери подняться.

Не додумали чего-то сочинители этих кресел. Сесть в них — проще простого, бухнулся и сидишь, а вот — вылезти...

Я взял мать под руку. Делать нам здесь было уже нечего. Ничего нового не услышим и не скажем. Всё, что можно было сказать, сказано.

* * *

Суд состоялся в здании Присутственных мест. Двадцать пять лет тому назад в этом же здании судили Менделя Бейлиса. Впрочем, это я так, к слову. Ничего общего между этими двумя событиями не было. Разве лишь то, что в обоих случаях судили ни за что. Безвинных судили. Бейлиса, одна-

ко, оправдали. Нашлись у него защитники. Лучшие люди вступились за него. Были такие. И голос свой в то время могли подать. Царь тогда правил, который кровавым был прозван. Теперь его, кровавого царя, не было. Стояла зима 1937 года.

После долгих морозных недель наступила оттепель. Над домами висел туман. Постукивала, булькала капель. На почерневшем, пятнистом снегу разбросались унылые, мутные лужи. А наша семья, в полном составе, включая Вовину невесту Римму, уже с раннего утра месила грязь на заднем дворе судебного здания. Ждали прибытия заключённых. Месили долго. И хоть притоптывали, и прохаживались, и ногу об ногу били, а заоченели до полного одеревенения. На негнущихся ногах, как на ходулях, заползли мы в здание и расселись на лавках в прокуренном, заплёванном коридоре. Вслед за нами потянулся народ, и вскоре коридор заполнился, казалось, до самого потолка. На лавке нашей между нами с отцом втиснулась шустрая бойкая старушонка, плотно запакованная в огромный, толстый платок. Она всё ёрзала на своём месте, очень, видно, хотелось ей за кого-нибудь языком зацепиться. Отец показался ей подходящим объектом.

— У вас кто? — зашептала она ему в самое ухо.

— Сын, — нехотя бросил он. — Студент.

Старушонка оживилась.

— Поверите, и у меня сынок! Посадили и, поверите ли, ни за что ведь! Не виноватый он!

Отец сочувственно хмыкнул.

— Поверите, — продолжала она, — виноватят его, вроде бы снял он с человека костюм и туфли. Ну, может, и снял! Так же он выпимши был! Поверите, он тверёзый и мухи не обидит! Такой он у меня тихий, такой уважный! Я начальнику говорю: "Всё через водку проклятую! Он, тверёзый, никогда никого пальцем не тронул!" А начальник мне говорит: "Мамаша, мамаша, он же ведь не в первый раз!" "Так, товарищ начальник, — говорю, — он же и тот раз выпимши был! Что с выпимшего спрашивать?"

Отец слушал, и на лице его сохранялось сочувственное выражение. Он был очень деликатным человеком, мой отец.

А в коридоре дышать уже стало невозможно. Кислород с азотом вытеснен полностью углекислым газом и табачным дымом. И снова отправились мы топтать грязь на мерзком дворе. Только присмотрели мы подходящее, затишное мес-

течко, как из ворот выскочило несколько милиционеров в телогрейках и с криком "давай, давай" бросились расталкивать народ по сторонам. И тотчас же во двор въехала тюремная машина.

Сердце моё отчаянно затрепыхалось: сейчас увижу Вовку! Я и хотел увидеть его, очень хотел, но одновременно боялся. В моём воображении стояло измождённое, мертвенно-зелёное лицо. Знакомых черт я в нём не находил. Это было абстрактное отвлечённое видение.

Арестованные, между тем, соскакивали с машины один за другим и выстраивались в ряд. Мы смотрели во все глаза, но Вовки среди них не было. Мать повисла на моей руке, Отец, вдруг ставший каким-то маленьким и тёмным, густо дымил толстой папиросой. Римма стояла неподвижно, тело её было напряжено, как у часового при знамени.

Брат появился внезапно. Не пойму, где он скрывался прежде. Во всяком случае момент выхода его из машины я проглядел. Теперь он стоял вместе с другими в арестантском строю, и я мог хорошо рассмотреть его.

Нет, не был он ни измождённым, ни зелёным. Конечно, привычных красок я на его лице не нашёл, но и страшного тоже, только очень уж он был бледным. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся мне обычной своей суховатой улыбкой. Она была даже менее суховатой, чем обычно. И вообще мне показалось, что лицо его было как-то непривычно открытым и одухотворённым. Не было красок, но было в нём нечто новое и светлое. Таким я его не знал. Казалось, что там, где он находился, влилась в него новая душевная сила, не свойственная ему самоуверенность.

Опустив головы и заложив за спину руки, прошёл мимо нас строй арестантов. Мы проводили его взглядом и вернулись в коридор.

Наш адвокат был уже здесь. Мы едва узнали его в незнакомом верхнем наряде. Бобровый шалевый воротник и шапка из такого же роскошного меха совершенно преобразили его. Теперь он вполне мог сойти за короля.

Но король ничем не порадовал нас. Потупив глаза, он сообщил, что дело будет слушаться при закрытых дверях.

— Как же так, нам даже не удастся повидать сына? — сразу на высоких нотах откликнулась мать. — А свидание? Неужели и свидания не дадут?

— Обязательно дадут, это наше право, — охотно ответил адвокат, довольный тем, что хоть раз может дать положи-

тельный ответ. — Разрешат и свидание и передачу. Приготовили вы что-нибудь на дорогу сыну?

Ничего мы не приготовили. И в мыслях не имели. Ни черта мы не смыслили в таких делах.

Побежал я в магазин, накупил всякой всячины. Колбасу взял, сало, печенье и конфеты, шоколад и несколько корочек с бульонными кубиками. Я их видел впервые, но решил по наивности, что в дороге они, как и всякому путешественнику, сослужат Вовке добрую службу. Глуп я ещё был тогда. Долго потом валялись эти кубики в буфете. Никто не смел выбросить их, даже когда покрылись они густой зелёной плесенью. Память всё же! Вовка, когда увидел их, сразу же отдал назад и как-то обидно ухмыльнулся. Вернулся я с покупками, и мы ещё долго томились в одуряющем, тягостном ожидании. Вот тогда я и увидел их. Свидетелей. Брондза и Куринного.

В коридоре по понятной причине ни весёлых, ни довольных, ни даже просто спокойных людей не было. Но среди невесёлых, недовольных и беспокойных самыми жалкими выглядели они.

Я знал этих парней. Брондз даже как-то заходил к брату, не то по делам общественным, не то за конспектами. Неплохим малым он мне тогда показался. Но тут, в судебном предбаннике, ненавидел я его звериной ненавистью. И второго, конечно, Куринного, тоже.

Немало упительных ночных часов провёл я тогда, строя жестокие планы возмездия, смакуя картины их мук и позора. А зря! Нет у меня теперь к ним ненависти. И не потому, что расстояние до тех дней полувеком измеряется. Спокойно и трезво оцениваю я прошлое. В чём была их вина? Не вина, а беда их состояла в том, что слышали они этот роковой разговор, от начала до конца слышали. От них потребовали, чтобы подтвердили всё на суде. Могли потребовать от других, но выбрали этих. Куда им было деваться? Сказать, что слышали, но не хотят подтвердить? А почему, спросят у них, почему, комсомольцы скрывают правду о вражеской вылазке? По какой причине, если сам виноватый во всём признаётся? Не знаю, как бы я поступил на их месте. Даже не на их, а на своём! Братом будучи! Впрочем, не буду ханжой. Знаю! Сделал бы то же самое. Не знаю, как ныне, но тогда — безусловно. Нельзя было иначе! Хоть каким бы ни был героем! Своим судом оправдываю их, Брондза и Курин-

ного. Нет на них вины! Нельзя не считаться с реальностью тогдашней жизни нашей.

Свидетелей позвали в зал суда. Мы почему-то тоже вскочили, засуетились. Вновь яростно застучали наши сердца. Меня забил озноб, и я с трудом сдерживал челюсти, всё норовившие выбивать дробь. И всё по неопытности нашей. Ещё предстояло суду после свидетелей выслушать и прокурора и защитника. Ещё должен был пойти суд на совещание и зачитать потом приговор. И лишь после всего этого дойдёт дело и до нас. Так что клацать зубами было ещё рано. Но что поделаешь, если напряжение наше уже было на самом пределе!

Всё было так, да не так. Суд, конечно, программу выполнил. И свидетелей заслушал, и прокурора, и защиту. Совещание, надо полагать, тоже состоялось. Но, судя по всему, делалось всё без излишеств. О справедливости говорить не буду, а что скорым был суд, так это точно. Казалось, вот только прошли свидетели, а адвокат уже был здесь. Невесело он выглядел. Могли бы мы его ни о чём не спрашивать.

— Ваш сын всё признал. Суду, собственно, и делать ничего не пришлось, — доложил адвокат. — Что мне оставалось при полном единстве обвиняемого, свидетелей и прокурора?

Мягким, по тем временам, был приговор. Шесть лет лагерей и три — поражения в правах. Я, по крайней мере, воспринял приговор с некоторым облегчением. С высоты моих юных лет шестилетний срок представлялся мне вполне терпимым.

О лагерях мы имели самые смутные представления, если не сказать, просто никаких. Вследствие уже упомянутой всенародной слепоты и идиотской доверчивости мы были убеждены, что никакой угрозы здоровью, тем более жизни лагерь не представляет. Ведь лагерь-то наш, советский! Конечно, там приходится работать, и работать тяжело. Но такого крепкого парня, как наш Вовка, работа не испугает. Выдержит не хуже других. Отбудет срок и вернётся. Конечно, времени жаль. И института... И вообще... А может быть, кассация, о которой говорил адвокат, сократит срок? И будет вместо шести — пять, а то и все три! Тогда и совсем уже не страшно.

А пока мы стояли, прижавшись к стене, и ждали. Вот-вот выведут Вовку и дадут нам свидание. Нелёгкое дело —

тюремное свидание. В считанные минуты надо и насмотреться на дорогого человека, и объятие его последнее пережить, запечатлеть его телом и сердцем, и, что самое трудное, что-то сказать. Ну что сказать? Не пустяк же какой-нибудь! Что-то надо такое, к моменту подходящее, весомое и памятное. А что весомо? Напутствие, совет? Что я могу посоветовать? Не повернётся у меня язык на пошлятину, вроде "береги себя" или "не забывай"... Нет, ничего не могу придумать. Пусть уж как получится!

Мимо нас, понунив головы, прошли свидетели. Как им, беднягам, было плохо! Как они страшились наших взглядов!

И снова, как тогда, во дворе, я зазевался. Пока Куринного разглядывал, вывели Вовку из зала, и оказался он чуть не рядом.

Нет, не ошибся я, верным было моё тогдашнее впечатление. И сейчас меня поразило Вовкино лицо. Ведь только-только приговор свой услышал, беду свою, годами отсчитанную осознал, а ничто на нём не отразилось. Ни отчаяния, ни страха, ни даже просто огорчения не увидел я на его лице. Шёл он с поднятой головой, рассматривал толпу ищущим, спокойным взглядом.

Растолкал конвой народ, и оказались мы у самой стены, на задах. Где-то рядом были мои родные, но я их не видел, всё на Вовку смотрел, и дикая, несуразная мысль шевельнулась в моей беспутной голове. Вот, думаю, мы пришли сюда, в этот страшный дом, в недобрый час, пришли, раздавленные горем, содрогаясь от жалости и боли. Горло перехватывает, когда я на родителей, на Римму, невесту Вовкину, смотрю. А он? Словно наблюдатель сторонний! Вроде сам по себе, не о нём мы, и не наша эта боль общая!

Было в этом что-то обидное, несправедливое... Столько лет всё пополам делили! А теперь словно и не брат он мне! Вот так я тогда его спокойствие воспринял. Бред! Суший бред, да и только!

Провели Вовку в комнатёнку, где заключённых в судебный день содержали, а вскоре и нас туда впустили. Разрешили, как обещал адвокат, свидание и передачу. Я, конечно, пропустил всех вперёд и, как они там прощались, не знаю, хоть и стоял у самой двери. Только и слышал, как конвойный покрикивал: "Время, время, кончайте!"

Настал и мой черёд. Бросился я к брату, обнял его и заговорил. Будь проклят этот язык! Всё будь проклято! Не мог

я иначе. И невольно говорил по-немецки, стараясь перекрычать конвоира, который надрывно вопил:

— Прекратить. Молчать! Говорить по-русски!

Я обернулся к нему, в растерянности пытаюсь объяснить, что мы всегда так, привыкли. Но он ничего и слушать не хотел, а всё орал:

— Говорить по-русски. И кончайте! Кончайте!

Я замолчал. Не мог я по-русски. По инерции я ещё думал по-немецки. Что было делать? Молча обнял я брата, снова подивившись бодрому, ясному выражению его лица.

Нет, он уже не тот Вовка, какого я знал прежде. Что-то изведаль он новое, неведомое мне, в чём-то поднялся он над мной, возвысился над всеми нами.

До сих пор мы шли на равных. Теперь не стало равенства. Что-то есть в нём теперь такое, чего я лишён. Своё. Недоступное мне. И непонятное, саднящее душу чувство ощутил я в себе. Нелепым было оно, но оно было. Я позавидовал брату! И долго ещё эта зависть точила меня. Точила, пока мне не удалось снова поравняться с ним. Ненадолго, потому что он вскоре далеко ушёл от меня. От всех нас. Так что стремиться к равенству стало уже невозможно. Да и незачем было стремиться т у д а.

Пришло время, и я понял суть происшедшей в брате перемены.

Смутно понимал я это и прежде, тогда, в суде. Дух поселился в нём новый. Наступил день, когда и в меня вошёл он, дух новый. Я понял, что человек Т А М не только страдает, не только мечется между отчаянием и надеждой. Он ощущает своё превосходство над оставшимися по *эту сторону*, потому что познал недоступное им, сумел пройти через *не постижимые уму испытания*, стал членом нового братства, сложившегося *ТАМ*. И он горд этим. И из этого черпает он свои силы и уверенность. Мне кажется, я понял это, хоть и не до конца, когда в последний раз прижался к груди моего брата. Все годы был он частью существа моего, моего тела, моей души, моей жизни. На том и расстались мы до следующего нашего свидания, если годится для того, что произошло, это слово.

ГЛАВА 6.

БИТВА НА РЕЛЬСАХ

На первый взгляд, режим и распорядок дня, по которым жила наша семья до суда, остались прежними. Работали отец и мать, а я, как обычно, ходил в университет. Каждый из нас, казалось, занимался своим делом. Но это только казалось. Одной видимостью была наша деятельность. Всё стало чем-то побочным, третьестепенным. На первое место вышли теперь новые, неведомые прежде заботы. Мы уже не бегали по инстанциям, не искали встреч с высокими лицами, не писали заявлений и прошений, не делали запросов. Не о чем было спрашивать. Кассация была отклонена, приговор оставлен без изменений. Брату предстояло этапироваться в лагерь. Куда, в какой лагерь, когда будет отправка, таких сведений получить было не у кого. Не давали нам таких справок.

Что было нам делать? Сотням, тысячам близких и родных, желавших повидать дорогих людей, послать им прощальный привет, проводить их в далёкий и, быть может, последний путь. Была лишь одна, единственная, возможность сделать это: держать под неусыпным, непрерывным наблюдением все возможные точки отправления эшелонов. Круглосуточно. Днём и ночью. Бессмысленной, нелепой, противоречащей здравому смыслу представляется такая задача. Шутка ли! Караулить все точки! Их же не одна, не две, чёрт знает, сколько их! Тюрьма — точка. Товарная станция — точка. А таких станций, между прочим, две, если не все три. А вокзал? А всякие пригородные, вроде Поста Волинского, Караваевых Дач и им подобных?! Да нет им числа, чтоб им провалиться! Задача, действительно, нелёгкая, но иного пути не было. И мы действовали. Иной раз даже весьма успешно, потому что нас было много! Потому что каждый готов был на всё. Потому что, хотя не было у нас никакой организации, была система, где составляющими единицами были собратья по горькой нашей судьбе. Впрочем, насчёт братьев я по привычке. Братья — мужчины были там, за решёткой. Здесь уместнее говорить о сёстрах, и я рискнул бы, отнюдь не желая задеть мужское достоинство, сказать, что дело от этого не страдало, если не сказать больше. Не силой, не мужеством делалось оно, а любовью и преданностью, извечными качествами натуры женской.

В толпах, дежуривших на железнодорожных станциях, у тюремных ворот, вокзалов сложился особый тип отношений. Каждый находился в состоянии постоянной готовности принять и дать поручение, принять и оказать помощь. На таких дежурствах мои карманы наполнялись записками, блокнот — новыми записями: адреса, имена, телефоны, телеграфно короткие фразы для передачи, поручения.

Без стеснения обращались мы друг к другу с просьбами, поручениями и, конечно, с главной просьбой: искать наших близких.

Каждый носил с собой списки имён, фамилий, ласкательных прозвищ. Мы объединялись в союзы, в боевые отряды, и каждый такой отряд, по согласованию, дежурил на одной из точек по чёткому графику.

По графику, прямо из университета, мчусь на станцию — "Киев - Товарный". Не близкий до неё путь, так что, когда покраснели впереди составы и послышалось паровозное пыхтенье, был я уже изрядно взмылен. Самое время и передохнуть, но не выходит. Напротив, неистовый лай собак и крики, что доносятся от станции, заставляют ускорить шаг. До места ещё бежать и бежать, но я уже знаю: на путях стоит эшелон. Не зря, выходит, прибыл. Бегу. Ещё десяток, другой метров, и я у цели. Вот он, эшелон. Длинный ряд теплушек с зарешёченными окнами, а вокруг — охрана, плотный строй солдат в прославленных и ненавистных зелёных фуражках. Вот они, верные защитники наши. Поэты им стихи посвящают, песни о них пионеры поют, а я бы их всех — в лагерья наши, советские, и добрым было бы это дело.

Зеленоголовые все с собаками, взбешёнными овчарками, со злобно оскаленными чёрными мордами. Собаки рвутся с поводков, осатанело рычат, захлёбываясь булькающим, хриплым лаем.

Выучка у них одна. У собак и у их хозяев. А вот вина не одна. Разная вина у них. И спрос, если бы был возможен, тоже был бы разный. Что с собаки взять? Зверь есть зверь.

Но праздный это разговор. Нет и не было с зелёных фуражек спроса. Нет им прощения.

Плотным, упругим кольцом окружает состав людская и звериная злоба. Казалось, не пробиться сквозь этот заслон. Но снизу, от подошвы насыпи, гонимые отчаянием, штурмуют кордон толпы женщин, детей, подростков. Они взбираются на полотно, скользят по зыбкому гравию, сползают, скатываются и вновь карабкаются, почти вплотную подсту-

пая к охране. Солдаты и собаки стервенеют до потери рассудка, а женщины всё ползут и ползут, и кричат, кричат, кричат... На все голоса. Больше всего голосов женских. Но кричат и дети. А иной раз слышатся и мужские.

— Витюша, Витя! Шацкий, Шацкий! Андрей! Андрюша! Макс, Максим! Макс, Шацкий! Логвинов, Логвинов! Папа, папочка! Папочка!

Крики сливаются в один многоголосый истошный вопль.

Бессмысленной кажется кутерьма свежему человеку. Какой толк от этой крикотни? Но так оно для свежего. Мы-то знаем, для чего надрываемся. И толк есть, не зря сутками мается здесь народ.

Люди в теплушках ловят каждый выкрик, каждое слово. Вжавшись в решётки, выставив наружу, насколько возможно, уши, они терпеливо вслушиваются в хор голосов и ждут, ждут, надеются и ждут...

— Валя, Валечка, Валюша! Я здесь, Валечка, здесь, в третьем вагоне!

— Это мой, мой, — срывающимся, юным голосом выкрикивает женщина, хватаясь за грудь, и взбегает на насыпь, прямо к пасти беснующегося, вздыбленного пса.

— Назад, назад, кому говорят! — орут зелёные, травя поводки. — А ну, назад, курва, слазь!

Но женщина уже ничего не соображает и рвётся вперёд, как безумная.

— Шацкий, Андрей, Андрюша, я тебя слышу! Слышу! Куда вас? Куда везут?

Словно кляп вбили одним махом во все глотки, такая вдруг упала тишина. Собачий лай и голоса конвойных звучат теперь в ней, настороженной, мёртвой, неправдоподобной.

— Повторите, спросите ещё, мы слушаем. — И сами уже кричим: — Шацкий, Шацкий: Андрей, здесь Валя, здесь Валя! Куда везут? Куда едете? Куда вас? Куда? Куда?

Конвоиры озверели, дрожат и трясутся, как их псы. Они бросаются на голос в третьем вагоне, сбегают с насыпи и отпускают поводки. Густой, как дёготь, мат ползёт над толпой. Женщины отступают. На шаг, на три. Лица их каменеют, ненависть огнём рвётся из глаз. И собаки — не бросаются на них. Нет, бессильны эти, со своими собаками и оружием. Сила у нас, у отчаянной, на всё готовой толпы.

— Шацкий, Шацкий, здесь Валя! Куда вас? Куда везут? Куда?

Счастье выпало не одной Вале с её Андреем. Переключка оживлённо велась уже многими, и вовлечён был уже ряд вагонов.

Куда отправляют эшелон, никто толком не знал. Называли Житомир, Белую церковь и даже Умань. Какой толк от этих сведений?

С момента прихода на станцию я работал на других. Как было не помочь Вале и таким же, как она, жидкоголосым? Нельзя не помочь, и я помогал. Кричал, бегал вдоль эшелона и снова кричал.

Теперь пора поработать на себя. И я заработал. Дал голосу передышку и... :

— Вовка, Вовка, — кричу изо всех сил, шагая вдоль эшелона и заглядывая в окна. — Вовка, Вовка, Вовка.

Но Вовка не откликается. И вдруг понимаю: как глупо то, что я делаю. Какой Вовка? Кто может знать его под этим именем? Надо начинать всё сначала. И опять я шагаю мимо вагонов.

— Генин, Генин, Лев Генин! — бегу вдоль эшелона. Из конца в конец. Потом назад. И снова: — Генин, Генин, Лев Ильич, Генин!

Осталось ещё два вагона. И вдруг, словно эхо в бесконечной дали, будто из подземелья:

— Генин остался в тюрьме! Генин остался в тюрьме! — Голос умолк, а я даже не понял, откуда он звучал.

Бегу опять вдоль состава. Тихо. Молчит голос, а у меня уже и силы кончились — хоть ложись тут под насыпь. Но всё же не зря я пришёл сюда. Знаю, на месте Вовка. Толку от того, что знаю, — нуль. Отрицательная величина. Но всё-таки!

Сегодня делать здесь нечего. Отправляюсь на заслуженный отдых. Но, как известно, человек только предполагает. Только наладился я, подбегает ко мне Валя. Та самая. Шацкая. Растрёпанная, расхристанная, лицо горит, и капельки пота, как росинки на листе ранним утром.

— Очень вас прошу, — хватает она мою руку, — говорят, эшелон ещё постоит, а к нам не очень далеко, пусть мать приедет, она дома, здесь адрес, это недалеко, очень вас прошу! — Она сует мне в руку записку и рукавом вытирает со лба пот.

— О чём речь, сейчас побегу. Не беспокойтесь! — Я прячу бумажку в карман. Живут Шацкие у чёрта в зубах. За час и то не доберёшься. Но что поделаешь!

Вот такая пошла у нас жизнь. Не день, не два — много беспросветных дней, безрадостных и серых, как сукно солдатской шинели. Что серых, это точно А насчёт безрадостных, то здесь явный перехлёст. Не бывает *ничего* без радости. Много раз в том убеждался. Уж так, кажется, плохо, так плохо, хуже уж и не придумаешь, хоть сто лет думай! А радости пусть мало, пусть одна-единственная и крошечная, как какой-нибудь вибрион, а всё же есть.

Не искал я и не старался, а сама она ко мне явилась, радость. И не такая уж крошечная. Не вибрион. Не знаю только, как тут вывернуться. Очень неловко получается. На чужом горе радость моя взошла. Посадили отца товарища моего — Малиновского Ивана Францевича. Два преступления совершил Иван Францевич. Поляком родился, это раз. Инженером крупным, железнодорожником был, это два. Их, железнодорожников, всех подряд забирали. Так и появились у меня два добрых партнёра. Стало нас теперь трое. Алёша, товарищ мой, мать его — Александра Павловна и я. Вот такая пришла ко мне радость. Верными оказались они партнёрами. Особенно Александра Павловна.

О ней бы тоже там следовало упомянуть, где я о женской твёрдости писал! И, что ведь удивительно, принадлежала она к тому сорту дам, что при состоятельном муже посвятили свою жизнь детям, кухне и портнихам. Совершенно на немецкий лад. Только что вместо "кирхе" — модистики. Но всё это в прошлом, хоть и очень недавнем. А теперь... Ничего не осталось от прежнего. Ни малейшего следа. Казалось, всю жизнь носила она эту серую телогрейку и крестьянский платок. К тому же, стала курить. Не часто в то время встречались курящие женщины. Всё одно к одному.

С Александрой Павловной мы и проворачивали все дела. Связи её вскоре уже были шире моих. Само собой. Ей-то проще было в бабьем царстве.

А вообще ей нелегко приходилось. Глуховат был её Иван Францевич. Кричи не кричи, всё без толку. Так что окольными путями всё делать надо было. Через товарищей, через посредников. Всем было трудно, а ей вдвойне.

Ох, как нам доставалось! Как только враги наши ни изошрялись! Чего только ни придумывали! То поставят состав на дрянном полустанке в окрестностях города, то загонят на запасные пути в Посту Волынском, то упрячут на Караваевых дачах, а не то и просто где-нибудь в чистом поле оставят... Потом надумали они перевести отправку на ночное

время. Недели две составы формировались и угонялись ночью. Мы, слава богу, перестроиться успели — на ночную смену перешли. А они, мучители наши, — нож в нам спину! Мы уже к ночи приспособились, а они возьми да и угонят один, другой эшелон среди бела дня! И чего, спрашивается, добивались? Ведь никакой опасности мы для них не представляли. И вреда никакого причинить не могли. Ну, прощаются люди, посмотрят на родные лица в последний раз. Убудет у кого-нибудь от этого? Ни логики, ни смысла в войне, которая велась против нас я не усматриваю. Злоба и ненависть. Вот и вся логика. Другой и искать не надо. Время было бесчеловечное, и люди перестали быть людьми.

Не все, конечно. Тогда именно я, быть может, впервые, настоящих людей увидел. Не у тех, недочеловеков, у этих учился, светлая им память.

Хитры были наши противники, ловчили на все лады, но мы были хитрее и изворотливее. А самое главное — представляли мы тысячи, сотни тысяч, народ весь представляли. Что могли враги противопоставить нам?

Вот затеяли они войну на железнодорожных путях и только одного не учли. Среди железнодорожников число арестов было особенно велико — сплошь враги народа! Как только ещё поезда ходили, не понять! И, конечно же, их семьи сражались рядом с нами. А уж они располагали самой достоверной информацией. Мы знали об эшелонах всё, где бы они ни формировались и куда бы ни отправлялись. Гонцы и депеши неслись по городу при любой погоде, при солнечном и лунном свете. Незванными, но дорогими гостями являлись мы в спящие дома. Мы не знали их обитателей, но мы все были членами одной семьи, братьями и сёстрами в нашем общем горе и в нашей любви.

* * *

Во всех видах знал я Александру Павловну, но такого себе не представлял — шагнула через порог, руку к груди прижимает, сердце сдерживает, рот открыт, ловит воздух, лицо синее, под глазами тени чёрные, с пуговицами никак не управится, руки трясутся.

Ну, думаю, не иначе как с Иваном Францевичем беда. Беру её за руку, в комнату хочу завести, но она не даёт, руку вырвала как-то даже нехорошо, невежливо.

— Давай быстро, эшелон на товарке, — говорит, — беги, я слышала, там твою фамилию кричали. Не стой же, одевайся! А Вани моего нет, — добавила она шёпотом. — Нет Вани! Дай мне платок. Посеяла где-то свой.

Через час я уже был на станции. Солнце радостно сверкало на умытом ярком небе. Даже обшарпанные рыжие вагоны эшелона окрасило вечно торжественным, праздничным светом.

Стояла у насыпи шумная толпа, кричали женщины, плакали дети, заливались лаем и рычали собаки, захлёбывались руганью и угрозой конвоиры. Привычная, знакомая картина. И лица многие тоже знакомы. Очень кстати. Пяти минут не прошло, ещё не отдышался, а мне уже сообщили, что слышали мою фамилию, кто-то выкрикивал её в одном из задних вагонов.

Бегу к концу состава, зову брата. На все лады. И по фамилии, и по имени, и по имени с отчеством. Трижды обернулся туда-сюда, а всё напрасно. Нет ответа. Уже с десятков имён записал чужих, а моего нет. Не иначе как ошиблись мои друзья. Ослышались. Вот из заднего вагона, без передышки, словно кукушка кукует, выкрикивает арестант: "Левин, Левин, Левин!". Сделает короткую паузу и снова: — "Левин, Левин, Левин!" Я и сам каждый раз вздрагиваю — до того в его выкриках свою фамилию слышу. Так, верно, и было. Сбил он с толку людей, Левин. Хватит носиться. Ещё раз пройду и всё.

И пол раза не успел пройтись, только дважды и крикнул, а уже доносится до меня сиплый, приглушённый голос из последнего окошка:

— Генин? Генин вчера отправлен в Житомир! Генин, Лев Ильич, вчера... в Житомир!

Никакой, значит, ошибки. Всё верно. Того, что кричал, я не видел. Поразило только это — "Лев Ильич"! Видно, уважают Вовку там, если так величают. Не уважали бы, то обошлись бы одной фамилией или именем. Ан нет, Лев Ильич!

Не сомневался я: уважают Вовку. Было за что. Только насчёт величания иначе обстояло дело. Пришло время и узнал я, что к уважению величание это ни малейшего отношения не имело. Конспирацию такую придумали. Вызывали на допрос по имени-отчеству, а фамилию заключённый называет. Вроде пароль и отзыв. Затеяна такая игра была, чтобы скрыть, кто в других камерах сидит. Вот, допустим, приходит надзиратель с вызовом на допрос, требует Ивана Петро-

вича или Петра Сидоровича, а отзыва нет. Фамилия не названа. Сохранена, значит, тайна. Так никто и не узнает, кто же такой этот Иван Петрович или Пётр Сидорович. И всё бы шло как задумано, не будь надзиратели безграмотны. Нередко придёт в камеру такой грамотей с вызовом, потужится, потужится и, отчаявшись, передаёт бумажку заключённым. Пусть-де они, учёные, разберутся. А те, конечно, разбираются, только никакой конспирации при этом уже не получается. Зекам, понятно, вся конспирация, как говорится, до одного места, — так у нас в Лукьяновке выражались, даже место само указали, — но величание прижилось. Друг друга по имени и отчеству привыкли называть.

Но всё это я к слову. Между прочим. Главное, что отбыл брат мой, Лев Ильич, в город Житомир. Надо ехать туда и немедленно!

— Вову вчера отправили в Житомир, — сообщаю я с порога. — Помогли собрать передачу, мамочка. Я с Товарки, только что узнал. Сейчас и поеду.

— Господи, да что же это такое? — затрещала суставами мать. — Как же *это* тогда понять? — Она протягивает мне клочок измятой тетрадной бумаги. — Вот, только что мальчик прибежал.

"Генин Лев Ильич, — читаю, — отправлен десятого в Винницу". Чертовщина какая-то! Десятое. Значит, уже позавчера! Как же так? Ясно сказано: вчера в Житомир! Делать что теперь?

— Думать, мамочка, некогда. Я в Житомир, а тебе придётся в Винницу. Иного выхода нет. Надо готовить две передачи.

— Да, да, — словно во сне бормочет мать. — Передач две. Я в Винницу. Да, да. В Винницу.

— Мамочка, не надо так! — пугаюсь я. Не нравится мне её вид. — Всё будет хорошо. Видишь, люди не подвели, помнят о нас, хотя могли и ошибиться. Сама знаешь, как такие сведения добываются. Кто-нибудь из нас увидит Вову, а передачу он получит во всяком случае.

Мать успокоилась. Ни она, ни я не знали, как всё обернётся. Не нашли мы Вовку. Не было его ни в Житомире, ни в Виннице.

Целый день просидел я под стенами житомирской тюрьмы, до самого вечера. Всё было верно, везли киевлян, только Вовки не было. Всех пересмотрел, в каждое лицо заглянул, разве что не пощупал. Не было Вовки. Спрашивал, не

остался ли кто здесь, в тюрьме житомирской. Никто, говорят, не остался. Все киевляне здесь.

Значит, Винница. Повезло матери, — радовался я, — и это справедливо. Пусть уж ей выпало счастье увидеть сына перед долгой разлукой.

Мать я застал уже дома. Увидев в моих руках передачу, она разрыдалась. Говорить было не о чем. Стоило ли обсасывать подробности? Потеряли мы Вовку. Всё остальное не имело никакого значения.

Как могло такое произойти? Кто ввёл нас в заблуждение. Не знаю, не могу постичь по сей день.

Великий Ламарк эпиграфом к своей "Философии зоологии" поставил слова: "Ничто вне природы не подлежит изучению". Прекрасные слова! Нет на свете чудес: всё подчинено высшим законам.

И всё-таки след, и не только след, но и его самого, брата моего, нашёл я с помощью чуда. Нет у меня другого объяснения.

* * *

Проснулся я среди ночи. Вообще-то я — "гиперацидник". Гастрит у меня с повышенной кислотностью. Из него потом и язва вылезла. Так что боль в животе мне не в диковину. Но такого ещё не помню. Сцепил я зубы, корчусь и явственно ощущаю, как злая рука свирепствует в моём животе, переминая внутренности. Поджал колени чуть не к самому подбородку и в таком виде сполз с постели.

Отец мой тоже язвенник, одной содой и спасается. Вот и я решил — по его методу. Дополз до кухни, нашарил впотьмах бочонок фаянсовый (в нём у нас сода хранилась), ложку в ящике тоже нашупал и почти полную сунул в рот. Вернулся на кровать, улёгся и жду. Боль не отступила, но стало легче, поскольку надежда появилась: вот-вот утихнет после соды. И точно! Пыхнуло в нос, раз и другой, что-то повернулось под самой ложечкой, и стала боль отступать. Теперь и вытянуться можно. Утихла боль, словно её и не было, будто приснилась. Улёгся я на спину и гляжу, как надо мной потолок светлеет. Ночь на исходе, идёт рассвет. Вот отсюда и началось чудо.

Ни о чём, кроме как о боли своей и соде, не думал я, слово честное! Не думал. И вдруг, как уж, не знаю, но мыс-

ли мои — в сторону: надо ехать на станцию! На Товарку! Спать всё равно уже не буду. Надо ехать и немедленно!

Вскочил, оделся, плеснул горсть воды в лицо и был готов. Впору бы поразмыслить, куда направиться? Мест ведь — вон сколько! Но в том чудо и состояло, что никаких сомнений у меня не возникло. Одно место только и есть! Товарка! И думать нечего!

Выскользнул я тихонько из дома и сразу на последнюю скорость. Чувствовал, что медлить нельзя.

Город только веки размежевал, первые признаки пробуждения являл, и так привольно, так спокойно было на его прозрачных улицах, что уходить от них не хотелось. Я и не уходил. Бежал. Пройду десяток шагов, переведу дыхание, и снова — в бег! Бежал с твёрдым сознанием, что не на поиск отправляюсь, а на верную, заранее договорённую встречу. И, на "Товарку" прибежав, ничего не искал. Глазами туда-сюда, и вот он, эшелон. Стоит на запасном пути в тупичке. До того я уже "чудесно" был настроен, что, к составу подойдя, рта не раскрыл, пока до "хвоста" не добрался. Здесь, у последних вагонов, остановился, дыхание выровнял и негромко позвал:

— Вовка! Генин! Лев Ильич!

Раз только и прокричал. Только раз.

— Здесь я, братишка! — тотчас откликнулся Вовка. Прямо передо мной, прижав лицо к решётке, улыбаясь своей скупенькой, бледной улыбкой стоял мой брат. Я не мог издать ни звука. Судорога сдвинула горло, и грудь заполнилась шемящей болью. Он был здесь, мой брат. Совсем близко, и так бесконечно далеко! Я не мог оторвать глаз от его лица. Всё во мне, до последней клетки, до самого ничтожного сосуда рвалось к нему. За одно прикосновение я, не раздумывая, отдал бы полжизни. Всю жизнь. Только прикоснуться! Так немногого я желал! Но было это желание несбыточно, как бессмертие, как путешествие в прошлое, или в будущее.

А меня уже окружил народ. Какие-то мальчишки суетились у моих ног, вплотную подступала толпа женщин. Они сбегались ко мне, как сбегаются куры к хозяйке, вышедшей на крыльцо с миской проса. Только вместо кудахтанья они выкрикивали:

— Спросите, не знает ли Гороховского? Аграновича спросите! И Шишковского. Узнайте о Шишковском! Смолянского! Спросите про Смоленского, очень прошу вас!

Ну что я мог поделывать? Мне бы с Вовкой поговорить, хоть парой слов переброситься! Но ведь не откажешь!

Горло уже моё в рабочем состоянии, судорога отпустила. Поставили меня женщины на своё место. Я снова "при исполнении". Тружусь в полную силу.

— Вова, где Агранович? Шишковский? Гороховский?

— Агранович здесь, в первых вагонах! — отвечает Вовка. — Шишковский остался в тюрьме! Гороховского не знаю.

Господи, ну что они со мной делают? Уходят бесценные минуты, а мы с братом о наших делах и звука не издали.

— Вова, — спрашиваю, пытаюсь перекричать женщин, — давно вы здесь? Куда вас везут?

Но Вовке не до меня. Он тоже "при исполнении".

— Перловская, есть Перловские? — кричит он.

— Есть, есть Перловская. Где Сеня?

— Перловская, дело на доследовании. Семён в Лукьяновке! Передайте Лине, что Эдик выбыл двадцатого. Перловская, скажите Лине, Эдик выбыл двадцатого!

Перловская, пожилая, рыхлая женщина, с подвязанной правой рукой, беспомощно оглядывается, пытаюсь забраться левой в карман на противоположном боку. Я прихожу ей на помощь, извлекаю блокнот и записываю: "Эдик выбыл 20-го. Для Лины". Сую блокнот обратно в карман.

— Кто это Эдик? — спрашиваю. — Сын ваш?

Женщина раздражается, её толстые щёки вздрагивают.

— Какой, к чёрту, сын? И какое вам дело?

Вот так так! При других обстоятельствах надо бы ей врезать, да что сейчас с неё возьмёшь, с несчастной? Перебьюсь. Не время. Я и так весь в лихорадке. Не из-за Перловской и не из-за Эдика, которого упустила Лина. С Вовкой хочу поговорить, а не дают. Совесть у них нет!

"Какое вам дело!" Вот зараза, эта толстуха!

Вроде бы стало вокруг потише, не дёргают.

— Вова, давно вы здесь? Сколько? Час, два?

— Только прибыли. Ещё постоим! Ты один здесь?

Ах, какой же я негодай! Прощения нет! Убить меня мало!

— Погоди, Вова, я скоро! — бросаю я и ныряю в толпу.

Только что они шныряли здесь, мальчишки. Как не надо, лезут на глаза. Ага, один есть!

Мальчик мал ростом, лопоух и веснушчат. Кепчонка — на самом затылке. Если бы не зелёные капли, угрожающе

нависшие над самой губой, то через ноздри просматривалось бы всё горло — не нос, а поросячий пяточок. Глаза смыслённые, отчаянные. Лихой парень! Настоящий Гаврош тридцатых годов. Правда, служит он теперь не коммунарам. Переметнулся. Впрочем... как теперь разберёшь — кто ныне в коммунарах ходит?

— Надо сбегать? — заглядывает он мне в глаза и втягивает капельки в укрытие.

— Да, надо, — говорю. — Левашовскую улицу знаешь?

— Это которая возле больницы? Чего и не знать, бывал! Вы только адрес печатными буквами запишите. Терпеть не могу, когда каракули накручены. — Он даже скривился, вспомнив о каракулях.

Я вырываю листок из блокнота, набрасываю несколько слов, надписываю адрес. Он берёт бумажку, смотрит и шевелит губами.

— Сойдёт, — басит он, пряча листок, — читать можно. — Он уже наладился на дорогу, но я удерживаю его.

— Дружок у тебя есть? Мне в два места надо.

— Найдём. Давайте ксиву. Сделаем. — Видно, отец у него мастеровой. Слесарь или столяр. "Сделаем" звучит профессионально. Не иначе, от отца слышал и не раз.

Вырываю ещё листок. Это для матери. Первый — Римме.

— Обойдётся по целковому каждая, — говорит он, теперь уже явно с отцовскими интонациями. — Платить, как вернёмся, будете или когда записки отдам? На месте бы лучше, чтоб не ворочаться. Не ближний свет, Левашовская.

Ну и Гаврош! Бывалый мужик! А ведь ему не больше десяти-одиннадцати! А может быть, и двенадцать.

Делаю на каждом послании по приписке: "Подателю — один рубль". Мальчишка исчезает в толпе, как монета в пляжном песке. Теперь только начнутся мои муки. Успеют — не успеют. Пока дойдут записки, пока доберутся сюда, пока... А дождётся ли эшелон? Долго ли он простоят тут? Прикатит паровоз, и всё! Конец!

Возвращаюсь к нашему вагону, но Вовки там больше нет. Какой-то мордатый, вцепившись в решётку, ведёт длинный разговор с женой. Везёт же людям! День сегодня редкий! Конвой удивительный! Стоят себе, покуривают и, вроде, не на работе. Ноль на всё внимания. И собаки лежат у их ног тихонько. Языки выбросили, глаза полуоткрыты, нежаты на солнышке.

А мордатый кончать не собирается. У жены на руках ребёнок. Она плачет навзрыд, а он успокаивает её. Его уже от окна не оторвать. И сказать ничего не скажешь. Да уж ладно, будь оно всё проклято! Только бы эшелон постоял! Час бы ещё! Хоть бы час!

Мордатый всё успокаивает, утешает:

— Не надо, не надо, Раечка, всё будет хорошо! Перебейся к маме, легче будет вдвоём.

Эшелон стоит, но как бегут часы! Страшное дело как бегут!

А женщина рыдает всё сильнее. Не действуют на неё уговоры. Лицо её, как окно в грозу. Бегут по нему, бегут ручьи. Текут слёзы из глаз, из носа, кажется, что сами щёки их выделяют.

— Перебейся к маме, — передразнивает она. — Нет уж мамы, нет её, в четверг похоронили маму, — шепчет она не то мне, не то просто так, никому.

Состав неожиданно вздрагивает, сдаёт назад, словно сопротивляется, снова на миг замирает и уже уверенно плывёт вперёд. Лениво, как бы нехотя, крутятся колёса, плывут облупленные, исцарапанные вагоны. Люди всполошились, завывали женщины, отовсюду понеслись вопли, плач детей, выкрики заключённых. Если не смотреть, а только слушать, — точно как на похоронах, когда гроб в могилу опускается. Что ж, не случайное такое сходство. Здесь тоже расстаются и прощаются без больших надежд.

А моих всё нет. Теперь уж им не повидаться. Страх берёт, как подумаю, что будет. Сколько слёз, упрёков, сожалений, терзаний! Не дай бог, на мне обиды свои вымещать будут! А чем я виноват? Чистое везение, что сюда вовремя попал! Не растормоши меня мой гастрит, ещё бы в постели валялся! Правда, мог бы догадаться и поторопиться с записками, но они же этого не знают! Да и сколько я времени потерял? Сушую ерунду! Не более четверти часа. Ничего бы не изменилось за эти минуты.

Ушёл эшелон. Не видно его уже и не слышно. Увезли нашего Вовку. Нет брата. Только что видел, голос его слышал, и — нет. Теперь почему-то всё, чем я утешал себя у дверей суда, казалось наивным бредом. Лагерь уже не представлялся мне такой трудовой коммуной. Каторга есть каторга, будь она царская, советская или любая другая. И труд там каторжный. Тоже дело известное. А срок! Шесть лет каторжного труда! Да ещё три года бесправных! Я неясно

представлял себе, в чём она состоит, эта бесправность. Но если даётся как наказание, то, значит, радости от неё ожидать не приходится. Итого, значит, девять лет! Девять! Когда Вова вернётся, мне уже будет тридцать, а он уже четвёртый десяток разменяет! Жуть! Но самое страшное — каторга. Всё, что я знал о ней, было взято у Достоевского. Всё по "Мёртвому дому", хотя Достоевский описывал события вековой давности! Немыслимо, чтобы в наше, да ещё в советское время всё было так, как под гнётом царским в Российской империи!

Стыдно вспомнить, каким кретином я был. Одно только утешение, что не один я. И совсем уже непонятно, как такие мысли возникали здесь, где нас травили собаками, обругивали и издевались с самой гнусной изощрённостью. Неужели трудно было сообразить, что уж если с нами так, не с обвиняемыми, не с осуждёнными, не с заключёнными, то как же с теми?! С теми, которые уже вне закона и на всю жизнь обречены врагами народа называться?! Ведь они просто физически в их руках, в отличие от нас. Как можно верить в доброту этих рук?

Но ведь верили! Как часто слышал я рядом сдавленный шёпот: "Если бы Сталин знал! Вот бы добраться к Иосифу Виссарионовичу!" Может быть, и не все верили. Но что в беде повинен он Сам, не верил никто. Тут у меня сомнения нет.

Полвека осталось позади, взросло уже несколько поколений, которых эти вопросы не задевают и не волнуют. Конечно, у них тоже возникают вопросы, но другие, совсем другие. А меня терзают, гнетут те, старые. Как могло это быть?!

Ведь было уже "кровавое воскресенье".

Казалось, навсегда развеяна сказка о добром царе и злых его прислужниках. И вот снова это безумие владеет умами. ОН ничего не знает. От НЕГО скрывают. ОН бы не допустил.

Забегу вперёд. Далеко вперёд. Именно здесь место этому рассказу. Здесь он будет в самый раз.

Я это слышал сам. Собственными ушами. И видел тоже. И слышал и видел, а потому забыть уже не смогу. Никогда. Если есть ещё кто-нибудь из тех, что были тогда со мной, то и они не забыли. Такое не забывается.

О себе скажу, что после того дня поглупел я не менее, чем на один порядок.

Я видел человека. Большого человека, хоть и в прошлом. На вороте его изодранной, вымазанной кровью гимнастёрки петлицы сохранили по два пятна. Недавно, быть может, ещё вчера, на этих местах были ромбы.

Я видел его после допроса. После первого. Но после этого первого допроса добраться до камеры сам он уже не смог. Его принесли надзиратели и бросили у порога. Мы, как могли, старались привести его в чувство. Тормошили, поливали водой, хлопали по щекам. Долго поливали, долго хлопали. Думали, что уже зря. Но он, когда мы уж и надеяться перестали, вдруг открыл глаза. Мутные, стеклянно-неподвижные и, как мне показалось, лишённые зрачков. Жутко гримасничая, повернул он голову направо, лежал с минуту и, так же страдальчески морщась, повернул налево. При этом он сосредоточенно рассматривал нас, как бы оценивая.

— Братцы, — прошептал он, с великим напряжением приподняв голову. — Скажите, братцы, честно, Сталин жив?

— Жив, жив! — разом выкрикнули мы.

— Не обманываете? Точно жив?

— Точно! Жив! — снова подтвердили мы.

Он откинул голову и закрыл глаза. Тело его обессиленно вытянулось. Он расслабился, сделал глубокий вздох и с облегчением, шумно выпустил воздух.

— Раз жив, тогда пусть, — прохрипел он. — Потерплю. Разберутся. Был бы жив Иосиф Виссарионович. Потерплю.

Вот так. Он был большим человеком, и с большим умом. Мы побыли с ним вместе до того чёрного дня августа, когда в помещении тюрьмы заседала Военная Коллегия. К концу месяца она закончила свою работу. Плодотворную, надо сказать. Из ста восьми человек осталось нас в камере семнадцать. Того, что с ромбами, среди этих семнадцати не было.

Печальное приволье наше длилось недолго. Пополнение не заставило себя ждать. Но не о нём речь. О царе-батюшке разговор и о безумии человеческом.

Три десятилетия минуло после воскресенья кровавого, когда шёл народ, чтобы глаза открыть царю на страдания людские. Что из этого вышло, написано во всех учебниках. Но ведь не зря тогда кровь пролилась! Царю глаз не открыли, но сам-то народ прозрел! Да и как прозрел! За оружие взялся!

И вот на тебе: "Если жив, то потерплю. Разберутся".

Стыдно, до чего стыдно вспоминать наши камерные разговоры! Словно и не было никакого кровавого воскресенья. Сотни, тысячи таких воскресений, если по количеству крови считать, получил народ в те годы! И что же?

— Неужели Сталин знает, что здесь творится? Может ли он знать и не вмешиваться, не навести порядка? — спрашивает кто-нибудь из заключённых.

Ах, какое возмущение, какое негодование пробуждает этот еретический вопрос! Какие суровые, просто-таки опасные лица, гневно сверлят глазами крамольника!

— Да вы что, с ума сошли? Соображаете, что говорите? Да если бы Иосиф Виссарионович знал, тут бы пух и перья летели! Всю эту свору в двадцать четыре часа к стенке!

И не зелёные простачки... верили в химеры седовласые ветераны, цвет советского общества, элита!

Всего три десятилетия, и круг замкнулся. Сколько ещё надо пролить крови, чтобы вытравить, выжечь эту страшную, гибельную заразу?

* * *

Ну и видик у них был, когда они ко мне бежали! Особенно когда через пути перебирались.

— Где эшелон? Где Вова? — задыхаясь и обтираясь платками, набросились они на меня. — Идём скорее! — дёрнула меня за рукав Римма.

А я молчал. Что мог я им сказать? Так уж получилось. Плохо получилось. Но моей в том вины нет, хоть от этого никому и не легче. Ни им, ни мне. Теперь я у них в долгу. Навечно в долгу. Я его видел. Мне выпало это горькое счастье. И я ни у кого ничего не отнял. Но выпало мне. Лучше бы наоборот. Но вышло так, и теперь уже ничего не изменить.

Но день тот поистине был днём чудес. Толпа вдруг загудела, сорвалась, как стая спугнутых воробьёв, и метнулась по дороге, вслед за недавно ушедшим составом. Мы даже не спросили, куда и зачем. Все побежали, и мы — туда же. Раз бегут, значит, надо бежать.

Нелёгким был наш бросок. Я-то ничего, но мать! Да и Римма не намного лучше. Одежду, какую можно, с себя срывали. А пота! Волосы и те взмокли. Совсем обе задохлись. Изо всех сил неслись. И всё же мы порядочно отстали. Далеко вперёд рванул народ. Пришлось ещё поднажать. На-

конец мы поравнялись с главными силами людского потока. А он уже разливался по пустырю, густо поросшему канареечными цветочками сурепки. Теперь понятно, зачем бежали. Я сразу же узнал наш эшелон. А толпа уже взяла его в кольцо, словно крепость перед штурмом. И будто не уходил состав. Утраченные позиции были тотчас восстановлены. Все нашли свои прежние места, и переключка возобновилась.

Я тоже отыскал знакомое окошко, и мы включились в неё тремя голосами. Какая удача! Какое счастье! Как чертовски нам повезло! Мы стояли на насыпи, почти у самых путей. До окошка — рукой подать! Вокруг — ни души! Мордатого тоже нет. Ушла его Рая. Не дождалась, бедная. Никаких помех! А Вовка — в окне. Его пальцы крепко охватывают прутья. Хорошо закрепился, прочно. Он в полном нашем распоряжении.

Брат смотрит на нас, улыбается и молчит. И мы смотрим на него и тоже молчим. Не о чем говорить. О чём говорят люди, встречаясь после долгой разлуки? О чём спрашивают друг друга? О делах? Нет у нас дел, кроме одного, а если есть и другие, то кому они сейчас нужны? Кого интересуют? О здоровье? Раз все здесь, и стоят на ногах, значит, здоровы. Не жаловаться же мне на боль в животе или матери на отёк в ногах и плохой сон?! Боже мой, ну о чём говорить?

Мать пытается задавать какие-то вопросы, но сразу же замолкает. Не нужны эти вопросы. Ни Вове, ни ей самой. И тут я спохватываюсь. И как не пришло это мне в голову сразу? Римма! Есть у Вовки что сказать ей! Есть о чём поговорить! Как могли мы такого дурака свалить?

Я беру мать за руку и тихонько веду её в сторону. Она сопротивляется, но я крепко сжимаю её плечо.

— Пойдём, пойдём, — шепчу я ей. — Им это важнее. Пойми! — Мы отходим на приличное расстояние, но я всё равно слышу их голоса. Высокий, вибрирующий, на грани плача, Риммин, и, твёрдый, упругий, голос брата.

— Вовочка, родной мой, я буду ждать тебя, буду ждать! Я приеду к тебе!

— Не жди, милая, это бессмысленно! Поверь, не жди, устраивай свою жизнь! Вы там ничего не знаете! Ждать бесполезно.

— Не говори так! Я буду ждать! Знай, я буду ждать всю жизнь!

— Вы ничего не знаете! Не жди, прошу тебя, не жди. Будь счастлива! Поверь мне, я лучше знаю, не жди!

Она ждала. Не всю жизнь. Любила — всю. И любит по сей день, храня светлую память о нём. Не просто хранит. Болезненно лелеет — целиком посвятила себя этой мёртворождённой любви.

Через много лет осчастливила инвалида. Безногого. Жалеючи, не из любви. Она никогда со мной не говорила об этом браке, хотя мы были все годы очень близки. А я, конечно, не лез с расспросами. Да и узнал всё со стороны.

Свою нерастраченную любовь, всю теплоту и нежность перенесла она на мою мать. До самой её смерти.

Горестными были и все последующие годы несчастливой её жизни. Едва шагнув за двадцать, простудившись, от воспаления лёгких умерла её дочь. Единственное дитя. И снова наступило одиночество. Даже внука — всё, что у неё осталось, — забрал к себе отец.

Теперь, кроме забот о могиле дочери, нет у неё ничего. Всё, что любила она, похоронено. Одни воспоминания живы. Да и те мрачны и холодны, как могильные камни.

* * *

Полгода не знали мы о Вовке ничего. Потом пришло письмо. Обидно и непонятно, но содержания его я не помню. Были в нём какие-то бодрые слова и просьба прислать лук, чеснок и сало. Выяснилось и место его пребывания. Адрес, исключая номер, я помню точно. Да и запоминать особенно было нечего. Всего-то три слова: Магадан. Прииск "Туманный". Край земли. И название прииска не из весёлых.

Мы послали посылку. Потом письмо и, вслед ему, ещё посылку. Ответа не было. Без ответов осталось и ещё несколько писем. Мы посылали их одно за другим, с небольшими интервалами. Всё то же.

Прошёл год, а мы всё ещё ждали. Писали письма и ждали. Потом взялись за старое. Снова полетели послания в высокие инстанции, управления, наркоматы. Писали мы в Верховный Совет, председателю и, отдельно, его членам. И, конечно, писали на в ы с о ч а й ш е е имя. Случалось, получали ответы. Высокие инстанции указывали, что обращаться следует в менее высокие. Менее высокие переправляли наши запросы в ещё менее высокие, о чём ставили нас в известность. А наименее высокие, низкие, попросту гово-

ря, или вовсе не отвечали, или откровенно признавались, что нужными сведениями не располагают. Но мы не унимались. Не могли. Нужно было *что-то* делать! Не могли же мы просто ждать, сложа руки! И, как рыболов, не поймавший за целый день даже поганого пескаря, твёрдо верит, что вот-вот клюнет самая выдающаяся в его биографии рыба, так и мы. Садимся за очередное послание и верим: оно-то и принесёт желанный ответ!

Он пришёл, ответ. Не желанный. И не наш запрос. И не скоро. И не ответ. Тут уж я снова пренебрегаю хронологией. О событиях, случившихся за это время, — позже.

Так вот. Не ответ пришёл, а повестка на моё имя. В то время жил я уже один. Лишились мы родного нашего дома, а родители и — родного города. Об этом тоже потом.

Итак, повестка. Обыкновенная казённая бумажка. Мне предлагалось явиться в один из отделов НКВД, в комнату восьмую, если не ошибаюсь. Кому там я мог понадобиться в восьмой комнате? Какие могут ещё быть у меня дела с этим учреждением? Вроде бы мы полностью с ним рассчитались! Я своё к этому времени уже получил. Внёс свою лепту и брат мой — трудился на благо любимой родины, добывая что-то из недр магаданской земли. Чего же ещё им надо?

Разыскал я восьмую комнату, потоптался у двери, постукал для приличия и переступил порог, не дожидаясь приглашения. От прежнего трепета перед ними я уже освободился. Попривык.

За столом, спиной к окну, сидел человек в гражданской одежде. Очень он напоминал мне кузнечика своей приплюснутой головой, широким, толстым носом и выпуклыми неподвижными глазами, которыми тарасился на меня с нескрываемой досадой. Чем-то я ему помешал.

Я молча протянул повестку. Он не сделал ни малейшей попытки взять её, и мне пришлось, сунув бумажку ему под нос, держать так, пока он читал. С минуту он изображал сосредоточенность и перекладывал какие-то бумаги. Наконец извлёк из ящика потрёпанную бухгалтерскую книгу и упёрся в меня своими кузнечиковыми глазами.

— Генин Лев Ильич кем вам приходится? — рявкнул он.

— Брат он мне, родной брат, — ответил я, осознавая, что вопрос — не к добру.

— Ага, брат, значит? Тогда распишитесь! — Он повернул книгу, подвинул ко мне и ткнул пальцем в край страницы. — Вот здесь!

— В чём расписаться? — тихо спросил я, холодея, потому что понял уже всё сам.

— Распишитесь, тогда узнаете!

Я сделал росчерк и — получил бумажку, такую же, как моя повестка.

"Генин Лев Ильич скончался от паралича сердца", — прочёл я. Там ещё стояла дата, указано место. Стояли подписи и печать. Но я видел только слова — "от паралича сердца".

Вовка? От паралича сердца?

— Как — "от паралича сердца"? Какое сердце? Он же был здоров! Ему же только двадцать три года! — взорвался я криком. — Его убили! При чём тут "паралич"? — орал я. — Убийцы, палачи! Его убили! Я теперь знаю, как это у вас делается!

То, что со мной происходило, было безумием, опасным и самоубийственным. Но я не владел собой и не мог думать о последствиях. И если бы мог, то ничего бы не изменилось, я вёл бы себя точно так же. Крик рвался уже не только из горла. Всё кричало и билось во мне, всё напряглось до предела.

— Вовка, Вовка, брат мой! Нет тебя больше! Нет моего Вовки! Как же без тебя? Как теперь жить?

— Возьмите себя в руки! Больше выдержки! Будьте мужчиной!

Его слова отрезвили меня. Не затасканный, банальный их смысл, конечно. Что-то неожиданно почудилось мне, какие-то проскользнули в них человеческие нотки. Я встретил его взгляд, но сочувствия в нём не увидел. Больше мы не сказали ни слова. Ни я, ни он. Я повернулся и пошёл к двери.

Дома — я жил тогда у Малиновских — меня встретила Александра Павловна. Она ни о чём меня не спросила, а я молчал. Мне ничего не нужно было говорить. Так же молча она взяла мою руку и повела к себе. Достав из буфета бутылку и чайный стакан, она налила его до краёв. Я опорожнил его, не переводя дыхания, а Александра Павловна тоскливым взглядом смотрела куда-то мимо меня и приговаривала:

— Пей, милый, пей, тебе надо сейчас, пей, мой хороший!

Сколько событий, крупных и мелких, пустяжных и значительных рассеяла моя память! А вот этот стакан водки и

голос её, когда она шептала "Пей, пей, милый", не рассеяла. Не забуду их никогда. И благодарность моя этой женщине тоже сохранится, как и память о ней. Её умная мужественная чуткость была доброй и мудрой.

Она умерла, Александра Павловна, не дождавшись никакого известия о своём Ване, даже такого, какое досталось мне.

ГЛАВА 7

ПЕРЕД БУРЕЙ БЕЗ ЗАТИШЬЯ

Огонь, если его не поддерживать, не питать, не раздувать, гаснет. Боль душевная, муки и страдания тоже так. Если их не растрavлять, не подогревать, тускнеют. Таков закон. Хороший закон. Правильный. Трудно даже вообразить, что бы без него с нами было! Это всё равно как если бы не происходило заживления тканей. Искалечился и всё. На всю жизнь рана. И кровь из неё хлестать будет до конца дней.

И моя боль, в соответствии с этим законом, утихала, теряла свою жгучесть. Тлела где-то в глубине души, но уже не жгла так. Кривая боли шла на убыль.

Казалось, всё оставалось по-прежнему. Я ходил в университет, встречался с девушками, товарищами, занимался боксом, читал Шопенгауэра и Ницше.

Немало времени и у Шурки в нашем "клубе" просиживал. Частенько, между прочим, за бутылкой. Этим делом у нас никто не брезговал. Ещё затеяли литературные вечера. Были у нас любители. Юрка стихи читал, и задумали они вместе с Шуркой повесть писать. Ну, а мы все в качестве критиков выступали. И, надо сказать, безжалостных.

Но зародилась и нарастала во мне другая кривая. Она поднималась и на убыль не шла. Напротив, всё круче ползла вверх, отравляя и обесценивая всё, чем была заполнена моя жизнь. Ни бороться с ней, ни отмахнуться от неё я не мог.

Всегда, с первых шагов наших, всё у нас с Вовкой было общим, всё делили пополам. Таким был закон, которому мы, не задумываясь и с радостью, подчинялись. Всё пополам! Мы вместе веселились и горевали, наслаждались и страдали. Мы делили пополам сладости, развлечения, наказания и наши маленькие детские печали. Всё делили! Поровну!

Теперь я был поставлен вне этого закона. Испытания, выпавшие на его долю, не подлежали разделению. Моё участие в его жизни было исключено. Не только половины, но даже самой малой доли их взять я не мог. И я чувствовал себя предателем. Пусть невольным, пусть безвинным, но предателем. Гнетущее желание принять на себя часть его мук, восстановить справедливость было неотвязно.

Подобное чувство мне довелось испытать и в первые годы войны. Великое бедствие обрушилось на страну, а я, с моим белым билетом, оказался в тылу. Вокруг, страдания нечеловеческие, а я — в стороне! Не участник. Наблюдатель! Нет в том моей вины! А совесть всё равно гложет. Так и горел на медленном огне, пока шинель не надел и шуп минёрский в руки не взял.

Вот и тогда, в те проклятые годы, когда только исчез Вовка из моей жизни, на том же огне горел. Хоть на стену лезь! *Там* хочу быть! Хочу, как он, как те, кто с ним! Всё разделить, всё испытать: и голод, и пытки, и труд непосильный, и тоску по дому родному! Как ему, так и мне! Без этого нет для меня ни радостей, ни самого маленького счастья, ни самой жизни. Ничего нет. Одно прозябание жалкое с тревожной совестью.

И ещё было одно. Такое, что и признаться стыдно. *Любопытство* было. Простое мальчишеское любопытство.

Я хотел знать, увидеть, убедиться, почувствовать. Своими глазами, собственным телом проникнуть в самую пасть чудовища, которому приносятся несчётные жертвы. Я ничего не страшился. Ничто не пугало меня. И вовсе не потому, что был я таким отчаянным храбрецом. Новичок на минном поле тоже ничего не боится. Щуп — на плечо и шагает, ещё и над "старичками", что глаз с земли не сводят, посмеивается. До времени. Потом, бывает, уже и смеяться некому.

Не был я храбрецом. Так уж устроен человек, что смерть на себя не примеряет. Смерть и иные напасти — для других. Не для него. И я так. Тем более, что молод был, здоров и полон сил. Вот и рвался туда.

О том, что творится в моей душе, никто, конечно, не знал и знать не мог. Ни с кем я не делился. Носил в себе.

Теперь меня уже никто не поймёт. Я молодые поколения имею в виду, которые о тех временах самые смутные понятия имеют. Но те, которые о них помнят, поймут верно. Не мог я ни с кем делиться. Даже и от Иры скрывал! Не потому, что предательства или осуждения боялся. Её жалел и

берёг. Ведь если скажу, то и она к семье врага народа причастной окажется. С неё тоже спросится в недобрый час. Вот и молчал. Встреч даже избегал под разными предложениями.

Между тем, всё, казалось, вокруг было спокойно. Но странным образом нарастало во мне предчувствие беды. Ничто её не предвещало. И оснований к тому не было. Но я ждал её. Ждал с каким-то мазохистским нетерпением. Ждал чего-то страшного и желанного одновременно. И таким уже стало это ожидание невыносимым, так истомило меня, что решил я однажды подчинить ход событий собственной воле.

Не знаю, как бы всё обернулось без моего участия. На этот вопрос ответа нет, да и быть не может. Обойдусь одними лишь фактами.

Когда моё терпение истощилось, а вернее будет сказать, просто кончилось, я перешёл к действию. Замысел был прост и безотказен, как топор. Старательно уродуя свой почерк, взяв для такого случая не обычные чернила, а чертёжную тушь, на листке нелинованной бумаги набросал я несколько анонимных строк.

"Считаю своим долгом сообщить следующее. Студент Генин Д. скрыл, что его брат являлся врагом народа и осуждён за контрреволюционную деятельность".

Долго думал я над подписью, но ничего путного не придумал. Так и отправил письмо на адрес парткома факультета. Без подписи.

Я полагаю теперь, что никакой роли моё послание не сыграло. И без него всё пошло бы тем же путём. Но тогда, опустив письмо в ящик, я испытал сладостное облегчение. Если прежде моё ожидание было поистине ожиданием погоды, то теперь я знал, чего жду. Я уподобился учёному, принявшему порцию патогенных микробов и с трепетом ожидавшему наступления первых симптомов болезни.

Я приходил в университет, прислушивался к разговорам, ловил взгляды, анализировал интонации и отношение ко мне товарищей. Безрезультатно! Никаких признаков! Инкубационный период оказался довольно долгим. А может быть, и микробы подкачали, не патогенными оказались.

Всё было правильно. И микробы ядовитые, и скрытый период — нормальный. Терпение только моё было коротким.

Ничего подозрительного в тот день я тоже не обнаружил. День как и всякий другой. Закончилась первая лекция, за ней вторая. Вторую, помню, читал наш молодой замдекана — Рановский Павел Сергеевич. Любопытный он был парень. Неуч, невежа, но ловкач и — с очень хорошей биографией. Выдвиженец. С увлечением рассказывал он при каждом удобном случае о том, как в юности свиней и гусей пас. И, хоть пас, а в учёные вышел, спасибо партии и власти советской. И как же мы над ним потешались! Даже вспоминать неловко.

Вот как раз после его лекции и уже в последний перерыв какой-то необычной, как мне показалось, шкодливой походкой подошла ко мне Тася — комсорг нашего факультета. Отвела она меня в сторонку, и уселись мы с ней на подоконнике. Они у нас такими были, что и улечься можно со всеми удобствами.

— Как ты поживаешь? — спрашивает после минутного и неловкого молчания, потому что вопрос — идиотский. Видимся каждый день и ещё сегодня о новом фильме болтали. — Что, — спрашивает — у тебя нового?

— Это с утра, что ли? — прикинулся я дурачком, потому что мне всё уже было ясно. Вот такой, значит, первый шаг. Ну что ж, я не против, нет у меня возражений ни против такого первого шага, ни против Таси.

Я заверил Тасю, что новостей, заслуживающих её внимания, у меня нет и поживаю я, как и все советские люди. Эти последние слова произнёс я со значением, не ускользнувшим от Таси. Она была умницей, наш комсорг.

К слову скажу, была она не только умницей. Красотой Тася не блистала, этого Бог ей не дал, но и обижена она им не была, дал он ей многое другое. Была Тася мастером на все студенческие руки. Первый человек во всех делах! Затеищица, говорунья, плясунья и по успехам учебным в первом ряду. Ей бы чуть мордашку подправить, всем бы девчонкам девчонкой была!

— Нет, говоришь, новостей, а что у тебя в семье? — тоном своим прокурорским она развязала мне руки.

— Ага, вот ты о чём! Брата имеешь в виду? Дошло уже до вас? Ну если знаете, то мне добавить нечего, — говорю. — Арестован брат и сослан. Уверен, что он никакой не враг народа. Будем добиваться пересмотра дела.

— Темнишь! — строго сказала Тася. — Брат твой — враг! Что тебе такое известно, чтобы возражать? На твоём

месте я не стала бы делать подобные заявления. — Она всё это проговорила с угрозой и непонятным озлоблением. Мы были добрыми друзьями до этой минуты. Чёрт знает, что с ней происходит! — Невинных не сажают, — продолжала Тася. — Тебя же не посадили! И меня тоже!

Она была искренна в своём гневе, и я не осуждал её. Грешным делом, думал я так же. Говорить, как она, не стал бы, не по политическим соображениям. По гуманным. Но тут уже дело в характере. А думал я тоже так, как она. Как в с е. Я — как все. Даже пройдя школу у тюрьмы, у Присутственных мест и на "Товарке", потёршись среди несчастных у подъездов и в приёмных я, в общем, изменился мало.

Конечно же, Вовка не враг народа! А что я знаю о других? Даже об Иване Францевиче, Алёшином отце и муже Александры Павловны? Старый инженер, человек дореволюционной выучки, поляк, что у него на уме? Кто может за него поручиться? А за других, чьи жёны мыкались с нами рядом? Что знаю я об их мужьях? Ничего я не знаю. Конечно, можно сомневаться хотя бы уже потому, что слишком их много, врагов, но только сомневаться. Я и сомневался, а уверенности не было.

— Ладно, — соскочив с подоконника, сказала Тася. — Обсудим на собрании.

Поскольку в славном комсомоле ленинском я не состоял, дело моё разбиралось на профсоюзном собрании. Запомнился мне на нём лишь один Тасин голос. Выступали и другие. Но запомнился он один. Напряжённый и оглушительно-звонкий, как голос командующего военным парадом на Красной площади.

Тася говорила о потере мною бдительности. Проглядеть вражескую деятельность родного брата! Не пресечь её! Мало того, выразить недоверие органам! Усомниться в виновности брата и справедливости приговора! Она призывала собрание строго осудить меня, требовала изгнания из наших сплочённых рядов.

К чести моих товарищей замечу. Желаящих выступить с осуждением не нашлось, несмотря на самые настойчивые призывы. Проголосовать все готовы. Но встать и публично "заклеймить" — так было принято эту подлость называть — нет, таких не оказалось.

Одну лишь бедняжку Иру мою удалось поднять. Ей деваться было некуда. Дружба наша у всех на виду. Выступила она. Жаль мне её было до слёз. Но Ира, вопреки моим ожи-

даниям, не растерялась. С поразительным спокойствием заявила она собранию, что никакой особой дружбы с братом врага народа у неё не было. Что был он приглашён родителями для подготовки к экзамену, а потом и помощи в учёбе, поскольку она пропустила первый семестр. За всё это было ему заплачено.

Никаких возражений рассказ её не встретил, хотя могли бы они быть. Не детишки перед ней сидели. Всё понимали. Но, спасибо им, промолчали.

Собрание голосует. Двести человек моих товарищей и друзей единогласно решают исключить меня из профсоюза. Е д и н о г л а с н о! По крайней мере, на вопрос "кто против?" не откликнулся ни один.

Что ими руководит? Неужели *все* считают, что делают доброе дело? Верят, что выступают за справедливость? По совести осуждают за потерю бдительности? А будь мой брат даже врагом, считают ли они, что я должен был донести на него? Может ли быть, чтобы каждый голосовавший был готов поступить так?

А может быть, они просто боятся? Все двести! Чего боятся, ведь они на себе ещё ничего не испытали! Все они, быть может, за малым исключением, убеждены: сажают только врагов народа. Вот и Тася: — "Меня же не посадили!" Чего же они боятся? Не считают же они себя врагами?

Что же происходит? Что за явление такое? Врождённая трусость, генетически обусловленная низость, пороки воспитания?

Нет, я не могу ответить на все эти вопросы.

Всегда, с самых ранних лет, я верил, верю и буду верить, что главное в человеке — доброе начало. Без этого убеждения нельзя жить — страшно.

Итак, после собрания я перестал быть членом Профсоюза. Честно говоря, чихал я на такой союз. И членство мне нужно не более чем, к примеру, лягушке одеколон. Но самый факт на так уж безобиден. Я отлучён, изгнан. Первый шаг к изоляции сделан. Теперь их — двести, а я один. Не с ними. Сам по себе. Сейчас мы разойдёмся. Они — группками, парами. По домам, по столовым, а то и в кино. А я пойду один. Нет для меня ни группки, ни пары. Я не против них и уверен: они тоже ко мне ничего не имеют. Но как будет завтра? И потом? И ещё потом?

Никакого "потом" не было. Как проходит всё, так и это — прошло. Всё, решительно всё осталось по-прежнему.

Только на профсобрания я теперь не ходил. Без меня уже, балдея от скуки, обсуждали мои товарищи вопросы успеваемости, дисциплины и так называемой стенной печати.

Должен сказать, что отлучение дало мне известное преимущество. Будучи "лишенцем", я испытывал неизведанное чувство свободы. Это была своего рода компенсация за причинённый ущерб. Теперь я на вполне законных основаниях мог ничего не посещать, ни в чём не участвовать и не нести никаких так называемых нагрузок. Я думаю, что все в душе мне здорово завидовали. Вообще-то права участвовать во всех делах у меня никто не отнимал. Но и привлекать, приглашать и нагружать никто не решался.

Надо признаться, ущерб, понесённый мною, был не слишком велик. Особо близких друзей у меня в университете не было. Мои мальчишки избрали иной путь, все, как один, пошли в строители. Один я был отщепенцем — гуманитарием среди технарей. Но тут я "лишенцем" не стал. Напротив. С самыми близкими — с Шуркой, Юрой, Алёшей ещё теснее дружба стала. Всем с ними делился. И такие мы разговоры вели, что даже подумать страшно. Уж если Вове шесть лет за одного Фейхтвангера дали, то нам "вышка" полагалась бы по всем законам. Мы, конечно, не одно Вовкино дело обсуждали. Наслушался я в моих скитаниях по соответствующим учреждениям и железнодорожным тупикам и о других. О процессах Бухаринско-Зиновьевских, естественно, речь шла. О конституции, и о выборах так называемых, и обо всём прочем. Не говоря уж об анекдотах, которые со смаком рассказывали!

В общем, было мне с кем горе и заботы свои делить.

Всё шло своим порядком. Кончился семестр, завершилась зачётная пора, наступила сессия. К моему удивлению, экзамены я сдал легко и вполне пристойно. Не хуже многих членов профсоюза. Погода стояла великолепная. Резвились зяблики и распевали в Ботаническом саду соловьи. Приближались военные лагерные сборы. Кого-то они, может быть, и беспокоили, только не меня. Напротив. Побывав в лагерях на первом курсе, я убедился, что дело это вполне достойно настоящего мужчины, каковым, естественно, я себя считал. Всё там шло у меня как следует. И походы, и броски, и стрельба. Начальство относилось ко мне благожелательно и с уважением, а командир батальона, майор Крупянский, явно благоволил ко мне. Этот весёлый, постоянно улыбавшийся и остроумный человек, с изуродованной в Граждан-

скую челюстью, командовал студенческим войском в последний раз. Следующий год, тридцать восьмой, стал последним в его служебной карьере. И в жизни тоже последним. Но именно ему выпало отлучить меня вторым и куда более огорчительным отлучением. Тут речь шла уже не о профсоюзе. Дело было посерьёзнее.

Вместе с курсом, мужской, конечно, его частью явился я к месту сбора. Скомандовали нам "Стройсь!", и мы встали в затылок. Скомандовали "Направо!", и строй повернулся лицом к начальству.

Майор Крупянский прошёлся вдоль шеренги, постёгивая ивовым прутиком зеркально надраенный сапог. Сапоги у него всегда зайчиков пускали. Даже когда кругом грязища. Не знаю, как уж он ухитрялся. Идёт он мимо нас и всё на меня посматривает. Раз даже против остановился. На одну секунду. Меньше, на полсекунды. На миг. Но я успел уловить в его взгляде смущение. Он как бы споткнулся об меня своим взглядом.

Майор прошёл мимо. Он проделал это уже дважды и не издал ни звука. Что-то с ним не так. Молчать перед строем? Это было не в его привычках. Он вообще долго не умел молчать, а с нами, студентами, особенно.

Наконец он перестал метаться и занял удобную позицию, поставив ногу на ящик из-под пива. И откуда только этот ящик тут взялся? Не иначе, как кто-то притащил его, чтобы угодить майору.

Убедившись в устойчивости постаменты, комбат повёл свою речь. Ничего примечательного он не сказал. Рассказал о наших задачах, поскольку мы уже не рядовые, а носим по паре треугольничков в петлицах, о наших новых обязанностях и правах, о предстоящем присвоении нового звания и о многом другом. Несколько раз острил и один раз даже весьма удачно. Отбросив не нужный теперь ящик, скомандовал: "Вольно!" Стали мы расходиться, но майор подозвал меня и, взяв за локоть, нежно, как берут женщину, отвёл в сторону.

— Вы освобождены от сборов, Генин, можете отдыхать. Вот бы мне так! — фальшиво-бодрым тоном сказал он и хлопал меня по плечу. — Целое лето гуляй — не хочу!

— Это почему так, товарищ майор? — спросил я, и голос мой, помимо воли, дал сбой. — Кто дал такое распоряжение?

Майор молчал, поливая меня немигающим, грустным, как у больного пса, светом своих шоколадных глаз. Я от-

вечал ему таким же устойчивым взглядом. Обмен взглядами принял тягостно-затяжной характер.

— Вас понял, товарищ майор, — щёлкнул я каблуком и вытянулся в стойке "смирно". Он любил эти штучки.

Я действительно понял. Болезнь нарастала. Налицо второй симптом. Он не чета первому. Симптом — грозный, и я ощутил холодный пот на лбу.

— Я могу идти, товарищ майор?

— Да, да, вы свободны. Желаю успеха! — Майор протянул мне руку.

В те годы популярен был анекдот.

— Рабинович, вы слышали, посадили Хаймовича!

— Господь с вами! Что вы такое говорите? Вот же он идёт!

— Цть, цть, он ещё не знает!

Я тоже ещё не знал. Пока не знал.

ГЛАВА 8

НАКОНЕЦ-ТО!

Каким чудесным был тот июньский вечер! Как хорошо он начался! До чего привольно и уютно было в Юркиной комнате! Никаких там родителей и прочих посторонних, которые, даже если их не видишь, удесятят силу земного притяжения.

Юрка Максимов был первым женатым человеком среди нас. По-настоящему женатым. Не нахлебником у папы с мамой, а совершенно независимым, с жилплощадью своей, собственной и изолированной. По тем временам жильё у Юрки было вполне на уровне. Что касается его жены Нины...

Есть мнение: жён, как и родителей, не выбирают. Конечно, не всегда так получается. Во всяком случае, в Юркином браке, похоже, избирающей стороной была Нина. И, надо отдать ей справедливость, она не промахнулась. Всем хорош был Юрка. Красавец, спортсмен, поэт, эрудит, архитектор божьей милостью, хоть и курса ещё не закончил. Что говорить! Личность!

Из всего, чем блистал Юрка, Нина могла тягаться с ним лишь по двум статьям. Прежде всего по, так сказать, экстерьеру. Такого же была она арийского типа, высокая, длинноногая и — безупречная блондинка. Глаза как барвиночки

над высокими скулами. Волосы — точно такого цвета, как батон высшего сорта, что по двадцать две копейки штука. Они ещё как-то росли ловко — назад рвались даже без всякого ветра. Я, будь художником, амазонку с неё писал бы или Брунгильду. Так что по первой статье можно было им поровну очки засчитать. Один — один. И по второй так. Спортсменкой была она не хуже Юрки, если по женским нормативам ей очки считать. И всё! По прочим достоинствам сравнивать их не буду. Нечего сравнивать! Но держать себя, по крайней мере на людях, Нина умела. Даже впечатление производила, при том что была простовата. Нет, невеждой она не была, но и шарма, который интеллектуальность даёт и каким-то образом печать кладёт на всё, включая голос, черты и мимику, была она лишена.

Беда в том, что мы все это видели, а Юрка не видел. По крайней мере, когда его в мужа выбирали. Долго не видел. А может быть, вид такой делал?

Но с некоторых пор делать его перестал. Последствия не замедлили сказаться. Жилплощадь была, а лада на ней не получилось. Мы и собрались в тот вечер, чтобы подпереть рушившееся здание. Миротворческой была цель, хотя нашей роли в этом благородном деле я придавал более чем скромное значение.

Все понимали, что деловая часть нашего сбора обещает мало приятного. Зато последующая должна возместить понесённые душевные издержки. Исходя из этого, мы и решили, что заявиться нам следует не с пустыми руками. Впрочем, если уж откровенно, то мы вообще никуда и ни к кому с пустыми руками не являлись. Такой уж была традиция. Никто ещё тогда не провозглашал трезвость лучшим образом жизни.

Прекрасный был вечер. Стол получился отличный. Водчонка шла, куда надо и как надо, так что вскоре мы были веселы и резвы, как школьники на пустом уроке.

Хорошо было. Да не всё. Главное, ради чего вроде всё затевалось, пошло кривь и вкось.

Начали как следует. Юру с Ниной усадили рядышком, за их здоровье пропустили одну-другую, а под третью и последующие пошли речи. Нину стали хвалить. Но хвалили как-то очень двусмысленно, больше на её женские достоинства напирая. Юрку расписывали на все лады. И тоже не так как-то. Убеждали Нину, что ей счастье великое выпало.

А потом уж совсем пошло никуда. Кто-то с пьяных глаз выразил уверенность, что пьём не в последний раз, что хозяйка, мол, не преминут ещё не раз нам такое удовольствие доставить.

Уверен, ничего обидного ляпнувший такое в виду не имел. Но слово, как известно, не вырубишь топором, хоть и неписаное. Слетело, и всё тут.

Нина зашипела и взорвалась, как плевок на горячей плите.

— Да, да, не сомневайтесь, — заголосила она. — Это Юра вам обеспечит! Вы его плохо знаете, я-то...

Кто-то из девочек зажал ей рот, и все девчонки окружили её, как сбитого машиной пешехода. А мы, мужики, не знали, что делать с рюмками, которые застряли в наших руках: выпить или подождать, поскольку с тостом не получилось.

Юрка вышел на балкон. Не то расстроился, не то перепил и захотел — на свежий воздух. А Нина уселась на кровать и приняла нарочито скорбную позу. Даже смотреть на неё было неловко. Но мне было её жаль, и я присел рядом. Что-то даже утешительное стал говорить ей.

Вокруг снова поднялся галдёж. Пили уже без тостов. Просто пили и всё. Пили и с девчонками обнимались. У нас всегда так. Выпьют, и сразу — целоваться. Правда, если не выпьют, то тоже так. Только если не выпьют, не все целуются, и не без разбора.

Я бы тоже со всеми... но совестно было Нину одну оставлять. Я и сидел.

Вдруг Нина — я-то думал, что она, кроме как вздыхать и пускать слезу, ни на что уже не способна — заговорила. И так спокойно, будто перед этим мы международные события или новые моды обсуждали.

— Вот вы мне закончить не дали. Оно и к лучшему. Но с тобой я хочу поговорить. Ты ближе всех к Юре, и любит он тебя. А как ты думаешь, друг он тебе?

— Станный вопрос, — удивился я. — Друг, конечно. И он мне, и я ему. Не первый день знакомы.

— То-то, что не первый! — с непонятым раздражением воскликнула Нина. — А как ты считаешь, если друг и вызывали его т у д а, должен он был тебе сказать?

— Юрку? Вызывали? А ты не того...? — вскочил я, вмиг протрезвев. — Он тебе сказал? Когда это было?

— И мне не сказал. Повестку я видела. Когда? — Она прищурилась и подняла глаза к потолку. — Сегодня что у нас? Семнадцатое? Значит, четырнадцатого. Точно. Во вторник. Чего молчишь? — Она дёрнула мою руку, потому что я никак не откликнулся на её слова. Мысли, одна страшнее другой, заметались в моей хмельной голове.

Я, конечно, верил Юрке. Всем ребятам своим верил. Но как там, куда вызывают, дело обернётся, предсказать трудно. Все мы были преданы делу партии нашей Ленинской, но это не мешало нам в узком кругу обсуждать больные вопросы. Бродила крамола в наших кругах. Очень модны были анекдоты — их сотни передавались из уст в уста — о пятилетке, Стаханове и членах правительства. И уже всерьёз обсуждались голод, процессы Зиновьевско-Бухаринские, конституция и выборы при одном кандидате. Обсуждая, мы спорили, но это никак не влияло на преданность нашу советскому строю.

Как только Нина сказала, что Юрку вызывали, сразу все наши разговоры вспомнились. ТАМ, конечно, на всё это могли посмотреть по-иному. Уже одно Вовкино дело многому нас научило. Так что после Нининого сообщения стало мне скучно. А если точнее, что греха таить, страшновато стало мне.

— Ты скажешь ему? Спросишь?

— Нет. Ничего спрашивать не стану.

Меня вдруг страшно потянуло домой. Голова стала ясной, и сразу всё вокруг стало мне отвратительно. Весь этот пьяный галдёж, дурацкий смех и шарканье ног — кое-кто ещё пытался танцевать.

Я распрощался с Ниной и потихоньку выскользнул за дверь.

Ничего у Юрки я тогда не спросил. А потом уже не пришлось. Остался вопрос вопросом. Без ответа. Неразгаданной загадкой. Не смог я её разгадать по сей день.

Через много лет, уже после войны, приезжал Юрка в Киев, но ко мне не зашёл. У всех побывал, две недели по городу шатался. А у меня не был. Вот такое дело. Почему не зашёл, не знаю. Ни сочинять, ни гадать не намерен. Не хотел, значит. Не счёл нужным или возможным.

И ещё раз встретились мы с Юркой — уже в годы восьмидесятые. "Юркой" он уже быть перестал. Рост у него был солидный, а теперь ещё и располнел, погрузнел. Что-то с

ногами у него неладно, и он с палкой ходит. Сходу его и не узнать. Смешно даже такую персону и Юркой называть.

Встретились хорошо, выпили, закусили, всё, как следует. Записки эти уже у меня в столе были, и я их ему прочесть дал, с замиранием сердца. Прочёл он, вскинул на меня глаза, по-прежнему голубые, чистые и просто, без всяких там чувств, спросил:

— Значит, меня подозревал? Зря. Совсем по другому делу я тогда вызван был. А что к тебе не заходил, моей вины нет. Я летом приезжал, а ты всегда где-то на рыбалке. В Белоруссии. Шурка говорил.

Вот так. И я не сомневаюсь. Кабы не Нина, никогда бы я плохо о Юрке не подумал. И верно: всякое зло от Евы пошло.

А ночь какая выдалась! Как звёзды играли в небесной черноте! Ветер как ласково волосы трепал! Редкостная была ночь семнадцатого июня! Впрочем, восемнадцатого, поскольку полночь уже далеко позади осталась.

Шёл я по дорожному моему Крешатику и даже о Юрке думать забыл. Очень я город наш любил. Домом родным тогда его ощущал.

Словно вор ночной, затаив дыхание, беззвучно открыл я замок. Сразу же, у порога, дверь ещё не прикрыв, сбросил туфли и прокрался в кухню. Прислушался — тишина! Терпеть не могу объяснений с матерью. Она меня всегда подкарауливала, когда я ночью возвращался.

На столе нашёл я стакан клубничного компота. Ах, мамочка, мамочка, какая ты у меня умничка! Какое это наслаждение — с похмелья компот! Одним духом выдул я весь стакан. Если бы знал, я бы каждый глоток сто раз языком перелопатил, каждую ягодку обсмаковал! Но не знал я ещё ничего. Не мог знать.

Вообще я сплю чутко. Кошка мяукнет, и я уже... будто не спал. Но если хлебнул стаканчик, другой... — всё! Хоть кровать из-под меня вышибай!

Так что трясли, думаю, меня целый час, пока я веки разлепил. Разлепил и первое, что перед собой увидел, — зелёную фуражку. Это бы ещё ничего. Не в первый раз вижу, хоть и не в такой отвратительной близости. Из-под фуражки упёрлись в меня два чёрных поблёскивающих глаза. А пониже — третий: тёмная дырочка пистолетного ствола.

— Встать и одеться! — скомандовала фуражка. Пистолет качнулся, указывая на мои вещи. Я их свалил кучей у постели.

Хвастаться я не люблю. Но скажу честно: люди ко мне всегда были доброжелательны. За редким исключением. Все. Продавцы, всякие операторы на почтах и телеграфах, попутчики в трамвае и прочие, с кем доводилось вступать в контакт. Я был симпатичным парнем. Обаяние было, как мне говорили. Я и привык, что на мою улыбку мне отвечали улыбкой. И по привычке я улыбнулся зелёной фуражке. Даже пистолет мне не помешал, дураку набитому!

— Выпил я вчера вечером, — говорю, улыбаясь. — Никак не соображу, что к чему. Надо же было таким идиотом быть!

— Не разговаривать! Встать! Одеться! — зарычала фуражка.

Я натянул брюки, носки, нашарил ногой туфли.

— Мне нужно в туалет, — сказал я с прежней, виноватой улыбкой.

— Подождёшь! — бросил человек в фуражке.

Теперь я наконец верно оценил своё положение. С улыбками я, конечно, "завязал". Здесь не до улыбок. Драка идёт. Драться с улыбкой умели только мушкетёры.

— Не могу я ждать, нужно в туалет! — прикрикнул я на него и направился к двери.

— Руки назад! — гаркнул страж и ткнул меня пистолетом под лопатку.

Мы пошли в туалет. Всё-таки это победа! Крошечная, но победа. Я зажёл свет и закрыл за собой дверь.

— Открыть! — Он рванул дверь на себя. Я не успел накинуть крючок.

— Не могу я так! Закройте! — попробовал я снова повысить голос и потянул дверь.

— Не разговаривать! Открыть! — Он стал в растворе, широко расставив ноги и помахивая пистолетом. Пришлось подчиниться.

Каким простачком был я тогда! Мне казалось, что этот жлоб в зелёной фуражке уничтожил меня, что большего насилия и унижения, чем то, которому он подверг меня, не существует.

Всё, как известно, познаётся в сравнении. Мне пока сравнивать было не с чем. Но, когда меня привели в столовую, я такую возможность получил.

Господи, какими милыми, душевными возникли в моей памяти старенький капитан Лобанов и его верный оруженосец Сенченко! Если бы они увидели, что здесь творится!

Наша любимая комната лежала передо мной в руинах, как Карфаген перед Сципионом. Большой шкаф был уже опустошён, и книги, раскрытые и растрёпанные, беспорядочной грудой высились у его подножия. Тут же, рядом, ещё одна груда — торф, сухие листья и песок. Весь этот мусор был украшен сверкавшими, игравшими всеми цветами спектра обломками крылышек бабочек и жуков. Торф, листья и песок заменяли мне пробку. В них я вкалывал булавки. Это всё, что осталось от моих коллекций, которые я собирал годами.

Занавеси, салфетки, гобелены были сняты, сброшены на пол и уже истоптаны сапогами чекистов.

Отца и мать рассадил по углам и к каждому приставили по зелёной фуражке. Понятые приютились у стены.

Ничего путного пока ещё не нашли, и вся банда была явно раздражена. Оставалось обшарить один, последний книжный шкаф. На него набросились с остервенением. На пол полетели мои любимцы: нивские Гейне, Андреев, Сабашниковские "Памятники" и жемчужины моего собрания — Гомер в разных переводах и изданиях. Лучше бы они меня истязали, негодяи!

И вдруг фуражки оставили своё гнусное занятие и собрались кучей, составив зелёный букет. Они что-то сосредоточенно рассматривали, и я уловил их многозначительные перемигивания и торжествующие взгляды. Я даже не сразу понял, что их так воодушевило. На этом месте я вынужден прервать рассказ и дать существенное разъяснение.

У чекистов были основания для торжества. Вся нижняя полка шкафа была уставлена заграничными прейскурантами, каталогами и моей перепиской с иностранными фирмами. Полагаю, что клясться в моей непричастности к шпионажу или иной противозаконной деятельности, необходимости нет. Клясться — нет, а объяснить — должен.

Так вот. Было у нас, студентов техникума, где я учился до университета, повальное увлечение. Хобби, на современном языке. Кого осенило, кто придумал и сделал первый шаг, не знаю. Но однажды кто-то попросил меня составить на немецком языке письмо: я, мол, будучи инженером, хотел бы подробно ознакомиться с продукцией вашей фирмы.

Прошу выслать каталоги, прейскуранты и другие имеющиеся у вас печатные материалы по адресу и т.д.

Я такое письмо написал. И для просившего и, конечно, для себя. Не мог же я предвидеть последствий!

Одним письмом, понятно, дело не ограничилось. На снимках машин, помещённых в учебниках, всегда можно было рассмотреть название и адрес фирмы. Учебников хватало, и адресов я повыписывал на весь техникум, и ещё больше! И полетели письма!

Почта в то время была не чета нынешней. Меньше недели теперь и срока нет, хоть сам себе письмо пошлешь. А тогда и оглянуться не успел... золотым дождём посыпались на меня толстые бандероли, пакеты, письма в фирменных конвертах, и всё такое цветастое, изящное! А бумага! А фотографии!

Я уже и писать перестал, а почтальон всё носит и носит. Целую полку этим добром заполнил и уже на вторую перелез!

И вот, вокруг этой полки вьётся зелёный хоровод. Нашли-таки! Поймали с поличным!

Мог ли я думать тогда, что вся эта макулатура ляжет в основу тяжкого обвинения?

Ничего я тогда ещё в этих делах не понимал. Одним лишь могу утешаться, что, если бы понимал, ничего бы от этого не изменилось. Повлиять на ход событий я бы не смог, будучи даже мудр, как Сократ и Соломон вместе взятые.

Всё содержимое полки было уложено в мешок, и азарт, с которым вёлся обыск, стал затухать, как костёр, на который плеснули водой. Налёт завершился вполне успешно — преступник изобличён.

Чекист с тремя квадратиками в петлицах скомандовал отступление. Нам не дали ни собрать вещи, ни попрощаться. Я успел лишь прихватить вафельное полотенце, на которое наткнулся по дороге.

Так, ощущая ствол пистолета, я проследовал по коридору, спустился с лестницы и был усажен в эмку.

Слева и справа, тесно сжав меня, и тоже с пистолетами в руках, уселись стражи.

Умом я, конечно, понимал своё положение. Понимал, что в моей жизни произошёл крутой перелом, что назад уже хода нет. Всё понимал, но не более того. Понимал, но не *осознавал*. Здорово моё сознание отставало от бытия. С ним, с бытием, всё было ясно, как Божий день. Пистолет справа,

пистолет слева. Чего уж яснее! Но в сознании моём существенных изменений не произошло. Внутренне я ещё чувствовал себя свободным, видел себя *личностью* и личностью независимой. И мысли мои были такими же свободными и отсталыми. Мне бы следовало положение своё обдумать, линию поведения наметить, спасти, что ещё можно было спасти. А в голове одна лишь чепуха. День вчерашний вспоминал, разговор с Ниной, мучился, что книгу чужую вернуть не смогу, а другую не успел дочитать. Хорошую, между прочим, книгу: Гуиу "Чёрная кровь".

И, конечно же, Иру вспоминал. Отношения наши стали прохладными после её выступления, хотя я ни в чём её не виню. Иного выхода у неё не было. Все в то время так поступали. Прекрасно я это понимал, но какая-то заноза в сердце всё-таки застряла.

Забегая вперёд, скажу, что окончательный разрыв у нас произошёл тогда, когда я на волю вышел. Не могла моя мать простить ей, что ни разу не зашла Ира к ней после моего ареста. Ну и мне это показалось слишком уж обидным. Ведь была в доме нашем на правах невесты.

Много всякой ерунды вертелось у меня в голове. "Вольной" ерунды. Никак не мог я ещё перестроиться.

Машина, между тем, свернула на Екатерининскую, долго тряслась на разворотах, сдавала назад, двигалась вперёд и, наконец, утомилась.

Сцепив за спиной руки — так было приказано — поднялся я по лестнице, толстенной, зыбкой, как стерня, дорожкой высланной, и очутился в обширной приёмной. В каждом из её углов — письменный стол, а за столами, словно пауки, подстерегающие добычу, — энкаведешники в штатском.

Конвоир подвёл меня к одному из них, щёлкнул каблуками, положил на стол какую-то папку и исчез. Вполне корректно, я бы даже сказал, любезно мне был предложен стул. Я сел и стал отвечать на скучные и привычные для каждого советского человека вопросы. Фамилию, имя, отчество назвал, год и место... Ну известное дело. Скукота!

Энкаведешник всё записал. Неторопливо, спокойно, не нервничая, как бывает в иных учреждениях. В общем, разрыв между сознанием и бытием был устранён. Полное единство и гармония.

Покончив с этим делом, он замкнул книгу в ящике, дважды повернул ключ и вызвал конвой.

Ну и ну! Вот это конвой! Я бы такого ни придумать, ни вообразить бы не смог. Хоть сто лет бы думал и воображал! Я ждал такого бравого сержанта или даже старшину, пожирающего глазами начальство. Так и слышалось мне: "Есть! Так точно!" и щёлканье каблуков. Так вот. Ничего похожего! Никаких "есть" и "так точно". Не торопясь, в развалочку, подошёл парень, с таким видом, какой бывает у мужика, примеряющегося гакнуть топором неподатливое, суковатое полено. Вообще заметный парень. Шея, как у бизона, только что не мохнатая. Морда — во! Ручищи, что, извините, бёдра у какой-нибудь матери-героини. Да, такой не тянется, не щёлкает каблуками. Лихость, по всему видать, у него иного сорта. А каблуками щёлкать не смог бы, даже если бы захотел, и это больше всего меня удивило. Не было у него каблуков! И обуви не было. Ноги, почти до колен, были одеты в толстые шерстяные носки. Такие вяжут из грубой шерсти деревенские бабы. А вообще был он одет подомашнему. Без фуражки и ремня. И выглядел так, вроде только что слез с печи, прервав сладкий сон по нужде.

Всё это я успел рассмотреть в первые минуты, пока ещё сидел. Больше я его уже не видел. Он шёл за моей спиной и лениво, негромко командовал: "Направо! Налево! Вперёд! Не оборачиваться!" Так прошли мы длинный коридор и стали спускаться по лестнице.

В подвальном коридоре команды не подавались. Стояла удушливая, пещерная тишина. Вместо команд раздавались щелчки. Звонкие щелчки пальцами. Не щелчки — выстрелы! Особенно в такой убийственной тишине.

Я иду вперёд. Бесшумно. Всё глушит пушистая ковровая дорожка. Но вот за спиной, у самого затылка, щелчок. И такой же щелчок в ответ, спереди. Я следую дальше.

Вдруг над самым ухом резкий угрожающий шёпот:

— Повернуться! Лицом к стене! Ближе к стене! Не оглядываться!

Я вжимаюсь в стену и вслушиваюсь в шелест одежды за спиной. Лёгкий ветерок и запах пота на миг обдают меня, и снова та же усыпляющая, жутковатая тишь.

— Повернуться! Вперёд!

Выполняю команду и следую дальше. Я исполнял роль эстафеты. По всему бесконечному коридору, с равными промежутками, были расставлены такие же типы в носках и гимнастёрках без ремней. Такая, видимо, была им присвоена

форма одежды. Они пропускали меня и шелчком извещали следующего — принимай, мол, твоя теперь забота!

Щелчок! Эстафета передана. Снова шелчок, и я двигаюсь дальше.

Плафоны заполняют коридор белым, матовым светом.

А я всё иду, и нет этому конца. Щёлк, щёлк! Пройден ещё один пролёт. Щёлк, щёлк, поворот, огигаю угол, и снова — щёлк, щёлк! Обалдеть можно!

Какая оригинальная, удивительная система! И придумал же её кто-то! Наверное, и поощрение получил! Премию или ещё квадратик в петлицу! И как дошёл до такого? Не иначе, как был фантазёром большим и сказки волшебные в детстве читал взахлёб. Это же надо додуматься! Ковры, носки, шелчки, и эта потусторонняя тишина, для чего? Цель какая? Нигде, никто до такого не додумался! Я кучу всякой всячины прочёл о тюрьмах, крепостях и иных "домзаках". Ничего подобного не встретил. Нет такого ни на западе, ни в России, и не было никогда. Наше оно, советское! Нечему и удивляться. Кому не известно: советское — значит отличное!

Покончили, наконец, с этим чёртовым коридором, отмахали его из конца в конец. Вообще-то попал я снова в коридор, но тут уже музыка не та. Никаких шелчков, никаких ковров и никакого света. Нет, вру, свет конечно, есть, но обыкновенный. Так, поганных пара ламперок шестидесяти или даже сорока свечей. И объясняются здесь обыкновенно. Не пальцами.

Что до самого коридора, то я его словно старого знакомого встретил. Точь-в-точь переговорная — междугородка на нашем почтамте. У стены пристройка диктовая, вся на конурки поделена, и на каждой — номер. Работа самая топорная, всё на тят-ляп. Короче, без излишеств.

Меня в кабину с номером шесть сунули. Номер тут никакой роли не играет. Все они одинаковые. Я потом во всех пересидел. Хотя кое-чем всё-таки отличаются. Главное — светом. Ламп в кабинах нет, но щелей да дыр, как теперь говорят, навалом. В то время слово это другой смысл имело. До черта дыр. Понятно, что если кабина поближе к лампе коридорной, то и ей от неё кое-какой свет перепадает. Мне как раз такая досталась, иначе бы я не сразу разглядел, что здесь и мебелишка есть. Табуретка. Скрипучая, как старый пружинный матрас, и шаткая, как дедовский челн. Я сразу

на неё уселся. Иначе и нельзя было. Свободной площади авторы сооружения не предусмотрели.

Уселся я, табуретку успокоил, чтоб не слишком скрипела, и сразу за перегородкой, что слева, возню, вздохи и скрип знакомый уловил. Никак не удавалось моему соседу с табуреткой поладить.

Я тихонечко, одним ноготком, в стену постучал.

— Кто вы? Давно здесь? — Ответа получить не успел. Дверь сразу — крр-трр, и стало у меня светло, как на экране, когда у киномеханика рвётся лента.

— Молчать! Не переговариваться! — как рассерженный гусь, шипит конвойный.

Придётся помолчать.

Я попытался вздремнуть, но никак не удавалось найти подходящее положение. И думать тоже не удавалось. Улетучились все мысли. Даже самые пустяковые.

Сколько просидел я на своей табуретке — представления не имею. Вообще понятие о времени стало здесь совершенно ненужным.

Но время, конечно, на месте не стояло. Двигалось. Как о нём трогательно пела Анна Гузик! Удивительная и неповторимая Анна Гузик! Кто помнит её теперь?

И часики идут, и маятник качается.

И всё идёт, идёт, как полагается.

Кажется, так. А может быть, что-нибудь и не совсем так. Мог и забыть за пятьдесят долгих лет. Но смысл верен. Идут часики.

Дверь снова — трр и крр, и шёпот суфлёрский: Дон Ильич!

Чёрт возьми! Я даже не сразу понял, о чём он, страж мой. Очень удивило меня это — Дон Ильич! Но я, конечно, вскочил.

— Хвамилия, хвамилия, надо хвамилию отвечать! — шипит он.

Хвамилию так хвамилию. Назвал я свою фамилию.

— Давай! Руки назад! — И снова ковры, и слепящий белый свет, и шелест необутых ног, и шелчки. — Направо! Не оборачиваться. Вперёд! — Щёлк, щёлк. — Не вертеть башкой! — Щёлк, щёлк.

Во дворе нас уже ожидал воронок. Пришло время с ним познакомиться. Тоже небезынтересно. Итак, имеются в этом экипаже четыре изолированных помещения. Первое — у двери. Вот в этом месте сидит наша охрана. Второе за ним

— салон с боковыми скамьями, четырёхместными. За салоном, у самой кабины, две клетушки. От салона их отделяют двери, с такими мощными защёлками, что, когда они захлопываются, ощущение — словно сработал капкан волчий. Крепкие замочки! Каждая клетушка угловой скамейкой по полам разделена, а всего площадь её, боюсь ошибиться, изрядно меньше квадратного метра. Если на скамейке-треугольничке сидишь, то колени прямо в дверь упираются. А над головой в потолке лючок засеченный. Воздуха тут нет. Ну, это, конечно, я перегнул. Просто воспоминания на меня давят. Очень мне эти клетушки тяжело давались. Воздух, надо думать, там был, раз мы в них по полчаса, а порой и много больше времени находились. Выдерживали, если судьба была одному всю площадь занимать. Но судьба, как известно, индейка, хотя мне и не совсем ясно, что из этого следует. Ладно. Пусть индейка. Речь о том, что если её не было, индейки, а была другая птица, то приходилось в душегубке путешествовать вдвоём. Да ещё и летом, когда на вольном знойном воздухе и то не продохнуть. Ездил я и так. Приходилось. Здоров я был, и везло мне, что тоже чего-то стоит. А вот партнёру моему, старому еврею, очень на равнина смахивавшему, повезло меньше. Пришлось мне доехать на трупе, прижавшись лбом к его потной голове.

Вроде бы вели меня по коридору одного. Не видел я больше никого и не слышал. Но когда вышел во двор, то застал уже целое воинское отделение. Сперва стояли мы кто как. Стояли, рассматривали друг друга, пока не подали машину. Сразу же нас и построили. Мне вышло стоять посередине. Хорошее оказалось место. Отличное, хотя я ещё тогда не понимал его достоинств. Зато, когда мы расселись и все заняли положенные места, кое-что до меня дошло.

Передних сунули в душегубки. Сработали за ними капканы. Задние сидели впритык к конвою. Ну, а остальные — посередке. И я между ними. Слева и справа — свои. Товарищи. Попутчики. Сейчас, и вообще. Одна у нас дорога. Я не видел их лиц. Не знал, кто они, что чувствуют, о чём думают. Но мне было хорошо от одного лишь сознания, что мы рядом, вместе. Не только потому, что сидим на одной скамье, что соприкасаются наши тела. Судьбы наши соприкасались. И души. И ещё многое, что и словами не выразишь.

Сидели молча, то отстраняясь, то наваливаясь друг на друга. По всему видать, водитель не слишком беспокоился

ни о нас, ни о машине. Швырял её как попало, словно бочку с водой вёз на пожар.

Хоть и тряско, но доехали. Последний раз качнуло нас, притиснуло тело к телу, и всё. Прибыли.

Я всегда считал, что город свой знаю. Да так оно, в общем, и было. Выходит, ошибался. Здание, куда нас доставили, увидел впервые.

— Где мы? — шепнул я соседу, не шевельнув головой, вроде не я порядок нарушил.

— Новичок? В Лукьяновке мы. Слыхал? — так же, одними губами ответил он.

— Ещё бы...

— Молчать! Молчать, контра, мать твою перетак! Сейчас положу мордой в землю... твою мать! Поговори тогда! — И это не какой-нибудь старый, облик человеческий потерявший тюремщик, со злобной мордой, какими их нам в кино показывают. Двадцать лет от силы парню с девичьим румянцем на нежных щеках, которые и с бритвой-то ещё толком не познакомились!

Ох, с каким бы удовольствием врезал бы я этому красавчику! В какой-то момент мне показалось, что он набросится на меня или на моего соседа, так близко он подошёл, захлёбываясь своей матерщиной. У меня даже сердце зачастило, и весь я дёрнулся, напрягшись всем телом и застопорив дыхание. Но в тот миг мой сосед нащупал и пожал мою руку. Неприметно и многозначительно. И я понял его, как понял он меня, новичка глупого, протянув мне спасительное своё рукопожатие. Здесь молчат. Подчиняются и молчат.

* * *

Если собрать большую кучу нашего невольнического народа — сотню, пять сотен, целую тысячу!, собрать и спросить, какое, по их мнению, лучшее место на земле, куда, если бы им выбор предоставить, они мечтали бы попасть? Ответ мне заранее известен. Самое лучшее место для аборигенов Лукьяновских, конечно же, — вокзал. Лучшего нет. Может быть, и есть, но я его не знаю.

Название, понятно, фольклорное. Народом здешним дано, но дано метко. В самый раз. Все признаки вокзала — налицо. Конечно, со всяким там сервисом, киосками, автоматами с газировкой — не очень. В остальном, точно. Вокзал. Сюда народ приезжает. Отсюда разъезжается. Кому ку-

да. Помещение, хоть и не большое, но вполне. К тому же и меблированное. Есть скамья, так что удаётся иной раз покейфовать в хорошей компании. А компания — лучше не придумаешь. Всё свои люди, и, что самое важное, — все из разных камер и этажей. Кто с допроса, кто на допрос, а иные и не знают, для чего их сюда. Взяли из камеры, сунули, и всё. А чего, не знают, и спросить не у кого. Чаше всего такие номера следователи откалывают. Их это штучки. Тактический приём. Что следователи с этого имеют, не узнаешь. А наш брат, зек, точно в выигрыше. Здесь, на вокзале, как нигде, открывается возможность для самого широкого общения. Конвоя нет. Он там, за закрытой дверью. Говорить не запрещено. Разрешения официального тоже нет, но как тут запрет осуществить? Вот и льётся поток информации, который всю тюрьму охватывает. И не только тюрьму. Люди из разных следственных мест съезжаются. Иным у следователя удаётся и в газетку заглянуть, что на столе завалась. И, наконец, сюда свежие люди попадают. Такие, например, как я, которые ещё волей пахнут. Вот и получаются как бы пресс-конференции. У нас это радио- парашей называется. Великое дело такая параша! Без неё совсем бы народ одичал. А она весь наш коллектив многотысячный просвещает.

Что касается масштаба и скорости распространения, действовала радио-параша безупречно. Поток слухов и сведений самых разных облетал Лукьяновку со сверхзвуковой скоростью. А вот достоверность этих сведений, даже при сравнении их с первичным источником, оставляла желать лучшего. Если не сказать больше.

Да это и не трудно понять. Если новость скверная, сплошь огорчительная, кому такая нужна? Хватает огорчений и без неё. Тут и начинается редакторская правка. Новость подправляется, приправляется и подслащивается. Чуть-чуть, едва-едва, так что вроде всё осталось как было, но яда в ней на какой-то миллиграмм поубавилось. Ну а если новость хорошая, то тут и сам бог велел. Каждый вложит в неё частицу своих желаний, клочок надежды, и с каждой такой добавкой новость всё добрееет, светлеет — всему миру на утешение. В таком виде она и летит от уха к уху, из коридора в коридор, из камеры в камеру. И долго может так кружить, потому что всякий рад передать её, — ободрить другого, дух поднять.

Пусть живёт и здравствует благотельница, милая нашему сердцу радио-параша! Мне сегодня как раз и предстоит обогатить её, вдохнуть в неё новую жизнь.

Вокзал набит битком. Три машины разгрузились, а погрузки почему-то нет. Навезли народу — без счёта. Торчат без движения. И я, конечно, в центре внимания, как бегун у финиша после рекордного забега. Рвут на части. Рассматривают с ненасытной жадностью. Запах мой вдыхают, вольный. Им уже всё в диковинку. И костюмчик мой отглаженный, чистенький, и складочка острая на брюках, и туфли с дырочками и шнурками, да ещё и с железками на концах. У них всё это давно позади.

Изучают меня, как какого-нибудь трилобита или другое ископаемое. Ну и конечно же — вопросы. Тысяча вопросов. И о чём только ни спрашивают! Всё им знать надо. Сначала, думаю, больше из вежливости — о моих делах: кто да откуда... За *что*, никто не поинтересовался. Тогда я этого не понимал. Первым, казалось, должен быть такой вопрос. Но это тогда. Потом я всё понял. Сам таких идиотских вопросов не задавал. После моих личных дел перешли к общим. Целую лекцию пришлось прочесть. Сначала о международном положении, потом о родной стране, а затем и городе нашем, и об отдельных его районах и улицах. Что где строится, как универмаг на Крещатике, закончили ли, как каштаны и липы цветут на Печерске, был ли разлив Днепра и что затопило, куда больше всего эшелонов арестантских гонят? Нет конца моей пресс-конференции. Я уже взмок порядком. Под конец замучили меня уже персональными делами. Знакомое дело, да, жаль, книжки записной при мне нет. А им все имена подавай: не встречались ли такие-то да такие-то. Про своих узнать, весточку от них получить... Кое-кого удалось мне всё-таки вспомнить. Не так, чтобы очень многих, к сожалению. В общем, не бесполезными оказались мои сведения, в скитаниях по всяким присутственным местам и железнодорожным полустанкам добытые. Пригодились, весьма кстати пришлось.

Не знаю, сколько бы ещё длилась моя конференция. Конца ещё ей не предвиделось, когда забренчали ключи и лязгнул замок.

— Иван Тарасович! — с порога кричит надзиратель.

— Здесь я, Нечипуренко!

— Давай на выход! Иосиф Борисович!

— Я, Шахнович!

— Давай!

— Дон Ильич!

Я вскакиваю, называю фамилию и стою, потому что надзиратель уставился на меня каким-то пустым взглядом, и я жду, когда прозвучит это "давай!". Но "давай" нету.

— С какого коридора? С какой камеры? — спрашивает надзиратель с тем же смутным выражением глаз.

— С воли, в камере ещё не был, — отвечаю я с непонятным чувством смущения. Словно в чём-то провинился. Будто есть что-то постыдное в том, что новичок.

— Ага, с воли значит, — бормочет надзиратель, отводя взгляд в сторону и размышляя. Видимо, он тоже новичок, и такое в его практике ещё не случилось.

— Чего делать? Куда его? — оборачивается он ко второму, который с угрюмым видом, стоя за порогом, перебирает связку ключей.

— Чего "куда"? Давай в одиннадцатую на десятый, — почему-то раздражается он, поворачиваясь сутулой спиной.

Значит, на десятый и в одиннадцатую. Для меня это пустой звук. Хорошо или плохо, понятия не имею. Пусть десятый.

Так вот она какая, Лукьяновка! Знаменитое заведение! Престижное! Вот уж не думал, что придётся здесь побывать.

И, если без лишних слов, прямо скажу — понравилось мне здесь.

Нужно, конечно, правильно меня понять. С умом. Не дебил же я какой-нибудь, чтобы вонючим застенком восхищаться. Надо в расчёт принять, откуда я сюда пришёл, с чем сравнивать пришлось. Тогда и всё на свои места встанет.

А я так тогда жильё своё новое рассматривал. Не в смысле, что здесь есть, а чего нет. Этому и радовался. Не было здесь ковров пухлых, парней распоясанных, необутых, щелчков за спиной, тишины удушающей и шёпота леденящего.

Шёл я за провожатым своим и острым глазом да чутким ухом всё примечал. Тишины здесь не блюдут. Двери, железом окованные, громяхают, бренчат ключи, цокают по полу каменному сапоги тюремщиков. Говорят в полный голос, даже перекрикиваются при надобности. В общем, жизнь идёт у всех на виду, всё открыто и потому не страшно. Здесь нет тайн. Что увидел, услышал, — твоё. Всё здесь по-человечески.

В конце концов мне хоть так, хоть этак. Я ко всему готов. Хорошо ли, плохо, как все, так и я. Мне, конечно, не

всякий поверит. А я честно скажу: между "хорошо" и "плохо", если на выбор, я "плохо" бы себе взял. Не ради комфорта, не на отдых я сюда стремился.

Ради Вовки я, брата моего. Чтобы снова всё с ним пополам. Чтобы на двоих всё, как братьям родным положено. Чтобы если страдание выпало, то и его на двоих, как было у нас всю жизнь...

Теперь всё правильно, справедливо. Очень возможно, что шёл Вовка по этому же коридору, по этим лестницам, мимо этих дверей, а то, может, и с теми же провожатыми. Теперь я тут, по его следу иду.

Наконец-то! Как же долго и томительно пришлось мне ждать этого часа! Да чего уж старое вспоминать! Дождался!

ГЛАВА 9

ВОТ ОНО КАКОЕ — ЧИСТИЛИЩЕ

Хорошо провёл меня мой штурпачок. Так мы надзирателей называли. Аккуратно. Не рычал, не подгонял, не орал "Руки назад" или "Голову, голову!". Вёл, как ведёт гостя гостеприимный хозяин в приготовленную ему комнату. Жаль, нет у них книги жалоб и предложений. Я бы ему благодарность в неё вписал. Заслужил он её. Вполне.

Выбрались мы — этаж за этажом — на самый верх. Вот он, мой десятый! Дома, значит.

— Стой, пришли! — командует хозяин. Не торопясь, возится он с ключами. Щёлкает замок. Я уже вперёд подался, но тут, невесть откуда, появился ещё один.

— Стой, говорю! — шумит он на меня. — Не поспедай! И всегда ты, Вертухов, напутаешь! — Это он моему. — Хва-милия, хвамилия твоя как? — а это уже мне. Я называю. — Видишь? — тычет он Вертухову под самый нос какую-то бумажонку. — А ты куда его? Про обработку забыл?

И снова идём мы с Вертуховым знакомой дорогой, только теперь уже вниз.

— Сюда давай. Да стой ты! — говорит он, открывая передо мной дверь. Обыкновенную, "штатскую", даже я бы сказал, домашнюю дверь. Ни железа на ней, ни "волчка". Непонятная дверь. А за ней — комната. Тоже вполне обыкновенная. Размером с "детскую" в нашей квартире на Александровской. Ну здесь, конечно, не детская: решётка на окне и пол — не паркет дубовый, а плитка метлахская. Крас-

ная и жёлтая. Такими у нас туалет выложен в университете. А вот у стены — топчан, и это очень и очень кстати. Только теперь я почувствовал, как устал. Зверски устал. Сколько же я так мотаюсь? Спал не более двух часов. И как давно это было! Чего только за это время ни повидал, где ни побывал! Обыск, "приёмная" на Екатерининской, междугородка, воронок, вокзал...

А топчан — что надо. Хоть и обшарпанный, и исцарапанный, и в подтёках, расправляю все кости и пристраиваюсь поудобнее. Пробую на спине. Нет, так не пойдёт. Никогда на спине не лежу. Поворачиваюсь на бок, лицом к стене. Поджимаю колени. Так уже веселее. Вот бы ещё подушку! Стой-ка, у меня же полотенце! Сунул я его тогда в карман и позабыл. Ну, теперь всё по первому разряду! Скатываю полотенце в плотный ком и сую под голову. Хорошо! В самый раз! Лучшего и желать нечего.

Так уютно я устроился, так покойно было у меня на душе, что и сказать не могу. Совсем, как там, на свободе, когда в летний день за город выезжал. Ляжешь, бывало, на травку, к небу лицом и смотришь, как над тобой кроны сосновые покачиваются и облачка по небу корабликами плывут. Закроешь глаза, и словно сам под небом паришь. А вокруг щебет птичий, кузнечики трещат, и стрекозы хрустально крылышками позванивают. Благодать невыразимая! Истинный рай!

Здесь топчан. Не травка. И нет ни неба, ни голосов птичьих, ни стрекоз. А покой — есть. И мир на душе — тоже.

Казалось, что долго, бесконечно долго шёл я, обессиленный и опустошённый, шёл трудной, долгой дорогой, изнулившей моё тело, истощившей дух. Шёл, не зная, куда, но верил: там, куда иду, конец моим мукам. Там найду покой. И вот... пришёл. И не ошибся. Покой — здесь. На этом топчане. На этом полу, в этом окне с ржавой решёткой. Не зря, значит, шёл.

У меня не было никаких желаний. Я ел последний раз у Юрки, на нашей вечеринке, но голода не испытывал. И жажды тоже не было. У меня было всё, что я желал. Как у Ротшильда или Генсека. У меня было больше. Мир и покой был. Сомневаюсь, что они были у них.

Я теснее прижался к моему полотенцу. Теперь можно и отдохнуть. Наконец-то можно!

Вот уж не знаю, сколько времени я на своём топчане нежился. Но, когда меня поднял звон ключей и шелчок замка, я был свеж, как только-только извлечённый из колючей сколупы каштан. Голова была ясной, а тело — лёгким, каким оно может быть только в двадцать лет.

— Дон Ильич! — непривычно тихим голосом вызывает меня надзиратель.

— Так точно. Генин! — лихо вскакиваю я, словно передо мной не этот брюхатый тюремщик, а мой бравый майор.

Брюхатый смотрит на меня сонным взглядом, из-под набрякших, землистых век.

— Пошли, — бросает он как бы нехотя, уступая мне дорогу. Я подхватываю свою "подушку" и выхожу. Куда иду, конечно, не знаю. Идём по коридору, сворачиваем раз и другой. Теперь уже догадываюсь, куда. Запахи знакомые. Один — всем известен, даже малым детям, — дух банный, специфический дух от скверного мыла, распаренных досок и сырой штукатурки. Второй — его я в лагерях военных узнал — запах одежды прожаренной. Вот, значит, она, обработка. А мне-то она к чему? Я ведь о т т у д а! Мытый, выскобленный, чистенький, как цыплёнок перед отправкой в духовку. Но здесь, конечно, все равны. Как перед Богом. Нет тут чистых и нечистых.

— Давай в пропускник! — команда.

Что ж, пропускник так пропускник. Всё надо испытать.

Захожу, иду мимо ряда тесно прижавшихся к стене совершенно голых людей. Они стоят сгорбившись, прикрывая руками места, где следовало бы быть фиговому листу.

— Сюда, ко мне, проходи, — позвал меня тощий, стриженный под ноль субъект, в рваном, в прошлом, по-видимому, белом халате. — Скидай всё, живо! Давай своё шмотьё!

Я в нерешительности. Раздеться, конечно, придётся, никуда не денешься. Но как быть с вещами? Не бросать же на этот загаженный, мокрый пол мой светлый костюм!

— Чего стоишь? Сказано, скидай! Ждать тебя?

— Куда вещи мне сложить? Мокро ведь... — лепечу я.

— Мокро тебе? Ну, чудило! Высохнешь, торопиться некуда. Давай, не муди! — Он раздвигает тонкие бледные губы. Зубки у него мелкие, зелёные, и кажутся все одинаковыми, все — остренькие.

Я стал раздеваться, но на пол вещей не клал. Зажал под мышкой. Надеялся ещё по глупости. Но парень вырвал их у меня и ловкими, профессиональными движениями обшарил карманы. Кроме платка, в них ничего не оказалось. Меня обыскали ещё дома, забрав всё, вплоть до очков, что меня больше всего возмутило.

— Обшмонили, гады, на совесть, ити их мать! — вскипел он. — Ничего, бля, не пропустят! — Он звучно шмыгнул носом и взялся за работу. Вмиг были срезаны все пуговицы с костюма и даже с рубашки. Из брюк вытащил пояс и повыдрал крючки. Пояс он долго рассматривал и с явным удовлетворением сунул себе в карман. Хороший был пояс. На заказ изготовлен. Туфли тоже подверглись обработке: выдернуты шнурки и подрезан задник. В таких уже не побежишь! Впрочем, при шнурках и целых задниках, думаю, тоже никто бежать не стал бы. Дурость одна.

Поиздевавшись всласть над моим костюмом, парень швырнул его мне под ноги.

— Теперича валяй в строй! Барахло — туда, на кучу, в прожарку!

Вот и я со всеми. У стены. И так же сгорбился. И руки там же, где у всех. Стоим и дрожим. От холода, от стыда, от унижения...

— Теперь сюда давай, по одному! — командует наш мучитель, поигрывая машинкой для стрижки. — Давай ты первый, дед!

"Дед" нерешительно отделяется от стены. Ему лет сорок. А может быть, и сорок пять. Он худощав и мускулист. Шевелюра чёрная, только виски седые. Интеллигент, по всему видно. Нос тонкий, с горбинкой, и голова, хоть и стоит он в самом непотребном виде, — гордая и сильная. И глаза такие. Глаза повелителя. Его грудь, спина и плечи покрыты густой растительностью, но это придаёт его облику ещё более мужественный, властный вид.

— Ну и работёнка! — взвизгнул парень не то удивлённо, не то с восхищением. — Натуральный зверь! Ить, чисто обезьяна! — Ну, давай, становись! Ого, и не достану! А ну, подь, скамейку притащи. Вона в угле. Намахаюсь я с тобой. Кабы мне с головы платили, то не знал бы как и считать. За три бы головы пошёл! Не меньше как за три!

Ни слова не говоря, только сдвинув брови и откинув со лба свою чёрную шевелюру, человек пошёл за скамейкой. На его смуглых щеках вздулись и застыли бугры желваков.

Заклала машинка. Она прошла по голове, затем по лицу, груди, лобку.

— Раком теперь давай! Ну, раком, говорю! Непонятно? — Машинка углубилась в самые интимные места. — Ну, как работа? Человека с тебя исделал! Давай следующий! А ты двигай в мойку!

Говорят, интеллигента узнаешь в любой одежде. Чепуха. Ничего не узнаешь. Вот он, с орлиным носом и головой мыслителя. Куда только подевалась вся его интеллигентность? Торчит костлявый нос под низким лбом, а голова теперь — шишковатая, как кочан цветной капусты, и — сплюснутая с боков. Где её искать, интеллигентность? Арестант как арестант. От матёрого бандюги не отличишь.

Дошло и до меня.

— Вы бы хоть машинку промыли, — сунулся было я, — не годится так, лицо и всё прочее и всем подряд...

— Машинку тебе мыть? Ты шо, брезгуешь? — искренне удивился наш цирюльник. — Ты спасибо скажи за мою машинку! До напарника моего попадёшь, узнаешь тады. Машинку ему мыть! Шо за народ несознательный! А ведь не наш брат, уркаган. Троцкисты!

Что правда, то правда. Машинка у него была на высоте. Все мы это поняли, когда и впрямь пришлось с его напарником встретиться. Долго мы потом маялись с нагноениями и чирьями, которые в самых неудобных местах высыпали.

Покончив с первой процедурой, перешли мы ко второй, водной. Поглаживая непривычно колючие головы и расставляя пошире ноги, поскольку и в тех местах было неудобно, двинули мы в мойку.

Вот к ней, к мойке, должен сказать, не было у нас никаких претензий. Всё как следует. Вода — горячая, напор мощный, так что сёк нас душ, как июльский град. И душой этих самых тоже хватало, поскольку было нас не много. Двое всего на один душ. Самый раз!

Какая же благодать — вода в нашем пекле! Тут и сравнительных степеней нет. Вода, всюду вода! И мы с ней наедине. Тет на тет, как Райкин наш говорит. И, главное, никаких других, кроме наших зековских тетов, нет. Мы и вода. Вода и мы. Будто и не в тюрьме. Ни санитаров, ни штурпаков, ни команд. Это всё позади. И впереди, конечно. А сейчас — господа, до чего же хорошо! Положемся, как утки. То горячей, то холодной. И снова, и снова... И вдруг всё! Ожгла последняя горячая капля, и — финита. Тюрьма есть

тюрьма. Истекло ваше времечко, на обработку отведённое. Пора и честь знать.

Мы снова в предбаннике. Отряхиваемся, оглаживаемся, а вытереться нечем. И одежды нашей не видно. Но мы ничего не спрашиваем. Знаем, за нас тут думают, всё предусмотрено и рассчитано. Мы — как солдаты. Есть начальство. Его дело — приказывать, а наше — выполнять. Сейчас что-то должны нам приказать, и мы ждём. Бродим голышом, дрожим, подпрыгиваем, а в общем, всё на пользу. Сохнем, между делом.

Ну вот и дождались. Есть команда.

— Разбирай шмотьё, давай навались! — Мы бросаемся к нашей одежде. Её только что выгрузили из камеры. Она ещё дымится и пахнет палёным. Всё сплелось в один горячий ком. Обжигаясь, разрыхляем эту глыбу, роемся в ней, как скараabei в навозе.

Нахожу, наконец, своё и натягиваю на себя брюки, рубашку, и — как на свет народился. Теперь остаётся обуться и снова почувствовать себя человеком. Может быть, Адаму было неплохо в его саду, и то — до греха того злосчастного, первородного, но нам это ни к чему, сверкать всеми анатомическими подробностями. В одежде — совсем другое дело! Боже правый! Как же теперь? Одеться оделись, а как жить-то дальше? Брюки спадают, туфли — сами по себе, никак к ноге не пристанут, пиджак — как распашонка младенческая, и на все дела — одна рука. Вторая только брюки удерживает, неразлучно. Чуть отвлёкся, они уже внизу. Путаешься в них, как дитя, самовольно горшок покинувшее. Передвигаемся, словно старики немощные, шаркая ногами. Ну и видик! Мы посматриваем друг на друга, и те, в ком ещё живут юмор и дух вольный, прячут улыбки. И зря прячут. Лучше бы уж улыбаться в полную силу. Скоро, совсем скоро будет уже не до улыбок.

ГЛАВА 10

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Переписка нам запрещена. Не можем мы ни писать, ни получать писем. И мне очень обидно, потому что теперь у меня есть свой адрес. По этому адресу не то что почта, ребёнок разыскал бы меня играючи. Так просто! Город Киев.

Улица Дегтяревская. Лукьяновка. Спецкорпус 1. Коридор 10. Камера 11. Ну и, конечно, мне.

Сюда, в одиннадцатую, привёл меня всё тот же растяпа Вертухов. Привёл, потоптался у порога — он всегда так, ничего с налёта не делает, — поковырялся в замке и распахнул дверь.

Шагнул я и — назад. Отскочил, как ошпаренный. Понимаю, что — надо войти, а не могу. Ноги не шли, лёгкие отказывали, желудок с кишечником содрогались, обоняние протестовало. Не мог я туда. В прорубь свалиться, и то легче.

Помог мне Вертухов. Мягко, незлобиво подтолкнул он меня в спину и закрыл дверь. Назад хода уже не было. Но и вперед тоже. Некуда было идти. Не лезть же на стену! А передо мной — стена. Так мне, по крайней мере, показалось тогда. Живая стена! Сплошная масса из человеческих тел. Не то что яблоку упасть, косточку, если её из него извлечь, и то сунуть некуда. И все голые, как на пляже. И блестят, как бронзовые статуи в ненастный день. Большая часть — стоит, но есть и сидящие, и даже кое-кто лежит, к стене прижавшись. Чтобы всем сидеть, явно места не хватает.

С местами ещё так сляк. Можно и постоять, если иначе не получается. А вот с дыханием как? Нечем дышать! Воздуха нет, а тот, что есть, не годится. Уверен, что и огня он не поддержит. Задушит он огонь. И чего в этом воздухе только нет! Чем только он ни отравлен! Бьют в нос запахи мочи, испражнений, пота, дыма табачного, чеснока, какого-то снадобья дезинфицирующего и, чёрт знает, ещё чего! Хватит и этих, хоть я и половины не назвал.

Мне казалось, что я задыхаюсь, что вот-вот потеряю сознание. С минуту стоял остоленело, охваченный ужасом и открыв рот, — вдыхал этот мерзкий воздух. Я дышал всё чаще, но и это не спасало. Надвигалось удушье, я уже предчувствовал его. Против двери разглядел я окно и бросился к нему, расталкивая толпу самым бесцеремонным образом. Я не управлял своими действиями, во всяком случае, не способен был их оценивать. Мне удалось проделать уже значительное расстояние, когда чьи-то жёсткие пальцы остановили меня, крепко сжав руку у локтя.

— Стой, парень, не торопись, — тихо сказал человек с худым и тёмным лицом, расписанным морщинами. — Не надо тебе к окну. Отдышись, попривыкни.

— Почему не надо? Пустите меня! — обозлился я и, вырвав руку, стал протискиваться к окну. Меня больше не удерживали, да и не удержали бы. От страха перед удушьем силы мои удесятерились.

— Пусть, пусть попробует, — услышал я за спиной. — Свежий человек, откуда ему знать? Пусть. Потом поймёт. Привыкнет.

Я всё же добрался до окна. Оно было высоко — не достанешь, но даже при виде его, казалось, становилось легче.

И чего они все раскудахтались? "Не торопись", "Не надо к окну", я уже даже вдох порядочный сделал — не то что там, у двери!

Нет, не зря они "кудахтали". И двух минут не прошло, как я пожалел, что умных людей не послушал.словно из кратера вулкана, хлынул на меня поток раскалённого воздуха. В ужасе метнулся я от взбесившегося окна, сбивая по дороге всех стоявших и топча тех, кто имел несчастье сидеть или лежать на моём пути. Назад к двери! Скорее туда, к порогу! Как-то я ещё там дышал! Хоть бы туда добраться поскорее!

Слава тебе, господи! Вот, наконец, и дверь. Добрался всё-таки. Я прижался к двери, и она показалась мне прохладной и ласковой, как свежая простыня после ванны.

— Теперь, надеюсь, вы поняли, — услышал я голос темнолицего. — Мы ведь вас предупреждали. Вглядитесь в окно!

Я вгляделся. Действительно, можно было и самому догадаться. Окно закрыто железным щитом. Вот и ещё одно наше, отечественное изобретение. Не должен враг в заточении на божий свет глядеть! Небо тоже не для него. Никаких ему радостей! С врагами — по-вражески! Вместо неба — лист железа кровельного. Глядись в него! Всё, что за ним, — не для тебя! И небо тоже!

Железо, конечно, таких вещей не понимает. Одним лишь законам физики подчиняется. Поглощает лучи и отдаёт опаляющий, тропический жар. Чуть ветерок, и он, жар, врывается в камеру. И спрятаться некуда. Нет от него спасения!

Что ж, я готов ко всему. Сам хотел всё узнать, всё испытать. Я не жалею. И назад проситься не буду. Как не плохо здесь, но я понимаю: это не самое страшное. Бывает хуже и, по логике вещей, должно быть ещё хуже, всегда находится такое, что ещё хуже. Но я и к этому "хуже" готов.

Вообще-то самое худшее, когда ты — один. А я не один. Люди кругом, много людей. Даже слишком много, но тут уж ничего не поделаешь. Пусть уж так. Были бы люди.

Очень скоро притерпелся я и ко всем мерзким запахам, и к жаре дьявольской. Даже стыдно стало. Хуже, слабее я дружих, что ли?

Ну и народ здесь собрался! Одно старичье, доходяги. Не камера тюремная, а реанимационная палата. Все словно при последнем издыхании. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. Глядя на них, всматриваясь в их залитые потом, бескровные лица, я вновь почувствовал нарастающее беспокойство. Где-то, не то в голове, не то в сердце или животе, зрела какая-то тревога. И подташнивать стало. Чувствую, если побуду здесь ещё каких-нибудь пять минут, что-то со мной произойдёт. Я должен выйти. И немедленно!

По той или иной причине, я почему-то часто вспоминаю тот день и не могу понять, что со мной было. Ну, стало нехорошо. Может, и в самом деле затошнило. Удивляться нечему. Было отчего. Но как, сохраняя рассудок, мог я захотеть выйти? Куда и по какому праву? Перестал понимать, где нахожусь? Не оценивал своего положения? Решил, как в ребячьей игре, выкрикнуть — "Цур, не играю!"? Не знаю. И впрямь что-то было не так с рассудком. Помню только, что захотел я выйти и внезапно, с ужасом осознал: *выйти нельзя*. Заперт я вместе с этой грудой мокрых голых тел. А мне надо выйти! Не могу здесь! Я чувствовал, что задыхаюсь. Не воздуха мне не доставало. Моё удушье не имело никакого отношения к дыхательным органам. Душила меня какая-то не доступная пониманию сила, объятие призрака, и это было особенно страшно. Я не знал, как избавиться от этого бесплотного гнёта. Одно лишь пробуждение спасает от подобного кошмара. Но я не спал. Кошмар был явью.

Я заметался, натываясь на людей, расталкивая нагие их тела.

И вдруг я понял, что со мной. Дверь! Вот что со мной! За мной закрыта и заперта дверь. Я *замкнут*! Мне ничего там, за стенами камеры, не нужно. Некуда мне идти. И незачем. Но я не могу вынести этой замкнутой двери. Я сейчас задохнусь, умру! Пусть откроют дверь! Всё стерплю. Пусть жара, теснота, вонь, только не эта дверь!

Я был здоров, как молодой мустанг. Не знал никаких слабостей. О потере сознания, обмороке, истерике, если и имел понятие, то лишь понаслышке и из литературы. Теперь

я был близок к обмороку и истерике одновременно. Ноги потеряли устойчивость. Не то ноги, не то пол. Казалось, не цемент подо мной, а хлипкая достёнка, перекинутая через вёрткий ручей.

— Дверь! Откройте дверь! Пустите меня! Откройте дверь! — задыхаясь и заклёбываясь собственным криком, завопил я не своим голосом. — Из последних сил пробился я к двери и опустился на пол у порога. Кричать уже не мог. Только шептать. — Откройте дверь, очень прошу, откройте...

— Успокойтесь, молодой человек, — услышал я над самым ухом. — Давайте вашу руку! — Я приподнялся и ощутил прикосновение горячих влажных пальцев у пульса. — Всё в порядке. Сердце — дай бог всякому. Успокоились? Студент, полагаю?

— Студент, — прошептал я.

— Не медик ли случайно?

— Нет, университет, биофак.

— Что ж, биологу тоже следует знать. Слышали о такой штуке — клаустрофобии?

— Что-то не помню. А что это?

— Боязнь замкнутых пространств. Неприятно, но не смертельно. Главное, не распускать себя. Ну, встаньте! Смелее!

Я встал, но колени дрожали и чувствовал я себя мерзко. Меня сотрясал озноб и из всех пор извергался жаркий пот. Я уже не рвался к двери и мог даже рассмотреть человека, так вовремя оказавшегося рядом. Он был не стар. Глаза его смотрели мудро и ласково.

— Как ваше имя? — спросил он, всё ещё не выпуская моей руки. Я не знал, как ответить на такой простой вопрос. Назвать имя, которое было в ходу среди друзей и дома? Неловко и несерьёзно. Назвать полное, с отчеством? Непривычно, да и неуместно.

— Моя фамилия — Генин, — нерешительно промямлил я. — Генин.

— Генин? Стойте-ка! Генин, Генин... Погодите, Генин Лев Ильич имеет к вам отношение?

— Это мой брат! — подскочил я, — родной брат! Откуда вы его знаете? Где встречались? — Прежний озноб уступил место новому. Теперь уже от волнения. — Вы его видели здесь? В этой камере?

— Здесь, здесь, но не в этой. На девятом мы тогда сидели. Значит, брат. А ведь вы не похожи. Никакого сходства в чертах, да и вообще. Потвёрже был ваш брат, не в обиду вам будь сказано.

— Когда же вы его видели? Что знаете о нём? Расскажите, очень вас прошу! — Теперь уже я схватил его руку.

— Мало, очень мало знаю. Недолго виделись, да и давно это было. Познакомились, поболтали. Он мне о себе, я — о себе. Его вскоре перевели. Куда, не знаю. Да и какое теперь это имеет значение! Понравился мне ваш брат. На такого можно положиться. Я помню его дело. Дурацкая история. А что с ним теперь, вам известно?

Я рассказал всё, что знал. Охотно рассказал. Вообще настроение у меня здорово поднялось. Это же какая удача! В первый день напасть на Вовкин след! Всё, значит, идёт по плану.

— Вы даже не представляете себе, как я вам признателен. За всё. Как мне повезло! — Я уже обеими руками сжимал кисть этого человека, который за считанные минуты стал мне родным. — Могу я узнать ваше имя? За что вас сюда? В чём обвиняют? Дело какое? — Я засыпал его вопросами, не понимая их нелепости. Я вообще ещё мало чего понимал тогда.

— Новичок он и есть новичок, — грустно улыбнулся он. — Из всех ваших вопросов толком могу ответить только на один. На первый. Фамилия моя Кофман. Имя — Иуда Соломонович. По профессии — хирург, профессор. Что касается дела, обвинения, то тут, увы, сказать мне нечего. Я знаю не больше вас.

Наверно, услышав такое, я сильно изменился в лице и выглядел совершенным болваном.

— Скоро вы уже не будете удивляться, — сказал профессор, поглаживая моё плечо. — Нас здесь редко обвиняют в чём-нибудь определённом. Очень редко. Эту задачу следствие возлагает на нас. Как правило, так оно и получается. Топим себя своими руками. У нас говорят: "Битьё определяет сознание". — Профессор, как бы прощаясь, напоследок сдал мою руку. Хватка у него была не по возрасту. Будто не пальцами, а челюстями сдал. — Не удивляйтесь. У вас всё впереди. Скоро сами во всём разберётесь и на себе испытаете, к сожалению. Да и дело собственное заведётся. Жаль мне вас, да что поделаешь! Будет желание или необходимость, совет понадобится, я к вашим услугам.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Здорово я в тот день распахнулся. В общем-то понять можно. Впервые ведь! И жара, и вонища, и теснота, и ещё эта клаустрофобия. Всё вместе и всё сразу. Понять можно, но всё-таки досадно. Я себя всю жизнь "железным" считал, а выходит, что ошибался. Не от меня зависело. Физиология! Будь сто раз железный, никуда от неё не денешься. Но... я ещё докажу!.. — утешал я себя.

Теперь уже всё позади, а не перестаю удивляться. Какими глазами я тогда смотрел? Чего только ни примерещилось! В злом зеркале волшебном всё видел. Людей испугался, страшными показались, словно покойники в морге. А они люди как люди. И не одни тут старики и доходяги, а очень среди них много таких, что дай бог всякому. Конечно, сразу всех не разглядишь, уж слишком их много, и все будто на одно лицо. Но это сразу, пока не огляделся. Очень скоро они перестали быть для меня безликой массой. Скорее, чем я думал.

Сократ, как о нём рассказывают, знал в лицо каждого из тридцати пяти тысяч жителей Афин. А мне нужно было освоить какую-нибудь сотню. Правда, что касается многообразия... то оно было почище, чем в Афинах. Истинный Вавилон! Все национальности представлены: русские, украинцы, греки, поляки, армяне, персы, латыши и даже цыгане. Ну, и, конечно, наши — сыны израилены. И в изрядном количестве. Перечень этот я привёл не украшения ради, не для оправдания сравнения с Вавилоном. Отнюдь. Могу всех названных со всеми живыми подробностями описать. Но не вижу надобности. Придётся к слову, опишу. Однако проблема национальности там меня не занимала. А кто интересуется, могу сказать: не было такой проблемы. Все мы одной машинкой под ноль были стрижены, одну баланду ели и пайки одинаковые получали. Все на равных, как звери в джунглях на водопое. И пантера, и шакал, и лань — все рядом.

Не о нациях, о жизни, быте нашем хочу поведать. Об укладе камерном, о порядках наших. Ну и о людях. Для меня всегда и всюду главное — человек. Стоит наша жизнь того, чтобы о ней рассказать. Чтобы узнали о ней от меня. И чтобы никто, никогда и нигде больше не увидел, не испытал, не

пережил ничего такого после меня. Самое горячее моё желание.

Долго я думал, как приступить к такой задаче. С чего начинать и какой избрать порядок изложения. И решил так. Буду рассматривать нашу камеру как некую страну. Какую-нибудь там Тюрландию или Лукьянезию. И описывать буду, как принято в учебнике географии: площадь, почва, народонаселение и прочее. Всё это у нас есть и вполне заслуживает описания. Тем более, что ещё раз побывать там не дано никому. Была такая "ландия" и нет. И хочу верить, что уже и не будет. Как той Атлантиды.

Итак, занимает наша "одиннадцатая" площадь примерно в сорок или в сорок пять квадратных метров. Точно не скажу. Мы никогда замера не делали. Почва — самая обыкновенная. Цемент. Один цемент. Никаких предметов, кроме одушевлённых, нет. Почва, потолок, стены, окна, закрытые железными щитами, и лампа на потолке. Всё.

Если подойти вплотную к окну и очень задрать голову, то можно увидеть кусочек неба. Узенькую полоску дивного цвета. Цвета свободы. Лампа горит постоянно. Вечный огонь. И день у нас вечный, как на полюсе.

Каково население, какие проживают народы, уже было сказано. А вот численность непостоянна. Колеблется. Но никогда при мне не падала ниже ста. Больше бывало. Иной раз до ста тридцати доходила. Но меньше, нет. Не помню такого. И не хочу вспоминать. Пусть бы уже было все двести, потому что, если случалось такое, то тех, кто место своё освободил, мы уже никогда не видели. Не только мы. Никто.

Климат — тропический. Как в лесах Амазонки. Влажность — банного уровня. Преувеличивать не стану. В парной, на верхних этажах, покрепче. У нас примерно между вторым и третьим. Это так летом и осенью. А как зимой, не скажу. Не пришлось наблюдать. Зимой я уже на новое место перебрался. Хорошее мне досталось место. Грех было жаловаться, хотя и здесь мы не жаловались. Некому было. Да и незачем.

Ах, забыл! И как я мог! Такое! и — забыть! О цементе, о щитах железных и "вечном огне" — обо всём рассказал, а про неё забыл. Про парашу! Параша у нас ещё была — многоведерный чугунный котёл, с такой же мощной крышкой и двумя ручками по бокам. Что за тюрьма без параша? Прямое назначение её в разъяснении не нуждается. Но, кро-

ме прямого, есть у параша другое предназначение. Не главное, конечно, но важное. Кто там не был, не поймёт.

Единственный предмет — параша, на котором можно сидеть, как принято в цивилизованном обществе. Не скрепив ноги, как тот писец из фараоновой гробницы, не на одной половинке от того места, которое самим богом для сидения предназначено, а по-человечески, свесив ноги вниз. Просто сидеть в самом банальном значении этого слова.

Параша одна, а нас — вон сколько! Как её поделить? Вопрос? Не было у нас вопросов. Ни вопросов, ни недоразумений. Самотёком, стихийно регулировалось — да простится мне такая семантическая вольность — парашепользование. И не пришлось никого учить, как водители троллейбусов учат своих пассажиров — "У нас принято уступать места инвалидам". Два одноногих инвалида имели бессрочную бронь. И их головы над чугунным постаментом составляли привычную деталь камерного ландшафта, как кони на фронте Большого.

На остальной площади шло непрерывное перемещение. При этом так же тщательно соблюдались самые гуманные принципы. Всё больше сидели наши старички. Ну, конечно, и больные, особенно хирургические, из тех, что могли сидеть. Не все могли и не все хотели. Иным было уже не до сидения.

Что касается молодёжи, то ей доставались лишь ночные часы, когда число претендентов падало до нуля. Люди или отбывали на свидания со следователями, либо забывались в тревожном, обвальном сне.

Удивительное, непостижимое создание есть человек. По самую макушку были мы погружены в невылазную топь душевных и физических мук. Безрадостными и изнурительными были наши будни. Не было никаких надежд, ничего светлого, ничего утешительного даже в перспективе. Разве что нелепая мечта о лагере, где, как нам мерещилось, мы обретём какую-то новую, пусть даже не лёгкую, но всё же сносную жизнь.

Но я помню, каким умиротворяющим покоем веяло на меня от фигур, ведущих шепотком долгую ночную беседу у нашей параша. Такое, клянусь, точно такое чувство испытывал я в детстве, когда сидел в кругу семьи за чайным столом. Глаза слипались, меня не раз уже отсылали спать. Но так было хорошо слушать тоненький голос затухающего са-

мовара, тихую, мирную, хотя и непонятную беседу родителей, видеть покой на их лицах. Чудо как хорошо!

Шуршат голоса у параши, а камера спит. Сопит. храпит, стонет, бормочет, заходится кашлем. Время от времени — хрипая, приглушённая команда: "Давай на правый!" или "Давай на левый!" Весь устланный телами пол приходит в движение, извивается, шевелится, как куча червей. Лежат впритирку, нога к ноге, голова к голове, как молодожёны в супружеской постели.

Если меня не остановить, я о параше часами могу рассказывать. Ни красоты, ни изящества форм у нашей посудыны не замечалось. Наблюдать её в действии и выносить тоже радости мало. Но если я не скажу, что была она для нас благом великим, то будет это непростительно и несправедливо. Уж мы-то это поняли, когда в недобрый час лишились её. А пока переменю пластинку.

Удивительную личность встретил я в нашей камере. Собственно говоря, удивительной выглядела она в камере. Встреть я её где-нибудь в Ворзеле, Пуше-Водице или на берегах Крымских, то и внимания бы не обратил. Но здесь!

Уставился я на неё — оторваться не мог. До неприличия. Словно инопланетянина, из космоса прилетевшего, рассматривал. Представьте, лежит передо мной, на том же нашем, цементном, полу человек. Меня Бог ростом обидел, а его ещё больше, вовсе коротышка. И личико у него соответственное, всего недобор: носик — маленький, пуговичкой, ротик — детский и губки — пухленькие, глазки — тёмные, под крутым гладким лобиком и бровями посеребрёнными. По одному только этому серебру и можно понять, что если и есть молодость, то уже далеко не первая.

Но дело не в том. Не в носике, не в бровях и не в возрасте его. Не этим поразил он меня и к месту приковал. Там, где лежал этот человек, не было тюрьмы! Он, как Хома Брут, был ограждён начертанным на полу кругом от действия нечистых сил. Здесь был заповедник вольного мира. Очаг домашнего мирного уюта.

А как был одет, этот удивительный человек! Какая на нём была чистенькая, отглаженная, полосатая пижама! Самая модная! И тубетеечка на голове среднеазиатская, золотом расшитая. А на ногах — носочки светлые, в клетку, и шлёпанцы. Мякенькие и пёстрые.

Мы, в большинстве, на голом полу. В лучшем случае, на какой-нибудь тряпке устраивались. А у моего инопланетяни-

на — подушка, подстилка вроде коврика или полотенца купального, пушистого. И лежал он тоже не по-здешнему. Вкусно лежал. Руки за головой, глаза — в потолок, и такая во всём теле безмятежность, такая умиротворённость, что сердце сжимается от тоски.

Хорошо, что здесь тюрьма. Просто всё. В другом месте не посмел бы я, а тут запросто. Подошёл и познакомился. Имя теперь позабыл. Помню, что с Владимиром оно было, но звали его так или отчество такое, не скажу. Зато фамилию знаю верно. Петербургский его фамилия. Многие он мне о себе рассказал. Что по профессии — адвокат, что тут же, в Лукьяновке, находятся его жена и сын, что скоро уже год, как здесь. Я слушал его, и глаза у меня на лоб полезли. Как он так может? Какое спокойствие, какая спартанская выдержка! Вся жизнь вдребезги! Всё погибло! Нет сына, нет жены, сам тут валяется, и при всём том... пижамка, тюбетечка, коврик... И впрямь из другого он мира!

Так оно и было. Пришёл он из другой, не известной мне жизни. Не то чтобы совсем неизвестной. Слышал о ней, читал кое-что, и не так уж мало и читал. Но читать и слышать, даже если и много, ещё не значит понять. Не знал я жизни этих людей. Завидовал, восхищался ими, а не знал. Святыми они мне представлялись, по молодости лет. И вот встретил. Он действительно состоял в адвокатах. Но так, между прочим. А по-настоящему был он профессиональным революционером. Подпольщиком. Вот кем был.

— Я вас буду называть просто Дончиком, если не возражаете, — сказал он, когда я присел возле него. У меня, конечно, возражений не было. — Так вот, Дончик, третий раз я в эту камеру попадаю. Не удивляйтесь. Всё очень просто. Я сидел здесь в пятом, потом в восемнадцатом, при Деникине, и вот теперь, с вами.

— Как же вам удавалось каждый раз в одну камеру? Возможно ли такое?

Он широко улыбнулся, обнажив сверкающий ряд стальных зубов.

— Не верите, конечно? Понимаю. Вы ведь, кроме этого, — он глазами обвёл камеру, — ничего не видели. А всё очень просто. Я одиннадцатую ещё при царе облюбовал. Она и тогда этот номер имела. Но при царе и Деникине политических в камерах не запирали. Запирался весь коридор, а там — живи где хочешь! На сей раз уж и не знаю как. Случайность. Не скажу, чтобы счастливая. Теперь всюду од-

но и то же! — он сделал безнадежный взмах рукой. Эх, да что вы знаете! Разве было тогда хоть мало-мальски похоже на это? В камере нас было шесть человек. Понимаете? Шесть! Шесть кроватей, шесть матрасов, шесть табуреток, а посередине — стол. Там, в углу, — бачок, кружки. И уж, конечно, никаких параш. Туалетом и умывальней пользовались без ограничений. Ого, мы бы им показали, если бы вздумали нам свои порядки устанавливать! — Голос его уже сточился, когда он произнёс эти последние слова. — А третья камера была отведена для собраний. В ней мы все собирались, диспуты устраивали, праздники отмечали. А какие бывали дискуссии, споры, сражения! Ух, как сражались! Чуть до драки не доходило, с большевиками особенно. Я ведь был социал-революционером, эсером, как принято нас называть.

Лучше бы он себе язык откусил! Я так уже к нему расположился, а он, оказывается, эсер! Живой эсер! Это же надо! Настоящего эсера увидеть! А я уже сомневаться начал насчёт здешнего народа. И вот, пожалуйста, — эсер! Какие тут сомнения? Он-то уж точно враг! Враг партии, враг Ленина. Молчал бы уж!

Но Петербургский не молчал.

— Я вас понимаю, — угадав мои чувства, сказал он с улыбкой и потрепал меня по плечу. — В вашем представлении эсеры — чудовища, террористы, оппортунисты и предатели. А я чувствую за собой и за нашей партией только одну вину. Мы не сумели остановиться в Феврале и допустили Октябрь. Вот что непростительно. Придёт время, и вы ещё поймёте. Февраль нёс свободу, Октябрь — рабство, вечную неволю и всё, что теперь, вот этот кошмар. — Лицо его потеряло свою мягкость и улыбчивость. Теперь это было лицо воина. — Ладно, Дончик, не стоит об этом, — он снова заулыбался. — Я уже давно не эсер и не борец. Посадили меня зря. Никакой опасности я для них теперь не представляю. Всё в прошлом. Время политических боёв ушло безвозвратно. Не только для нас, стариков. И для молодых. И вообще. По крайней мере, на многие десятилетия.

Я слушал и молчал. Не скажу, что его слова проходили мимо. Кое-что попадало в цель и волновало. Но сдвинуть, расшатать мои убеждения было не просто. Я был советским. Безоговорочно. Даже в своих сомнениях. Их я тоже решал с, так сказать, "наших" позиций. Как в судебной практике:

всякое сомнение решается в пользу обвиняемого. Вот и я так.

Но я, как всегда, заболтался. Речь о параше шла, а я вон куда вывернул. Не случайно, конечно. Ведь и о Петербургском я рассказал, поскольку быт наш камерный описывал. Любопытно было от него узнать, что наша "одиннадцатая" шестиместной считалась. Теперь мест никто не считал. Не царское время.

Но беда не в том, сто или сто двадцать голов в камере. Вся штука в последствиях, которые отсюда вытекали. Таких камер на весь наш корпус было по меньшей мере десятков шесть, а число заключённых измерялось уже пятизначными цифрами. Тысячи! И всех, хоть как, а надо обслужить! Пайку хлебную и сахарок выдать, две баланды сварить и раздать, и кипяток тоже дважды в сутки устроить. Но это всё чепуха. Дело нехитрое. А вот этакую ораву через туалет с умывалкой пропустить? Почтише крокодиловой дилеммы задача получается.

Скажу честно, я на тюрьму нашу не в обиде. Ну не так, чтобы все наши тюремщики были ангелами, но и не чета энкаведешникам или зелёноголовым, что эшелоны конвоировали. С собаками. Обыкновенные штурпаки. И начальство, полагаю, хотело как лучше. Но что им было делать? Неразрешимая стояла перед ними задача. Вроде тех уравнений, не помню уже, какой степени, над которыми Галуа голову свою гениальную ломал. А то ещё и почище.

Кто может определить, сколько надо времени, чтобы пропустить, скажем, сто человек через шесть очков и четыре умывальника?

Вот и решили, отчаявшись, не мудрить. А просто: одна камера — один час. Выходит двенадцать камер — двенадцать часов. Это на один заход. Только на один! Соответственно и график составлен.

И вот. В три часа пополудни гремят ключи и — настезь дверь.

— Давай на оправку! Пошевеливайся! Давай, не задерживайся!

Пол оживает, шевелится, поднимаются, по-змеиному раскачиваясь, людские головы. Продираются закившие веки. Нет желающих! Падают головы, смыкаются глаза. К чертям! Спать, спать, спать... Дверь закрывается. Надзирателю всё равно. Так даже лучше. Меньше хлопот.

А утром уже разговор другой. Кто посмелее, атакует дверь. Дело это рискованное. ТАМ таких вещей не любят.

— Когда на opravку? Ведите в туалет! На opravку! — гудит уже вся камера.

Надзиратель открывает дверь. Лицо его ничего не выражает и неподвижно, как у гипсового кота. Вроде он ничего не слышал.

— Получай хлеб, принимай чай, не задерживай!

— На opravку когда? — вопит камера. — Ведите в туалет!

— Хлеб, чай, говорю, забирай! На opravку надо было идти, как звал. Теперь дожидаете очереди. А невольготу, параша на что?

Не хотим мы на парашу. Ночью, куда ни шло, а теперь, при всём честном народе... Но деваться некуда. К полудню у параша очередь. Тут уж чиниться не приходится.

А в туалет выпадает нам идти к вечеру. Верно я говорил, что начальство как лучше хотело. По справедливости. Коль скоро "одиннадцатая" ходила ночью, дадим ей покой. Пусть теперь другие. И правильно же рассуждают! А мы, побывав в туалете вечером, ещё до семи, ждём ночи. Ан нет, справедливость торжествует. Теперь других растолкают среди ночи, а мы поспим без помех. Но нам не до сна. Мы ждём. Ох, как ждём! До самого полудня нам ждать. А кто может такое! Живые ведь люди, как о продавцах у нас говорят, когда они чёрт знает где шляются вместо того, чтобы у прилавка стоять.

Случалось мне — и не раз — об этом рассказывать. Очень все слушатели мои близко к сердцу принимали. "Ужас, ужас, — содрогаются они, — как вы всё это вынесли! Это же кошмар! Ничего страшнее и вообразить невозможно!"

Так и есть. Ужас и кошмар. И, действительно, вообразить что-нибудь пострашнее трудно. Но мы-то видели и пострашнее, когда новый начальник тюрьмы решил и вовсе параша из камер убрать. И опять, думаю, не со зла. Я всегда хочу о людях думать хорошо. Просто новичком он был. Опыта не имел. Сунулся в камеру, как я в своё время, отнял у него дыхание, а может быть, и похуже с ним что-нибудь приключилось, вот и решил: лучше без параша, и — дышать, чем с нею и — задохнуться.

Как в Ветхом Завете сказано? Стон и вопли вознеслись над землёй Египетской! Десять казней описано в Вечной книге. Мы узнали одиннадцатую.

График туалетный остался прежним. И мы тоже. Всё прежнее, только параша в камере уже не было. А жизнь продолжалась. Шёл непрерывный обмен веществ. Из среды — в организм, из организма — в среду. Пошли в ход калоши, туфли, полотенца, всё, что под рукой было. Своё и чужое. Если попадалось. А бывало, что и не попадалось. На пол ступить стало невозможно. В туалете теперь, когда до него дорывались, все дела побоку. Стирка, мойка, чистка и всё в спешке лихорадочной, всё на бегу, да в страхе. А камера во что превратилась! Рад бы описать, да слов таких, какие для этого нужны, не знаю. А, может быть, и нет таких слов. Не придумали. Не нужно было придумывать.

Хватит! Не хочу больше. Ни писать, ни в воспоминаниях этих копаться. Лучше уж о вещах приятных, а поскольку я обмен веществ затронул, то можно и о второй его стороне побеседовать. О той, где организм из среды вещества получает. И мы, естественно, тоже их получали. Иначе никакой бы обмен не состоялся, а значит, и сама жизнь тоже. Не было бы жизни.

Итак, получали мы прежде всего хлеб. Обыкновенного чёрного кирпича полагалось нам четыреста граммов. К нему — приварок. Две баланды и два раза чай. Ну, не чай, так кипяток. К нему — песок сахарный. Норма наша очень разумно была установлена. Ни мерить, ни взвешивать. Спичечный коробок. Насыпал полненький, вот и норма. Очень удобно. Никаких претензий и недоразумений при делёжке сахара не бывало. Сахар есть сахар. Нет, чтобы гуще или слаще. Самое милое дело — сахар делить! Зато уж баланда! Ух, эта баланда! Я готов тысячу раз сахар делить! Клянусь! Лучше это, чем один раз с черпаком у бачка встать. Сколько крови она нам стоила — раздача баланды! Придётся ей несколько строк посвятить, без них ничего не понять. Баланда не сахар, который всегда один от самого сотворения мира. У нас была она двух сортов. Одна — чечевичная. За одну миску такой похлёбки, как известно, Исав своё первородство отдал. У нас, если бы имели мы это первородство, тоже бы немало охотников нашлось на миску баланды его махнуть! Ну, а вторая — попроще, и более современная. Со звёздочками макаронными. Ни самой чечевицы, ни звёздочек, полагаю, никто и в глаза не видел. Но слух был, а без

огня, принято считать, дым не получается. Факт, что различали баланды — по цвету. Чечевичная — чёрная, а звёздочная — светлая.

И не было бы ничего проще, чем такую юшку по мискам разбросать, да просто не выходило. В Клондайке тоже не просто было участки делить. С виду — земля и земля. А на одном участке копнёшь — пустой песок. Мусор. А на другом — самородки или цельная жила золотая. Вот и дели! Точно такая с баландой у нас история. В одном черпаке — лишь порода пустая. В другом, глядишь, — самородки сверкают. Не золотые, конечно, — кому они были нужны, а натурально — картофельные.

Как тут страсти унять, когда в черпаке сверкнёт самородком беленький, гладенький, как камешек морской, кусочек? Две сотни глаза в него впиваются и томными взглядами, точно покойника, провожают.

В конце концов, разрубили мы этот узел. Решили так. Вылавливает наш раздатчик и берёт на счёт все самородки. Сегодня их, к примеру, всего двадцать. Мелочь, размером с фасолину, и меньше, пускаем на самотёк. Уж как выпадет. Кому повезёт. Места у всех, в принципе, постоянные. Так по порядку номеров и идёт. Решают, по два, значит, десять душ уносят свою долю. Всё по справедливости. И так каждый раз. Очередь сохраняется твёрдо. Раньше или позже, твоя доля — за тобой. Полная гарантия. Как в сберкассе.

С хлебом проще. Не так, как с сахаром, но без особых трудностей. Здесь есть устоявшаяся традиция. Многолетняя и проверенная. Сложилась в уголовной среде, но, пересаженная на новую почву, если и не расцвела, то произрастала вполне благополучно.

Мне с уголовниками сидеть не пришлось. Как было у них, не знаю. А у нас так: собирается народ в круг, в центре его — раздатчик. Глаза его повязаны полотенцем. Живая богиня, только без весов. Они здесь ни к чему. Перед ним на какой-нибудь подстилке — хлебные пайки. Навалом. Кладёт он руку на пайку, вслепую, а очередной — подходи и бери. Теперь уж, кому что пошлёт судьба. Но, что ни пошлёт, всё равно. Главное, чтобы справедливо. А послать может разное. Что одна пайка на грамм-другой меньше или больше — мелочь. "Сегодня — как в опере поётся — ты, а завтра я!" Нет, не в граммах соль. Везунчик тот, кому наборная пайка выпадет. Непонятно? Сейчас объясню.

Пайки наши из кирпичика готовятся. Сперва его — пополам, вдоль режут. Каждая половинка, следовательно, — полкило. Много, значит, против положенного. Вот этот излишек и отсекают, а из таких горбушек законную пайку монтируют. Протыкают их, как шашлыки шампуром, и — готово. Цельная вещь получается. Шампуром палочка сосновая служит. Вот и выходит: все выгоды в такой пайке. Во-первых, горбушечки, а во-вторых — палочка!

Сто способов есть в дело её пустить! Уж до чего зеки — народ изобретательный! До чего смекалистый! Словно здесь одни эдиссоны и кулибины собраны. А какие искусники! Какие чудеса проделывают! Уж на что я! В подмётки им не гожусь. А всё же. Наловчился иголки, и весьма недурные, из щётки зубной изготовлять. Из той части, где щетина в дырочки вделана. Конечно, из ручки было бы поспособнее, да не попадали к нам ручки. Обламывали их, чтобы, не дай бог, нам не достались. Как-никак — оружие! И верно они рассуждали. Наши эдиссоны не то что ножи, пистолеты ухитрились бы из этих ручек соорудить.

Я о себе так скажу. Не из тех я весельчаков, которые по каждому поводу или даже и без повода зубы скалят и хохочут в голос. Есть такие. Но я оптимист. Всё вокруг в добром свете вижу. И жизнь нашу, не слишком весёлую, стараюсь без ненужных трагических ноток изобразить. Не люблю драматизации, не люблю страх нагонять. Но ведь не все так! Прочтёт иной или иная и станет охать и ахать. До чего же людей довели! Щётки зубные и те не могли уже по-человечески выдать! А туалетные дела так и вспоминать не хочется. Очень уж страшно. И получается так, вроде бы ничего хорошего в жизни нашей не было.

Неверно это. Не бывает, чтобы всё было плохо. Просто сами понятия — "хорошо" и "плохо" — изменяются. Чего стоят наши радости там, на воле? Да ничего не стоят. Их там и не заметит никто, пройдёт мимо и не взглянет. А для нас они, как звёзды в ненастную ночь. И не так их и мало! Пришла очередь на картошку в баланде — звёздочка! В баньку нам время подходит — ещё одна! Окурочек на прогулке подобрал порядочный — ещё! Да мало ли их у нас? Не сосчитать! Я нарочно самые ерундовые из удач наших для примера подобрал. Потому что были и такие, которые советно даже звёздочками назвать. Созвездия! Так уже вернее будет. А среди всех звёзд и созвездий, среди всех радостей всего ярче — *лавочка*! Прибавить к этому слову мне нечего.

Просто лавочка в самом прямом значении этого слова. Нет, не в смысле скамейка. Торговая точка имеется в виду. Коро-че, лавочка.

Мы как тот кот. Ест ли он, спит ли, просто на солнышке нежится, а уши — на макушке.

Что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, а мысль о лавочке всегда тут, рядом.

— Лавочка вчера на седьмом была, — только перешагнув порог, сообщает прибывший с допроса. — Была такая параша! Ребята на вокзале говорили.

Минута, и весть уже обошла всех. Всю сотню. Точно я про кота! Ночь ведь, только что дрыхли без памяти, а вот — как ваньки-встаньки — сплошь головы торчат. Повскакали. Галдёж стоит, страшное дело. Сами орут, и сами же "ша", "ша" кричат. И дошакались.

— Шо за бардак! Чего повскакали! — шумит, распахнув дверь, штурпак. — А ну, мать вашу, шоб зараз тихо було! Прогулка набрыдла? Дак можно и без ней, туды вашу мать!

Пронесло, слава тебе, господи! Был миг, когда мы словно над бездной повисли. Но пронесло. Выкарабкались.

У параша собираются наши мудрецы. У них трезвые, аналитические и изворотливые умы. Как у талмудистов или античных философов. Казалось бы, что произошло? Плюнуть и растереть! Подумаешь! Штурпак нашумел! Первый раз нам?

Но они видят дальше и глубже. Взвешивают каждое слово, сопоставляют, чуть не на язык пробуют. Затем следуют выводы.

— Значит, братцы, дело так обстоит, — вещают они. — Лавочку ждать, выходит, рано. Была бы она на подходе, не стал бы штурпак прогулкой угрожать. Он бы нас лавочкой пугнул. Ан нет, о лавочке — ни-ни! Значит, до лавочки ещё далеко. Не знаю, что там на вокзале за трёп был. Но, считайте, что повезло нам. За галдёж среди ночи вполне могли и лавочки лишить. И чего хай такой поднимать? Забыли, где находитесь?

Не забыли. Все помним. Но и нас понять можно. Что может быть для нас страшнее, чем лишение лавочки? Да ничего. Это конец. Катастрофа. Крушение. Случалось с нами такое. И не раз. Знаем, что при этом бывает. Курцы остаются без табака. И некурящим — тоже туго приходится. Табак для них — валюта. На него что хочешь сменять можно. Совсем иной климат в камере, когда в сидерах и хлебина, и са-

харок — сверхпайковые, и маргарина брусочек стограммовый, и фрукты наши тюремные — лучок да чесночок. О такой дребедени, как мыло, порошок зубной и щётки, хоть и без ручек, и говорить не стоит. Дребедень, конечно, но и без них, без порошка и щёток, трудно приходится. Сырьё ведь! Вся промышленность наша буксовать начинает. В общем, худо! Без лишних слов понять можно.

Вот так, в ожидании, и живём, как тот кот.

Ну и надо нам было себя мордовать? Пупки надрывать и души томить? Здесь лавочка! Здесь родимая! Вот она! Ликуй, народ! Поёт лавочка в полный голос! Шаркают коты, перекликаются штурпаки с урками-лавочными, скрипят и шерудят по полу корзины. Ну, братва, держись!

Дверь, словно от взрыва, — тр-р-р-рах, и об косяк! Настежь! Двое уголовников, в белых халатах, с красными, бычьими шеями и такими же физиономиями, втаскивают корзины. Со лбов струится пот. Корзины, как телеги. Если бы не такие буйволы, с места бы их не сдвинуть.

А в народе нашем — брожение. Одни вперёд рвутся. Все норовят хоть одним глазком в корзину заглянуть. И вообще ощутить её согревающую близость. Это натуры страстные, горячие и легкомысленные. Другие, напротив. Сдержанны, холодны и рассудочны. Они десять раз отмерят и не отрежут. Знают, что от близости, к которой иные стремятся, ничего хорошего не бывает. Одни неприятности. Сколько уж раз так: рывкнет штурпак, и всё. Считай, судья! Нокдаун, в лучшем случае.

— Чего лезешь? — заорёт. — Порядка, бля, не знаешь? — И лавочнику: — Вот этому, губатому (или носатому, или пузатому) — не давай! Нехай, ядрёна мать, ждёт, как все пройдут. Слышь?

Так с горячими нередко бывает. Всем праздник, а им — хоть голову пеплом посыпай. Представляете, какое после этого настроение! Жуть! Подумать страшно! А последнему, между прочим, иной раз и не хватит чего-нибудь. И жаловаться некому. Да если бы и было кому, то дурное это дело — жаловаться.

Нет, лучше подальше да потише. В нашем заведении высовываться, на глаза лезть одно дурачье позволяет себе.

А торговля уже идёт полным ходом. И быстро. Раз, два, и отваливай!

Главное, что никакой возни с деньгами. Нет у нас личности. Мы по безличному расчёту все дела ведём. Ка-

питалы наши — в банке. И у иных — немалые. У некоторых даже очень и очень.

Наш доход — ежемесячные переводы из дома. Разрешено по пятьдесят рублей. Посидит человек год или того более, вот и капитал. Правда, проценты нам не положены. Но хватает и без процентов. Весь расход — лавочка. А там — мы бы рады больше — выходит шесть-семь целковых за раз. За один паёк. Вот и есть среди нас такие, что счета имеют по тысяче, две и больше. Бывает, что сразу при аресте, не зная, что к чему, иной все деньги, какие в доме имелись, с собой прихватывает. И растёт такой капитал, в месяц по полусотне прибавляя. Так что бедняки среди нас так же редки, как должжителы.

Если человек не завистлив и умеет чужому счастью порадоваться — такие, правда, тоже не чаще должжителы встречаются — им надо на лица тех, что от лавочки отвалились, взглянуть. Ах, какие у них лица! Как у влюблённых, которые "да" из дорогих уст услышали после долгих и мучительных сомнений.

Не зря мы столько маялись. Лавочка на сей раз — люкс! Первый раз такое видим. Подумать только — кирпич белый! Мы уже и в снах давно его не видели! И это ещё не всё. Лук и чеснок без ограничений! В уме не укладывается, чтобы вообще что-нибудь у нас без ограничений. Нам, если бы болячки давали, то и их — по норме, а тут — лук да чеснок! Народ головы потерял. Страшное дело — жадность! Были такие, что, простите, подштанники с себя снимали, каждую штанину тесёмочкой перехватили, ширинку тоже запечатали и до самого пояса фруктами заполнили. В левую — чеснок, в правую — лук. А может быть, наоборот. Чёрт его знает! Не в этом дело. Потом ещё это получучело к стенке прислонили. Жуткое получилось зрелище. Ночью, наверное, можно бы и поседеть, глядя на него. Но у нас, к счастью, ночи не было. Огонь вечный горел.

Всё прочее, как обычно. Маргарина — сто, сахара — двести и табака — две пачки. Ну и, конечно, парфюмерия. Ах, какое мыло продаётся в тюремной лавке! Вот бы увидели там, на миру! Кто бы после этого поверил, что мы тут не в масле катаемся? Великолепные, гладенькие и блестящие куски, точно из слоновой кости выточенные. А какой букет! Какой аромат! Его даже наш смертоносный газ истребить не в силах. Пробивается сквозь него, как нежный росток сквозь асфальт.

Мы забираем в лавке всё, что можно забрать. Всё пригодится. Мыло, зубные щётки и зубной порошок. И в немалом количестве. Обеспечиваемся надолго, чтобы в будущем никаких срывов. Наша промышленность должна работать бесперебойно. Её изделия живут недолго. Опасности ждут их на каждом шагу, как неоперившихся цыплят. Чуть недоглядели, и — готово. То растоптали, то кошка или ворона, и — нет птички. А у нас хоть гляди, хоть глаза закрой. Приходит недобрый час, и летит ко всем чертям наше добро. Начинай всё сначала.

ГЛАВА 12

МЫ РАЗОБЛАЧАЕМ ШПИОНА

Рассказывать, что испытывает человек, долгий час простоявший в очереди, но добывший всё, о чём мечтал, не стоит. Все мы советские люди. Вот и я, наконец, плетусь в свой закуток. Плетусь, как эквилибрист на эстрадных подмостках. И ничего удивительного. Под мышкой — хлеб. За пазухой — лук и чеснок. Такая из них гора получилась, что, будь она на спине, вполне за горбуна или верблюда мог сойти. В карманах чего только ни напихано! И сахар, и маргарин, и мыло, и всё прочее, что положено. И всё бы ничего, если бы не табак. Его на ладонях, покрытых платком, впереди себя, как сосуд хрустальный, да полный до краёв, несу. И тут мы из-за штучек их дурацких страдаем. Бояться, чтобы клочок бумаги к нам в руки попал. Мания у них. Ну, чего они боятся? Что мы с этим клочком сделать можем? Воззвания или протесты писать? Жалобы на высочайшее имя? Дурость одна. Вот и несу свой табак на обеих пятернях. Лавочник даже в сторону твою не глядит. Бросил костяшки на счётах, достал пачку и высыпал табак. Хорошо, если ты успел подставить что-нибудь. А не подставил, ползай, как червь, у его ног да подбирай с пола. И зло душит, и потери немалые. У нас каждая табачина на учёте. Потом, конечно, не в такой звёздный день, как сегодняшний.

На бумагу — запрет смертельный. Можно, при желании, в удобный момент ухитриться и стянуть пачку порожнюю. Да смысла нет. Стоит дорого. Найдут, милости не жди.

А табачок пристроить надо. Положил я его на пол, сижу над ним, как наседка, и конца этому сидению не вижу. А

помочь некому. Не один я в таком дурацком положении. Вон, сколько их, наседок, порасселось!

Голова пухнет, а ничего не придумаю. Хоть плач. Ну не сидеть же мне над ним до скончания века, как идиоту? И сколько ни мудри, а без сидера не обойтись. А где его взять? Конечно, пошить торбину — ничего нет проще. Да из чего её пошьёшь? И так уж я полполотенца на сидер пустил. Из собственной шерсти вязать, так и шерсти нет. Всю, где бы ни была, обчикали. Я же не Робинзон какой-нибудь, Крузо! Он в таком положении посеял бы коноплю — за семенами остановки не было, с корабля своего чего только ни понатаскал! — потом выучился бы прясть, ткать и так потихоньку добрался бы и до главного. Сшил бы себе сидерок. Все условия у него были. И покой, и время. Ну и характер, конечно. Любил это дело. Вкалывать.

Не знаю я, чего делать буду. Одно утешение: друзья мои — Андрей, Борис и Жора — ту же задачу решают. Пока ничего не изобрели. Думают. Всё-таки если столько голов, то можно надеяться.

И вдруг словно кипятком меня ошпарило, вскакиваю. Ёлки-палки, какая идея! Всё-таки не самая плохая у меня голова. Господи, какая идея!

— Ну, братцы, — кричу, — кончай базар! За работу! Вам надо сидеров, есть у нас! По два на нос. Устраивает?

— Если ты на карманы рассчитываешь, так дурное это дело. Я и сам о них первым делом подумал, — пренебрежительно и уничижительно басит Жора. Он такой. Всегда рад тебе гадость подбросить, перо в чувствительное место сунуть. Ну, и я ему так, сверху вниз на него глядя... и, получается, поскольку я стою, он у ног моих валяется.

— Точно, карманы — дурное дело. Только тебе и могла такая чушь в голову забраться, — говорю, а Жора на глазах меняется, темнеет. Он вообще чёрный, как цыган, и в тех случаях, когда порядочные люди краснеют, Георгий из цыгана в эфиопа превращается. Вот и сейчас так.

— Пониже надо было целиться, Георгий Георгиевич, в самое яблочко и угодили бы, — цежу я с мефистофельской усмешкой. Меня тоже тянет на гадость. Зло разбирает.

— Ты о чём это, штаны укорачивать придумал? Давай, давай! А мы на тебя полюбуемся.

— Хватит, — говорю. — Даю идею. Сидера шьём из подколенного шёлка! Как вам такая мыслишка? Годится?

Никто ещё не успел звука издать, а Жора уже подскочил. То лежал, да так, как один адвокат наш умел, а теперь уселся, и лицо чернее эфиопского сделалось.

— Какой-такой шёлк? Чего мелешь? Что значит — подколенный? Со стороны задницы, надо понимать? Где ты в брюках на заднице шёлк видел?

Леший его знает, чего он так разъярился! Есть на заднице шёлк, нет его, чего так психовать? Тем более, что его задница в полной безопасности у него, ни там, ни в другом месте шёлка нет. Был бы, не стал бы он так расстраиваться.

Теперь уже Борис с Андреем вмешались.

— Ты чего, Георгий, в бутылку лезешь? Шёлка никогда в брюках не видел? А если не видел, чего на человека бросаться?

Тут Жора совсем озверел. Даже морда его чёрная перекосилась. Рот — сбоку, как у камбалы.

— Что вы... вашу мать... из меня болвана делаете? Развели трёп про какой-то шёлк! Кой хер будет зря шёлк в штаны совать? Идите вы все...

Нам к мату не привыкать, но так у него всё мерзко вышло, что мы только молча переглянулись. А ведь сами его в наш кружок зазвали. Чем-то он нас всех покори́л.

Я знал, чем. Я первый с ним познакомился, ещё на вокзале. Как на грех подобрался в тот день народ какой-то тёмный и злой. Словом не с кем было переброситься. А тут Георгий. Стоит у стенки, и — улыбка на губах, зазывная, как у девиц с Николаевской. Но не улыбкой он меня взял, хотя улыбка — первое дело между людьми. Она весь хоровод людской направляет. Не знаю даже, возможен ли вообще прогресс, без улыбки. И всё же... с Георгием тогда не в ней было дело. Просто, не разобравшись, я его за соплеменника своего принял. Очень он на такого смахивал — по черноте своей и мягкости особой в глазах. Потом уже, и не очень скоро, понял я, как обмишулился, но — поздно. Ввёл я его в наш круг, а его, круг этот, уважали. И Георгия заодно. Теперь же мы окончательно убедились — не стоило... ни в круг его вводить, ни уважать. Не стоил он того.

Выяснять отношения не стали. Молча сбрасываем брюки и зубами да ногтями спарываем ткань. В одном прав был Георгий. У Андрея шёлка не оказалось. Сатином были его брюки подбиты. Но у нас с Борисом — натуральный, скользкий, как линь, сверкающий шёлк. Наши портные, видимо, были разрядом повыше, поавантажнее. Престижность была у

них, зато сидер у Андрея — не сравнить с моим или Борисовым. Надёжная получилось вещичка. Такая не подведёт, хоть камни в ней носи.

Я бы мог при желании Жорке в нос ткнуть свой сидер. И надо бы, вполне он заслужил. Но не было у меня такого желания. Терпеть не могу, когда поспорят люди, а потом выигравший над побеждённым изгаляется. Презираю таких. Побеждённому и без того хватает. Каково сейчас Георгию? Догадаться нетрудно. Он, когда нас обложил в три этажа, сразу и завалился. Отвернулся, вроде спит. Прикидывался, конечно. Какой тут сон? Я по спине и по ушам — они у него, как ручки у самовара, — видел, что он не спит. Ну, да бог с ним! Вот только никак не пойму, чего он так расходился. Дался ему этот шёлк! Вообще-то странно, что не знает. У нас пацаны, которым в первый раз вместо штанишек длинные брюки шьют, уже о шёлке мечтают. А тут такое! Да ладно. Чёрт с ним! Зато сидера вышли — на большой! Это в то время высшая была похвала. Ещё говорили — "на ять". Тоже, значит, высший класс.

Пристроили мы табачок, навели порядок в своём хозяйстве, и пошёл у нас пир горой. Стол ведь какой! С чего начинать, не придумаем. Что на первое, что на второе и третье, а что — на десерт. Вполне можно было растеряться. Блюда ведь какие! Хлеб чёрный, пайковый, с луком и солью — раз! Хлеб белый, с маргарином — два. Чёрный с чесноком — три! Белый с сахарком — четыре! В общем, если бином Ньютона применить, то все возможные варианты нашего меню — перед вами. Мы, конечно, без бинома. Одна интуиция, ну и вкусы, о которых, как давно известно, не спорят.

Угломонились наконец. Нервный был денёк, но, дай бог, таких дней побольше. А нервы — как деньги. Если их не тратить, то на что они? Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Беречь, мол, надо. А я думаю, мне и тех, что останутся, хватит. Их же чёртова уйма. Миллионы!

Ночью, в самый сон, будит меня Борис. Шепчет что-то в самое ухо.

— Спишь, Дончик? — обдаёт меня чесночным духом. — Послушай, есть разговор.

— До утра не потерпишь? Спать хочу. Что за срочность?

— Нет, ты послушай. Скажу — про сон забудешь.

— Чёрт с тобой! Выкладывай, если иначе нельзя, — бормочу я, не поднимая век. Не могу свой сон побороть. Силен мужик, этот Морфей. Так просто от него не вырваться.

— Слышь, Дон, ты понял, почему Георгий так взвился с этим шёлком? И почему про него не знал?

Теперь уже никакие морфеи меня не удержат. Не то что глаза — рот открыл и вскочил бы, если бы Борис меня к полу не притиснул. Ведь сколько себе голову ломал, а с места не сдвинулся.

— А ты? Ну, давай, давай! По такому случаю прошу тебя, что поднял среди ночи. Давай, не тяни! Покороче только!

— Не торопи. Ты вдумайся. Я так себе мыслю. Про шёлк не знать могут лишь те, кто брюк порядочных не носят. А кто не носит? Дети, которые "до шестнадцати", да женщины. Женщин я только незамужних и старых дев учитываю. Все прочие, хоть сами не носят, но в штанах разбираются. Теперь соображай! Георгий не пацан и не старая дева. Что же, выходит, без штанов он ходил? Чушь ведь! Что скажешь?

— Скажу тоже, что чушь! А больше ничего не скажу. Действительно, задачка! И подступиться не знаю как. Так это всё, что ты надумал?

— Помолчи и послушай. Решил я задачу. Ответов только нет, чтоб свериться. Короче, ответ у меня такой. Не носил он брюк, иначе всё про них знал бы. Значит — не в подштанниках же он ходил — были у него брюки, но такие, что в них и места для шёлка нет. Понял?

— Ни черта, — говорю, — не понял. Не знаю, где такие брюки бывают.

— Подумай, я тебе уже немало такого сказал, что и ребёнок догадается. Ну-ну!

Он подгоняет меня, потому что видит: я подбираюсь к цели. И я таки подобрался. Словно ток через меня пробежал, по голове и сердцу промчался. Ах, чёрт! Ну и Борис! Неужто я правильно его понял? Ток, как тот дождь, что покапал и прошёл. Чепуха! Не может такого быть!

— Так как — сказать или уже дошло? — Борис спрашивает, но, вижу, хочется ему поскорее всё выложить.

— Валяй, — говорю, потому что моя догадка уже кажется мне обыкновенным бредом. Брякну, а потом стыд один получится. Пусть сам. Автор, так сказать.

— Скажу. Один только вариант тут возможен. Другого не вижу. Он никогда *штатских* брюк не носил. Понимаешь? Не носил, не шил, не покупал. Сапоги и бриджи — вот что он носил! Офицер он, наш Жора! Какой, судить не берусь. Скорее всего из разведки. А попросту говоря — шпион. Всю жизнь в сапогах. Понял теперь?

— Ну, Борис Аронович, это ты уж перебрал. Откуда здесь шпиону взяться? Да ещё из военной разведки? Таких, наверное, в другом месте держат. С ними у следствия другой разговор. Без дураков. Дело ведь серьёзное, настоящее!

Я и верю, и не верю. Честно говоря, я, когда меня ток ударил, совсем о другом подумал. Но и Борисова идея тоже с худым дном. Полкамеры у нас в шпионах ходит, а спроси у любого, в лоб спроси — "Ты шпиона видел?", он на тебя, как на идиота, вытаращится. Больше того. Я, грешным делом, думаю, что если таким вопросом наших следователей припереть к стенке, то и они, как тот щенок, что свой хвост ловит, завертятся. И, вот на тебе, Жора — шпион?!

— Чей же он шпион? На кого работает, по-твоему? — спрашиваю после изрядной паузы, когда я Борисову версию на все лады прокрутил.

— А ты подумай, рассказы его вспомни да на рожу посмотри.

Вспомнить есть что. Жора любил потрепаться. Особенно, когда народа вокруг много. Любил центральное место занять. И — чтобы все его трепнёй восхищались. Особенно нравилось ему о Ленинградской "Астории" рассказывать, где он, по его словам, служил.

Что ещё я знал о нём? Фамилию знал. Крепкая была фамилия! Массальский, не как-нибудь! Если, конечно, своя, от родителя унаследованная. При ней мог бы он и не таким чёрным быть, как баран каракульский. Борода из него пёрла — что тот антрацит. И глаза совсем по-цыгански синеватыми белками сверкали. Цыган не цыган. И на кавказца какого-нибудь тоже не тянет. Не армянин, не азербайджанец. Я его, как уже упоминал, сперва за еврея принял. Но нет. Не еврей. Чёрт его знает, кто он.

А говорил по-нашему бойко. Гладко говорил и словечки в речи проскакивали заковыристые. Культурные словечки. Видно, кое-что читал. Не одного Пинкертон и Буссенара. В общем, вполне светский человек.

Как мог такой не разбираться в мужских туалетах? О шёлке не знать? Может, и прав Борис. Нет другого объяснения.

— Борис, ты не спишь? Так кто он по-твоему?

— Румын. Румын, и никто другой. Помнишь, он что-то о Бессарабии и молдаванах трепался? Значит, румын или молдаванин, на румынской службе. Некем ему больше быть.

— Не верю я. Чепуха. Какая ещё служба! Чтобы такой трепач и — шпион? Не тянет он на шпиона. И на офицера тоже. Не та порода.

Я оставляю Бориса в покое, но не идёт у меня из головы Георгий, с его брюками и шёлком. Может, прав Борис и он таки шпион? Ну и дела! Шпион! Я видел настоящего шпиона! Не в кино, не в театре, а живьём! И не только видел, а ещё и в дружбе состоял! Подумать только! Ну, будет что рассказать товарищам и родным, когда встречусь с ними. Если встречусь.

* * *

Рассказал я о Жоре Массальском и подумал: даже будь он и впрямь шпионом, несправедливо так. О нём столько, а о Борисе — ничего. А ведь он, Борис, всего более внимания заслуживает. Первый он меня в камере возле себя приютил, и крепко мы потом с ним сдружились. Не глянулся он мне сразу. Самый себе обыкновенный толстячок. Лысоватый, с глазками выпученными и носом горбатым.

Его на допрос каждую ночь возили. Вернётся Борис в камеру и сразу набок. Накроет лицо полотенцем и лежит молча, неподвижно. Всё тело с обеих сторон — сплошной синяк багровый. А ведь ни одного слова, ни одного стога, ни одной жалобы не слышал я от него!

— Борис Аронович, — спрашиваю, — за что они вас так, чего хотят?

— Сионистом хотят сделать, — шепчет. — Это меня-то! А я коммунист! И они, сволочи, знают это. Ведь работали вместе, в их же финчасти служил.

Я, когда на волю вышел, первым делом его жену разыскал. Очень она мне понравилась. Вышла ко мне ладненькая, платье чёрное в обтяжку, без единой складки на всех округлостях. И глаза — быстрые, с огоньками, и губы — красные, без всякой помады. Пусть простит меня Бог, грешные мысли она во мне пробудила! А уж потом другие были

у меня мысли, когда она мне письма Борисовы из лагеря показывала. В трёх подряд умолял он её вкладывать в конверты... картошку жареную. Читал я эти строки и не только грешных, но и всяких других мыслей лишался. Одна лишь боль нестерпимая оставалась. Ведь и Вовка мой там!

Господи, что надо было с таким человеком, как Борис, сотворить, чтобы он такие письма стал писать? Он же безропотно всё терпел, и вот... — жареная картошка... в конверте.

* * *

Две недели, а если точно, то шестнадцать дней, ждал я своего часа. Кому не приходилось ждать? Всякий знает, какое это испытание. Чего бы ни ждал. Всё едино. Хоть хорошего ждёшь, хоть плохого — мука мученическая. И меня, конечно, не обходили такие муки. Но никогда прежде ожидание так не томило, не жгло и не иссушало, как в эти проклятые шестнадцать дней.

Вокруг меня — Содом и Гоморра. Одни лежат, словно неживые, другие стонут, прикрывая лицо руками, иные мечутся по камере, как неприкаянные, и всюду ведутся шёпотом невесёлые беседы. Обсуждают, советуются, принимают решения. Все заняты, все "при деле". А я жду. Мне обсуждать нечего. Пробовал жаловаться. Вот, мол, как страдать приходится. Сижу, а даже за что и зачем, не знаю. И не зовут. Так на меня, как на психа, смотрят. Радоваться, говорят, надо. Любой бы со мной поменялся и Бога благодарил. Следователя ему подай! Попадёт к следователю, так не то, что ждать, жить не захочет!

А я жду. Может быть, и правы они. А я всё равно к следователю хочу. Не могу уже больше. Пусть хуже, но как все.

А все — так, что в иную ночь совсем пустеет камера. Дверь только и слышно: грох, грох... Просигналят ключи — ох, как недобро они по ночам звенят!, и — в камеру, еле ноги переставляя, — штурпак. Идёт, словно лунатик, на ходу силится бумажонку свою расшифровать.

— От, не пойму, зараза, — бормочет он, не отрывая от неё прищуренных глаз. — Гох... Гохи... Теви... Тыфу, щоб ты сказывся! От нашкабают!

— Может быть, Гохман? Тевий Израилевич? — Встаёт черненький толстячок у окна, доцент медицинского

института. Отличным врачом он был. Многим, может быть, жизнь спас здесь, в камере.

— Во, вот, Гохман Те... Хрен с ним. Собирайсь на допрос. И, ось, ще, — достаёт он второй листок. — Ме... Ме... От, бля, твою мать, — взрывается бедняга, обливаясь потом.

— Есть кто на букву "жи"?

Нет у нас на букву "жи". Молчим, перебираем мысленно всех.

— Может, Межерин, гражданин надзиратель? Межерин? Нет? — Это наш музыкант подал голос. Дирижёр. И такое чудо сюда попало. Андрей его "шкелетиком" зовёт. И точно — скелет. Только что членами шевелит.

— Во, во! Говорю же, на букву "жи"! — облегчённо улыбается надзиратель. — Давай, Межерин, собирайся!

Вот так, всю ночь, одного за другим. А я, как заколдованный. Заговорённый. Как в бою бывает. Кругом пули свистят, товарищи твои падают, а ты — не задет. Нет *твоей* пули. И моей нет. Не иначе, как забыли обо мне. Я даже через надзирателя пытался напомнить о себе. Вот уж поистине простота. Не святая. Простота недоумка.

А дни идут. Мне уже перед людьми совестно. Болтаюсь, как последний бездельник. Вроде я посторонний здесь.

Настал всё-таки и мой час. Дождался.

— Дон Ильич! — странным образом, без запинки, выкликают надзиратель.

— Я, я, Генин! — кричу в ответ и вскакиваю. Ох, каким же я был дураком. Охорашиваюсь, брючонки разглаживаю, а сердце так и скачет. Не от страха, не от предчувствий дурных. От радости! Вот, дождался наконец! И на моей теперь улице праздник. Ну, что поделаешь! Щенок он и есть щенок.

Вот, таким зверьком молодым — только что не повизгиваю — следую знакомой дорогой. Хорошо иду. Человеком себя почувствовал. Со всеми на равных. Так и ёрзал на сидении в воронке: очень хотелось, чтобы спросили меня: "На допрос?" А я бы так это... спокойно-равнодушно... перед собой глядя: "Куда же ещё?" Обыкновенное, дескать, дело. Но никто, конечно, ни о чём меня не спрашивал. Так и промолчал я, в ожидании, всю дорогу, до самой междугородки, пока в кабину не попал. А там и ждать уже было нечего. Тем более, что посадили меня в кабину под номером 1. У самого входа. Слева никого и справа тоже.

Жду недолго. К темноте ещё не привык, осмотреться не успел, и готово: "Руки назад! Давай!" И пошли.

Пошли и пришли. Вот, значит, где главное действие будет разворачиваться. Комната как комната. Ничего зловещего не замечаю. Длинная и узкая. Напротив двери, где я стою, окно. У окна — стол. Лампа на нём с абажуром зелёным. За столом человек сидит. В штатском. Возле меня у стенок — столик низенький, вроде журнального. И табуретка в том же стиле. Коротконогая.

Я себе стою, а он себе сидит. Пишет что-то и время от времени на меня поглядывает. Как поглядывает, не знаю. Далеко, глаз не вижу. Вот бы очки мне сейчас! Но где их взять?

Наконец поднимается, выходит из-за стола и идёт ко мне. Стал передо мной, близенько, близенько. Вот теперь я могу его рассмотреть, как следует.

Рассмотрел и ахнул. Не вслух, конечно. Но всё равно ахнул. Еврей! Самый что ни на есть еврей! Со всеми классическими признаками. Чернявый и кучерявый. И нос соответствующий. Ну, повезло мне! Теперь не так уж страшно. Всё-таки не чужой. Наш, как говорится, человек. С ним как-нибудь поладим.

— Садись! — командует он, да таким голосом, что бодрые мои мысли разлетаются вмиг. — Вот, значит, ты какой, сволочь недобитая! — Он осматривает меня, как цыган коня на ярмарке. Только в рот разве что остаётся заглянуть.

— Так вот, — закончив осмотр, продолжает он. — Моя фамилия Меерзон. Капитан Меерзон. Слыхал?

— Нет, — говорю, — не слыхал. — И, правда, в Лукьяновке не называл никто этой фамилии. О многих следователях слышал, об иных — легенды ходили, до того зверствовали. А о Меерзоне не приходилось.

— Значит, на хер годится ваша параша. Кое-кто меня у вас знает. И ты узнаешь, раз уж мне попался. Ты, если не ошибаюсь, студент, биолог? Крысам и крольчихам в зад заглядывал? Значит, грамотный? — Он про крольчих иначе, но мне и так уж совестно, сколько мусора в моём рассказе!

— Грамота в нашей конторе — первое дело. Вот тебе бумага, вот карандаш, давай за работу. Садись и пиши. — Он положил на столик стопку бумаги и отлично заточенный фаберовский карандаш. — Вот, все тебе условия. Трудись! — Он снова усаживается за свой стол и углубляется в изучение каких-то бумаг.

Я тоже сажусь на мой детский стульчик и верчу в руках карандаш, как школьник, не выучивший урока. Не знаю, что писать. Что от меня требуется? Он же мне ни слова не сказал! Пиши, трудись! Чёрт его знает, чего он от меня хочет! Слово бы одно хоть сказал! Идиотское положение. Пиши то, не знаю, что.

— Ты почему не пишешь? — отрывается он от своих бумаг. — Тебя что, просить надо?

— Не понял я, гражданин следователь, — говорю, — что писать. Я думал, вы мне скажете.

Следователь раздражается деланным, недобрым хохотом.

— Он думал! Не понял! Чего же ты... твою мать, не понял? И чему вас только в вашем университете учат? Что ж тут понимать? Тебя за что ко мне привели? За контрреволюционную деятельность? Вот о ней и пиши! Всё по порядку. Начал как и когда. И с кем работал против советской власти, руководил кто, а главное — факты! Теперь понял?

Ничего я не понял. Оцепенел. Кожа на голове онемела под волосами, и в животе что-то нехорошее сделалось. Враз взмок, снизу доверху.

Вот, значит, в чём меня обвиняют! Контрреволюционная деятельность! Выходит — 54-я! Кое-чему я уже научился. Малость разбирался в таких делах. Но какая же у меня деятельность? Что брат сидит? Так я при чём? С братом всё ясно. Боже сохрани! Я от брата не отрекаюсь! Но дело его суд рассматривал, и я к нему никакого отношения не имел. Что хлопотали, писали, так тоже вроде бы всё законно! Нет, ничего не понимаю! Кошмар какой-то!

— Так, ты писать будешь, блядьюга, или тебе... твою мать, помочь? Ты не стесняйся. Надо — помогу. Так помогу, что сразу в две руки запишешь!

Он снова за свой стол, а я... Что я? Сажу в ознобе и в мокроте. А в голове, что змеи, ядовитые мысли, одна другой страшнее. Только и жизни во мне, что держусь, не падаю.

— Не пишешь? Помощь нужна? — доносится до меня. Глухо так доносится, словно из дали далёкой. — Сейчас помогу, раз надо. И что за народ интеллигенция ваша? Вроде образованные, а ни хрена языка русского не понимает. Вот у меня профессор ваш, учёный, ити его мать. Говорю ему, так и так, профессор, надо про вашу вражескую деятельность написать. Простым языком ему объясняю. Имена, говорю, даты нас интересуют и прочее. Ясно, кажется? Не пишет, зараза. Вытирашит зенки и молчит. Я тогда иначе. Ви-

жу, говорю ему, не понимаете вы простого языка. И как загнута в три этажа, назову как следует его, и мать его, и всех предков, начинает писать. Пишет, хоть и херню, но пишет. Что же вы, спрашиваю, профессор, только матерную речь изучали, что другой не понимаете? А ты вроде того профессора. Только по твоей учёной степени, думаю, тебе другая помощь нужна. Может, дать по заднице, чтобы стимулировать, так сказать?

Он всё болтает, болтает, а я молчу. Ни звука. Задубел. Что я ему могу сказать? Пусть бьёт. Я к этому готов. Может, в самом деле что-то изменится. Мысли, чувства новые, злость появится, покорность эта овечья и страх развеются. Всё тогда иначе пойдёт. Ну, не знаю, что писать. Даже совестно как-то. Бьётся человек, бьётся и всё без толку. Не идёт у него работа. А мне пока жаловаться не на что. Пальцем ещё не тронул. А что ругается, так чёрт с ним. Известно, лающие собаки не кусаются.

И тут зазвонил телефон. О чём там был разговор, я, конечно, не знаю, но, закончив его, Меерзон собрал со стола бумаги и сунул их в ящик.

— Ты сиди и пиши, — бросил он мне. — Я сейчас вернусь, и будет у нас разговор другой. Понял?

Час, если не больше, проторчал я в своём закутке. Чего только ни передумал, дожидаясь, а Меерзон не вернулся. Не то задумано было так, не то действительно занят был. В любом случае, выигрыш мой. А когда конвой за мной пришёл, я и вовсе духом воспрял. Теперь одна у меня дорога — домой!

Какие странные мысли рождаются здесь! Сажу я в воронке — плохо, между прочим, сажу, в душегубке — и думаю. Вот бы мне предложили на выбор, куда хочу — домой или в камеру свою? К родным или к товарищам моим несчастным? Ни минуты бы думать не стал. Камеру бы выбрал. Нет для меня теперь лучшего места. Нигде и никто меня так не поймёт, как там. Не посочувствует, и не посоветует, и не успокоит, как душа моя всполохнутая того требует.

И пожалеют меня дома, и поплачут, и советы давать станут, но всё не то. Нет, другой теперь у меня дом. Единственно нужный мне, и никакой другой его не заменит.

Вот и еду туда, в этот единственный. И всё у меня не как у людей. Вроде бы состоялось моё боевое крещение, а возвращаюсь с пустыми руками. Без дела. Как рыболов неудачливый. Ездил, потратился, корм побросал, день-деньской

на берегу проторчал, намахался до ломоты в спине, а рыба — не то что людям показать, самому смотреть гадко.

Так и я. Нет у меня дела. И каким оно даже будет, не знаю. Одно только известно, что дело быть должно. Никто тут без него не сидит. Нет среди нас *бездельников*. Значит, и я им не буду.

ГЛАВА 13

О ПОДПИСАНТАХ, НЕПОДПИСАНТАХ И ПЕРЕПИСАНТАХ.

Со страхом принимаюсь я за эту главу. И не потому, что события в ней — словно из фильма ужасов или романов фантастических взяты. Не поверят мне — вот чего боюсь. Кто добрее, скажет: фантазёр автор, не обидел его Бог, воображением наделил завидным. А кто позлее, тот уж без всяких эвфемизмов: не фантазёр сочинитель, а лжец бессовестный, и, кроме возмущения, никаких чувств этот бред не вызывает.

Одна только мысль успокаивает и веру придаёт. Многое может фантаст. Не дано простому смертному такое наворотить, какое ему под силу. Но так и будут чудеса чудесами, инопланетяне инопланетянами, вне и над жизнью реальной витать будут. А вот то, что в наше время и на нашей земле грешной бывает, утверждаю: ни один фантаст не придумает.

Один только пример приведу.

Мне это Алёша Малиновский рассказывал, когда мы с ним после войны встретились. Он в самом начале, осенью 1941-го, в плен попал.

Вся его дивизия окружена была и так, в полном составе, взяли её немцы. Разоружили, обобрали и повели. Пригнали пленных к большому, в два этажа, сараю, зернохранилищу бывшему, по-видимому. Велели в нём расселяться. И стал народ — в меру возможностей своих — устраиваться. Те, кто в голове колонны находились, расположились на полу. Набилось людей там — страшное дело! Лежат тесно, как дощечки в паркете. А люди всё прибывают и прибывают. Куда деваться? Стал народ по столбам, что крышу подпирают, наверх забираться. Доски понаходили, как-то их там пристроили, и стало под крышей ещё теснее, чем на полу. Тогда умудрились люди на столбах гнёзда вить. Ремнями, портянками и ещё чёрт знает чем привязывались к столбам,

за любой выступ цеплялись. Так и висели на верхотуре, как ленивцы или собаки летучие в тропическом лесу.

Устроиться устроились. Но живые ведь люди! А тут не то, чтобы слезать, а пошевелиться и то страшно. Но народ у нас смекалистый. Как-то уже подоставали кто банку консервную, кто черепок, а у иных и кружки при себе оказались. С помощью этих ёмкостей главный вопрос был решён. Не маялись, по крайней мере. Но и висеть с таким сосудом тоже мало радости. А чтобы не лить, не облавать товарищей своих плотной струёй, стали жидкость разбрызгивать. Один взмах руки, и — готово. И так всю ночь напролёт. Сотни рук, порознь и одновременно, делают такой взмах, орошая лежащих внизу непрерывным и неиссякаемым дождём. Там тоже, конечно, приспособились. Укрыли головы кто как и чем смог. Что поделаешь? Бедствие! Стихия!

Хотел бы я увидеть фантаста, который сумел бы такое измыслить! И никаких доказательств рассказ Алёши моего не требует. Одно тут доказательство — нельзя такое придумать. Всё можно, а такое — нет!

И, если мой рассказ вызовет сомнение, пусть неверующий задумается. Пусть прикинет. Под силу ли подобное уму человеческому? И уж потом решает. Сомневаться или голову склонить перед теми, кто вынес на себе и испытал то, что ум вместить не в силах.

* * *

Если пренебречь мелкими течениями и завихрениями, то, в общем, выкристаллизовались у нас в Лукьяновке две концепции, две теории. Соответственно, образовалось и две партии. Активной борьбы между нами не было. Сосуществовали мирно. Потихоньку вербовали сторонников и всеми силами старались переманить колеблющихся. А таких было немало. Рискну сказать, что были они и среди ветеранов партий, а может быть, и среди их лидеров. Рискну. Очень не просто было иной раз устоять. Не шуточки, вопрос о жизни стоял. Старый вопрос: быть или не быть.

Идеологи ведущей, более многочисленной партии формулировали своё кредо так. Причин постигшего народ бедствия нам знать не дано. Но бесконечно оно длиться не может. Есть партия, есть Политбюро и есть товарищ Сталин. А значит, нельзя терять надежду. Придёт время — *разберутся*. Вывод ясен. Главное — дожить до этого дня. Дожить и со-

хранить здоровье. Сбереечь себя для будущего. А раз так, то никаких фокусов! Ни к чему хорошему война со следователем не приводит. Помни о будущем и своём здоровье. Говорит следователь "пиши!", вот и пиши. Пиши по его указке. Следователь тоже человек. У него на тебя свои планы. Он хочет сделать хорошенькое дельце без лишних хлопот. Вот ты ему и помоги. Пиши, что требуется. Ты ему, а он тебе. Уж здоровье во всяком случае сохранишь.

Надо ждать и верить. Разберутся, и всё станет на свои места.

Что до второй, то всё в ней наоборот. Всё с ног на голову. Или с головы на ноги. Уж и не знаю, как тут судить.

Идеологи второй теории рассуждали так. Стой насмерть! Ты ни в чём не виновен. Ты — честный советский человек. Никогда врагом нашей власти не был. Все обвинения — ложь и клевета. Ничего на себя не бери. Пусть бьют, пытаются, убивают. Ничего не подписывай. Придёт время, и спросится с тех, кто затеял эту кровавую игру. Станут разбираться, доискиваться. Если сейчас не устоишь, и спросят с тебя — "Кто же ты? Шпион, вредитель или коммунист?" Что ответишь, если подписал? Что матери, жене, детям скажешь? Нет! Пусть убивают. Ни пяди совести своей не уступай.

Что тут сказать? Конечно, вторая теория — не чета первой. Благородная, гордая и мужественная, хоть и жестокая. Сам её исповедовал, спасибо добрым людям. Но буду честен. Стоило мне это не слишком дорого. Не пришлось испытать даже части того, что на долю товарищей моих выпало.

Но если черту подвести и вывод сделать, то горьким он будет, вывод. Не видел я, чтобы от благородства второй теории кто-нибудь в большом выигрыше остался. Так уже получалось, что теория сама по себе, а жизнь своей дорогой двигалась.

Вот, к примеру, дядя мой — Симиновский Моисей Исакович. Военная косточка до самых ногтей. Всю Гражданскую с Будённым прошёл. Не человек — кентавр! В одно время мы с ним в Лукьяновке квартировали вместе. Приветыв от меня через парашу получал. Железный был мужик! И стоял, конечно, соответственно. Стоял, пока его в камеру специальную — вшиво-клопиную — ни посадили. Была такая, не то в Шепетовке, не то в Славуте, не помню уж точно. Так вот. Всё наш Мося — так мы его называли — вытерпел, всё перенёс, а козявки его всё-таки сломали. Все заказы выполнил. Всё подписал. На две "вышки" хватило бы.

Всё перечеркнул. И совесть, и судьбу семьи своей, жены и дочери. Душу свою опустошил. А кончил чем? Вышли мы с ним на свободу почти в одно время. Я — в январе, а он — в апреле 1939-го. Ещё мы с женой его Маней встречу ему устроили. Водку на радостях крепко пили и — как сейчас помню — яичницей с салом закусывали. Ох, какое в тот день всё было вкусное. И водка, и сало, и яичница! Вовек не забуду. Так с теорией вышло. Всё подписал наш Мося. Светлого пятнышка на своей биографии героической не оставил. А ему, гляди, через месяц, другой к майорской шпале подполковничью привесили, компенсацию денежную выплатили, и не малую, и войну он закончил генералом. А ведь был он, современным языком выражаясь, *подписантом* чистой воды.

И немало таких было. Оправдала себя теория.

Не скажу, что вторая теория не знала побед. Были победы. Да не могло их не быть. Насмерть стояли люди. Честь свою берегли пуще жизни. Так и просятся в строку слова мадемуазель Мими у Чернышевского, если память не подводит: "Умри, но не дай поцелуя без любви!"

И не давали, и многие живы остались, и совесть чистой сохранили. Ну, не даром, конечно, кое-что при этом и потеряли. Кто зубы, кто глаз, кто из внутреннего оборудования — лёгкие или почки, к примеру, а то и что-нибудь поважнее. Такие всё потом убивались, о жёнах своих вспоминая. Им я больше всего сочувствовал, поскольку тоже, между прочим, в таком роде... Ну, слава Богу, не так, как иные, но всё же... В общем, сочувствовал.

Так что не знаю, кто больше выиграл. Или, вернее, проиграл. Трудно, очень трудно решить.

Взять хотя бы вот этих троих, что у стеночки сидят и что-то тихо, спокойно обсуждают. Спокойно, потому что всё у них уже позади. Дело закончено, всё, что надо, подписано. И то, что не надо, тоже. Теперь ждут приговора. Прекрасное, между прочим, это время! Как после экзаменов или защиты диссертации, если к вольной жизни примерить. Все трудности и муки — позади. Впереди — свобода. Только и хлопот, что банкет и всякие приёмы с поздравлениями.

Эти трое, конечно, поздравлений не ждут. Кроме лагеря, ничего им не светит. Но и тому они рады. Они всему рады. На всё готовы. Только бы со следователем больше не встречаться.

Знаем мы их плохо. Появились в камере недавно. И все вместе держатся, хотя на вид очень разные. Один — совсем молодой. Плечистый, с мощным затылком и угрюмыми тёмными глазами. А двое — постарше. Тощие и седоватые. Только тем и похожи. Во всём прочем — ни малейшего сходства. Один — длинный, с вытянутым лицом аскета. Скулы, как на голом черепе выпирают. Второй — низкорослый, с весёлыми, приветливыми глазками и улыбчивым ртом.

Сидят они, сойдясь головами, шепчутся и одну на всех трубочку раскуривают. Из хлеба слепленную. Её им Андрей подарил, добрая душа. На ней он ещё ящерицу изобразил. Талант у него был — дар божий! Антокольский. Так и не знаю, что с ним случилось, с Андреем.

Сосут они трубочку по очереди и дело своё обсуждают. А дело у них — не приведи Господь! Теорию они себе выбрали, думаю, ещё до того, как к нам попали. Выбрали ту, что полегче. И просчитались. Быть может, выбери они другую, что насмерть стоять призывала, то не прогадали бы. Но это, конечно, пустой разговор. Уж как было, так и есть.

А было так, что на первом же допросе разукрасили всех троих по первому разряду. О жёнах, как помню, разговор не заходил, но долго потом разогнуться не могли, всё за стену держались и кровью плевали. А теория пошла впрок. С делом покончили одним махом. Так они нам сказали, и — верно. После второго вызова прибыли, как после святого причастия. Светлым светом светились.

— Всё, — говорят, — отмучились. Кончили мы наше дело. Клялся следовательно, что пальцем не тронет и так дело представит, что на самый малый срок можем рассчитывать. Ну, мы и подписали.

— Что же, — спрашиваем, — подписали? Дело-то ваше в чём состоит?

— Дело такое, что готовили мы покушение. Террористический акт вроде бы. И написали мы так. Не совершили, а только готовили. Это, следовательно объяснял, как если кто задумал украсть или ограбление сделать, а не сделал, не украл и не ограбил. За что тут наказывать? Вот и мы так. Готовили, а не совершили!

— А теракт, — спрашиваем — на кого готовили? Как в деле записано?

— А записано, — отвечают, — что на Постышева, на Павла Петровича.

Это тот, что помоложе, нам рассказывал. Старички — те больше помалкивали.

И мы тоже. Только переглядывались. Надо же! Подписать покушение! На жизнь первого человека в республике! Что на свои жизни покусились, им и в голову не приходит!

А через месяц, или около того, слышим, опять вызывают. Главного, того, кто у них верховодил, темноглазого. Лепёхин была его фамилия. Я и имя запомнил. Павлом Максимовичем звали.

Вернулся наш террорист под самое уже утро. Смотрим мы на него и не поймём, что с человеком сделалось. И не сказать, чтобы побит был, изуродован сильно. Нет, просто другим стал. Неузнаваемым. Не его лицо, не его глаза. Всё иное, словно перелицевали его изнанкой наружу, как пиджак или пальто старое. Дрожит весь, руки, как при болезни паркинсоновской, прыгают, трубки не держат. Мы все к нему.

— Что такое, Павел Максимович? Зачем вызывали, дело-то у вас уже готово было?

— Да, готово, — шепчет он. — Но кто же мог подумать? Как мне было знать такое? И со следователем обо всём договорились. Расставались хорошо, мирно. А тут заводят меня к нему, а он, как только я порог переступил, — в крик:

— Сволочь ты, мать твою так и так, что же, — орёт, аж синий сделался, — ты мне такую свинью подсунул? Я же тебе, дерьмо собачье доверился! На кого же ты покушался? Он ведь такое же падло, такой же враг, как ты и дружки твои! Его уже отправили куда следует! Ты же мне, гад, своего подсунул!

А я стою не живой и не покойник. В толк не возьму! Это же он про самого Постышева! Чувствую, что штаны уже мочу, но успел подхватиться вовремя. Удержал, слава богу.

— Что же, — спрашиваю, — гражданин следователь, делать теперь? Новое дело будем заводить или как?

А он на меня уставился, глаз не сводит, вроде обдумывает, а потом кулачищем как сунет мне в самый пуп, так я и с копыт сразу. Вот, лоб наковал об стол, как падал. Понемногу оклемался я, успокоился, и следователь поутих.

— Надумал я, — говорит, — что с тобой делать будем. Дело сохраним. Но придётся его переписать так, чтобы правда в нём была. Не брехня твоя, террорист зачуханный, а правда. Понятно тебе? Правда нужна. Что готовил теракт, то

само собой. Но мне точно знать надо, на кого готовил. Понял или тебе иначе объяснить?

— Понял я, гражданин следователь. Скажу как есть, только подумать мне надо, — говорю.

— Думай, думай, мудака, вспоминай, но чтобы потом не пугал! Не то я тебе так попутаю...

Посидел я, подумал и говорю. По правде если, так готовили мы покушение на Косиора Станислава Викентьевича. Точно, гражданин следователь. Так и запишите, что на Косиора.

— Ладно, — говорит, — так и запишу. Но гляди! Если опять намудрил, то пулю или петлю просить будешь, как милость великую.

Я не зря эту историю выбрал. На ней всё наглядно показать можно. И какую роль теории в нашей жизни играли, и каким образом *делопроизводство* совершалось. Какие камни подводные на пути неожиданно-негаданно оказывались.

Вот и дело Лепёхина. И следователь дело своё знал, и клиенты уступчивые ему попались, и спелись они все — лучше некуда. А дело провалили. Обстоятельства сильнее оказались.

Да и кто же допустить мог, что с Павлом Петровичем, *самим* Постышевым, может этаким казус случиться! Такое и самому Богу бы на ум не взбрело! На ум бы не взбрело, а в жизни, вот, совершилось. Выходит, правда, что на беду и палка стреляет.

И не раз. Второй раз выстрелила! Тут уж я и не придумаю, каких и сколько умов нужно, чтобы такое вообразить. Ведь снова погорел Лепёхин с соучастниками своими! Снова не на ту лошадку поставили. До нас уже по параше слухи дошли, поскольку их в другую камеру перевели. Просчитались бедняги и на сей раз вместе со следователем своим. Посадили и Станислава Викентьевича, пусть земля ему пухом будет.

Слух был, что переписывали они в третий раз, но на кого переписали, я уж и не знаю. Всякое болтали, но точно не знаю, врать не стану.

Так что были у нас подписанты и *переписанты*, современным языком выражаясь. Звучит! Переписант третьей степени! С ума сойти!

Не хочу, чтобы подумали, дескать, умышленно краски сгущает, нагнетает, запугать хочет. В мыслях ничего такого не держу. Потому и сразу скажу, что дело Лепёхина — не

рядовое. Исключительное дело. Редкостное по удивительному стечению обстоятельств. Хотя что, собственно говоря, удивительно? Что руководителей партии и правительства, которых повсеместно народ прославлял, захомутали? Нет в этом ничего удивительного. Вон сколько их пересажали!

Ну, а что с Лепёхиным так неловко получилось, так уж тут, конечно, случайность. Лучше, правда, сказать — закономерная случайность. Не надо им было так высоко замахиваться. На самое небо. Хватило бы с них и того, что на земле. Пониже и поближе.

А в общем-то, я следователя во всём виню. Он должен был понимать, на что руку подымал. Не мальчик. Всё у него для этого было. И опыт, прежде всего. Не новичок. Мог бы и чуть дальше носа своего заглянуть.

Я же, во избежание нареканий, буду о самых что ни на есть заурядных, самых, так сказать, сереньких делах рассказывать. Таких, что, в основном, погоду делали, поскольку за ними — массовость, типичность была.

Возьму, на первый случай, польские дела. Была в нашей камере изрядная группа поляков. Группой их, пожалуй, называть не следовало. Каждый из них — сам по себе. Друг за дружку не держались. Даже удивительно. Свои, всё же, — земляки! Не сравнить их, например, с персами. Их у нас тоже немало было. С десятков, не меньше. Вот у них — группа. В полном смысле слова. Держались они общинно. Даже обычаи свои древние блюли. Молились вместе, ели тоже. А командовал ими старейший — без него крошки никто не проглотит, слушались беспрекословно.

А поляки ничего такого не признавали. Но и совсем врозь у них тоже не получалось. Интересы были общие. Деловые. Всех одной верёвочкой повязали.

Если эти мои записки доведётся прочесть киевлянину, да ещё и настоящему, урождённому, то ему ничего пояснять не нужно. Всякий знает, хоть сам мог уже и не видеть, как я, например, что был под городом нашим красавец-мост. Цепной, как его называли. Гордились киевляне своим мостом до самого 1920 года, когда был он взорван белополяками. Почему "бело", в толк по сей день не возьму. "Бело" — где-то по дороге потерялось. Знали все, что уничтожили мост поляки. Так что слово "поляк" в прежние годы невольно о мосте цепном напоминало. И наоборот. Скажешь "цепной мост", и уже в сознании поляки всплывают.

Не знаю я фамилии следователя. В одном уверен, был он киевлянином. Тут он и решил, что самое верное для него дело будет — всех поляков к мосту привязать. Вникать в подробности не стал. Раз поляк, значит, так или иначе к разрушению моста причастен. А их, поляков, у нас человек шесть сидело. Вот он у них и выбивал признания всеми доступными средствами.

С одним из них я в дружбе состоял. Не так, чтобы в близкой, но меня он, мальчишку, почему-то выбрал, чтобы бедами своими поделиться. А сам уже не молод был. Вполне в деды пришёлся бы мне.

— Цо робится, цо робится? Матка бозка, — тяжело дыша, хрипло наговаривал он мне в ухо. Шо за брук де той мост! Ни я, ни хлопцы наши ничего не ведают. Я в те годы уже старым был, а они ещё под столом ходили. А следователь, как тот кат, нас мордует да пострелять грозитя.

Прошёл месяц, другой, и довёл следователь дело до победного конца. Подписали парни все, а что дальше с ними было, не знаю. Ничего хорошего, думаю, если не досиделись они до светлых дней следующего, 1939, года. Для всех они, дни, светлыми были, кто досиделся. Как я, например, в том числе. Может, и они выкарабкались.

Если спросить меня, ветерана, так сказать, понимаю ли я, что происходило в то время? Как могло возникнуть такое вопиющее, дикое беззаконие? Не скажу.

И уже — иной раз — не столько хочется самому понять и на вопрос ответить, сколько оправдаться. Словно есть тут моя вина.

Да и как можно было такое множество противоречивых фактов одной общей мыслью охватить?

Взять хотя бы такое. Посадили отца моего товарища. Работал он инженером на электростанции. Что-то там неладно вышло с какими-то щитами. Не то их поставили, а не надо было, не то — наоборот: надо было, а не поставили. Не в том дело. Результат важен. Пришлось из-за этих щитов на время машины остановить. Ну, скандал, конечно. Энкаведешники тут как тут. Недолго мудрили, пересажали всех, кто под руку попался. Инженера, отца товарища моего, в том числе.

Что в то время и по такому случаю сказал бы *любой* советский человек? И думать бы не стал. Вредительство! Враги народа действуют! Каждому ясно!

Так нет же! По всем правилам следствие ведётся. Свидетели, эксперты, характеристики общественные — всё как следует быть. И, в конце концов, снимают обвинение!

Спрашивается, долго ли было поговорить с человеком, как они умели, сказать ему пару слов подходящих к моменту или — ещё проще — вклеить пару горячих в какое-нибудь место чувствительное и — готов вредитель или диверсант. Чего проще! Тысячами, таким образом, вредителей и диверсантов производили. А вот с нашим инженером по-иному обошлись. И не с ним одним. Были ещё такие. Не много, но были.

Хотел сказать — "А жаль!" И, правда, жаль. Потому, что из-за таких народ потом в одну дуду дудел: есть, значит, правда на свете! Взяли по ошибке человека — чего не бывает! — а он ни в чём не виновен. Разобрались и отпустили с миром. А которые сидят — ясное дело! Не зря, выходит, держат. Каждому — своё.

Но я своего "А жаль!" не скажу. Отец он товарищу моему. Как я могу ему зла пожелать? К тому же, хоть и чужих, а всё равно жаль. Даже тех, которых отпустили. Вышли они на свободу, а зарубочка осталась. Где-то и на чём-то, а след остался.

Если бы таких дел со счастливым концом было побольше, другой бы пошёл разговор. Было бы тогда и впрямь основание считать, что невинные жертвы — следствие недоразумений. Грустные, даже трагические, но недоразумения. Но не было их "побольше". Редчайшими были такие дела.

Потому и беру на себя смелость утверждать — *липовыми* были все дела. Плодами творчества следовательского. Но буду справедлив. Не стану умалять роли самого заключённого. Ведущей была его роль. И в этом вся беда, вся трагичность участи его состояла.

Не буду голословным.

Привели к нам в камеру как-то новичка. Прямо с воли, но, конечно, уже после санобработки. Кругом постриженного и "стреноженного". Он ещё и приспособиться не успел. Обими руками за штаны держался и всё равно терял их на каждом шагу. Роста был он небольшого, но коренаст и плотен, как борец или тяжелоштангист. Если бы не фамилия, то кличку ему, не задумываясь, прилепить можно, очень на медведя походил. Но фамилия была в самый раз — Бык. Доктор Бык. Посидел он с недельку, до первого допроса. Наслушался всякого, а главное, насмотрелся. Было ему, док-

тору, на что посмотреть. После его прихода на следующий день мы как раз в баню ходили. Хотя был он и Быком, и доктором, но структуру имел самую хрупкую. Сильное на него всё услышанное и увиденное, в бане особенно, производило впечатление. Думаю, что тогда же он сразу и линию своего поведения определил.

На первом же допросе смекнул, что намечается для него дело о шпионаже, поскольку родственников каких-то за границей имел. Человеком он был образованным, начитанным и не без фантазии. Сочинил целый шпионский роман. Со всеми необходимыми деталями и подробностями.

Вернулся Бык в камеру с таким видом, словно на шее у него медаль за новый рекорд. Чуть не пляшет.

— Всё, — говорит, — отстрелялся. В один заход всё уложил. Ещё раз съезжу на оформление, и все дела. А там — ту, ту! — прощай, Лукьяновка, альма мать наша. Мне лишь бы в лагерь не слишком холодный попасть. А уж в нём-то не пропаду. Врач всюду нужен.

Так хорошо он своё светлое будущее расписывал, что нельзя было ему не позавидовать. Мы и завидовали, по совести говоря.

День проходит, другой — зовут. Поехал наш Бык и приехал. Сказать, что был он перепуган, убит, так нет. Держался, как следует быку. Но и прежней завидной, озорной уверенности не стало. Притих. Посерел.

— Понимаете, — рассказывает, — своими руками себя погубил. Опыта не было, а теперь уже хода назад нет. Дрянное дело. Я к следователю со спокойной душой ехал. Улыбкой его с порога поприветствовал, а он на меня, как на змею или паука, вытаращился. И — за горло меня.

— Что же ты, мать твою так и так, мне голову морочишь? Говоришь, что шпион, диверсии готовил и прочее, так не в одиночку же ты действовал! По-твоему выходит, что в один прекрасный день ты решил: буду шпионом, буду вредить, взрывать и другими способами против советской власти бороться. Так? Дураком меня считаешь? Кто-то же должен был тобой руководить, кто-то завербовал, снабжал, сведения и отчёты у тебя принимал, и денежки платил. Даром такие дела не делаются. Вот его-то мне и подай! С тобой мы как-нибудь разберёмся, а мне он нужен! Хозяин твой!

Ну, я туда-сюда, а что делать? Где я ему хозяина достану? Сами понимаете, что брехня всё, от начала до конца. В

общем, молчу. Не знаю, что ему сказать. Следовательно тогда звонок нажимает — где-то у него под столом — и заходят вскоре два здоровенных обормота, с закатанными по локоть рукавами, и...

— Вот, — показывает на меня следователь, — сволочь продажная, шпион, ити его мать! Я его прижал, он мне всё выложил, а сообщников, с кем работал, скрывает. Прошу, объясняю, а он — ни с места. Молчит, гад. Вот я вас, хлопцы, и позвал. Я не могу, может, вы его уговорите? Попробуем?

А те — рады стараться. Подхватили меня под руки и к двери волокут. Я в крик:

— Не надо, — кричу, — не надо, я сам!

Следователь им знак подаёт. Отпустите, мол.

— Так, как, будешь говорить? — спрашивает и на тех поглядывает.

— Буду, — говорю. — А что, думаю, говорить? Где я ему сообщников этих возьму? Ведь всё наврал. Какие, к чёрту, диверсии и какой из меня шпион? Где их найдёшь, шпионов, кроме как в кино и в книжках? И вдруг надумал. Не зря мозгами, значит, шевелил. — Пишите, — говорю, — гражданин следователь. Был я завербован коллегой моим. Сокурсником по институту — Мильштейном Сёмой, Семёном, значит. Отчества не знаю. Мы ведь по-студенчески: Сёма, Боря, Миша. Он и завербовал, Сёма.

— Не врёшь? Смотри у меня! А теперь, — говорит, — садись и пиши всё подробно. Где, когда, при каких обстоятельствах? Тебя учить не надо. Сам знаешь.

Что скажете, — это он нам, Бык, — неплохо? А Сёмку мы, товарищи его, уже лет десять как из виду потеряли. Назначение он получил куда-то на Дальний Восток, потом, по слухам, женился. Переезжал и, наконец, совсем пропал. Не знаю, и жив ли? Пусть теперь ищут. Пока найдут, буду надеяться, что кто-нибудь да издохнет.

Неплохо, казалось, придумано. И, в самом деле, где его искать, Сёму? Может быть, и впрямь, кто-нибудь и издохнет.

Может, конечно. Чего не бывает? Но не было. И не издох никто. Двух месяцев не прошло, как появился в камере длинный, чернявый, как веник, сухой человек. Не сразу нашёл он и не сразу узнал своего однокашника. Столпотворение ведь в камере какое! И человек свежий. Так что не сра-

зу, позднее нашёл. Состоялась, не приведи Господь ещё кому, эта встреча.

Бык, как я писал, сложение имел мощное, но сердце, видимо, было уже на износе. Дружка своего он разглядел сразу. И подхватить доктора нашего никто не успел, как он на полу растянулся и воздух губами хватать стал, словно рыба, на песок выброшенная.

Народ вокруг засуетился.

— Докторов наших зовите, — кричат, — живее! Человек доходит!

Тут Сёма этот чернявый первый подоспел.

— Я, — говорит, — доктор. Сдвиньтесь в стороны, дайте воздуха побольше.

Наклонился он над несчастным, голову его приподнял, за руку взял, пульс прощупал.

— Фима, Фима, это я — Сёма. Помнишь меня? Мильштейн я. Успокойся. Сейчас всё пройдёт. Водички глотнёшь, и пройдёт.

Открыл Фима мутные глаза на миг и снова закрыл. Полежал ещё так, век не поднимая, и зашептал. Одними губами.

— Сёма, это я тебя, я... Прости меня. Слаб оказался. Страшно было. Струсил. Прости, ради Бога, я, я... — Шепчет и вдруг затрясся всем телом в рыдании. И слёзы по всему лицу.

А Сёма рядом присел.

— Нет, Фима, не ты. Успокойся. Нет твоей вины, Фима. Я всё знаю. Мне твой следователь всё рассказал. Я уже целый год по тюрьмам мотаюсь. До тебя меня взяли. Нет твоей вины. Ни твоей, ни моей...

Случалось вам видеть счастливого человека? И мне случалось. Но такого, чтобы весь светом светился, каждой жилочкой, каждой клеточкой, только раз единственный видел. Даже звучит потешно: счастливый Бык. Это здесь-то, на тюремном полу. Вот каким счастье бывает.

Сейчас уже таких вопросов не задают. А было время — задавали. Неужели среди тысяч, десятков тысяч заключённых не было ни одного виновного? Могло ли такое быть? Ну, были ошибки, случайности, но чтобы все?! Одни только ошибки?

Неужто следователи не понимали, что с неповинными людьми дело имеют?

Всё они понимали. И у них так бывало, как у доктора Быка с Сёмой Мильштейном. Бывало и почище. Следователей своих называли! Клялись, с отчаяния, что они, следователи, их и вербовали! И садились такие следователи вместе с ними на одну баланду и пайку тюремную. Я таких сам, лично, встречал. Исповеди их печальные выслушивал. Несколько таких у нас было, но больше всех запомнился мне начальник НКВД из города Артёмовска. Жаль, фамилии его точно не запомнил. Не то Гольденберг, не то Гинденберг. В таком роде фамилия была. И сидел он со всеми на равных, как какой-нибудь профессор или инженер. И "работали" над ним свои же коллеги, невзирая на бывший чин. Ещё и как давали! До того довели, что этот, из Артёмовска, своего начальника рядом с собой усадил! Вот как бывало! Да так посадил, что тому уже не подняться было. Уж они-то знали, как такие дела делаются!

Насчет того, знали ли и понимали, один пример приведу. Только один. Не потому, что других не имею. Есть у меня их достаточно. Но такой — один.

Я его не в повествовательной, а в форме диалога представляю. Чтобы слов поменьше, а ясности побольше. Довелось мне разговор один, от начала и до конца, из собственных уст участника прослушать. Не один я его услышал, так что были у меня свидетели, если бы потребовались.

Удобства ради буду стороны одной буквой обозначать. Следователя — буквой "С", а заключённого — буквой "З".

Первым, от самого порога вступает в разговор заключённый.

З. — Разрешите к вам обратиться, товарищ следователь?

С. — Ещё раз от тебя "товарищ" услышу, мудака зачуханный, я тебе хлебало разорву! Понял? "Товарищ!"

З. — Простите, тов.... гражданин следователь, я только хотел вам сказать, что со мной произошла ошибка. Не за того меня приняли. Потрудитесь на дело взглянуть. Какая на нём фамилия значится? Красовский? А.В. Красовский? Верно?

С. — Ну, так, Красовский А.В. Где же ошибка?

З. — Ошибка в том, что не Красовский я. Красомский моя фамилия. И не А.В., а П.В., поскольку меня Павлом Владимировичем зовут. Как видите, совсем я не тот, кто вам нужен.

С. — Это не тебе... твою мать, знать, кто нам нужен, а кто нет. Как, говоришь, твоя фамилия? Красомский?

З. — Так точно. Красомский Павел Владимирович.

С. — Тут, значит, считаешь, что ошибка. Это не годится. Ошибки надо исправлять. — Следователь зачёркивает на обложке фамилию и пишет: Кра-сом-ский, Павел Влади-мирович. Так. Здесь теперь верно (Открывает дело). А год рождения? Место рождения?

З. — Тысяча восемьсот восемьдесят третий.

С. — Ч-чёрт, на один год не сходится. Третий, говоришь?

З. — Точно так. Восемьдесят третий. Место рождения — Киев.

С. — Это совпадает. И в деле так. А ты говоришь, ошибка. Тебе абы воду замутить. Всё верно. А теперь садись, вот тебе бумага и давай пиши.

З. — Простите, т... гражданин следователь, что я должен написать, заявление? А на чьё имя?

С. — У тебя что в башке? Или ты дурочку строишь? "Заявление"! Пиши, туды твою мать, о своей враждебной деятельности, об организации контрреволюционной, с которой ты против власти нашей советской боролся! Заявление, मु-дак засранный, писать собрался!

З. — Я вас, гражданин следователь, не понимаю. Может быть, всё, о чём вы говорите, к не известному мне Красовскому и относится. Но вы же видите, не Красовский я, а совсем другой человек!

С. — Мне человек — до сраки, тот он или не тот. Понял? Дело — главное, дело есть! Понятно тебе? А раз дело есть, то и человек будет. Человека всегда найдём, раз дело есть. Вот ты сейчас есть, а может, скоро тебя не будет. А дело, вот оно, есть и будет. А шо там Красомский чи Красовский, то всё херня!

Так что же, не понимал тот следователь, кто перед ним? Не знал, что делает? Кто ж этому поверить может?

Даю предельно короткий и точный ответ. Мы верили. Мы, мы все! Нет, не там, в Лукьяновке. До того, как попали в неё. И те, которые вообще не попали. Все верили! Даже здесь, пройдя первые круги, немало ещё было таких, что не сдвинулись с веры своей. Твёрдо на своём стояли. Я честный человек, — говорили такие. — По ужасному стечению обстоятельств оказался здесь. Но такие, как я, один на тысячу приходится или ещё того меньше. Так что всех здесь я вынужден врагами народа считать. Поэтому дела ни с кем иметь не хочу. Придёт срок и выйду на свободу, а они по-

лучат то, что заслужили. Пачкать себя дружбой с врагами не намерен.

Вот такую веру исповедовали иные. И было их не так уж и мало. Не слишком много, но и не мало. Не стану их хулить. Они из тех, о ком принято одно хорошее говорить. Или совсем ничего. Настоящими советикусами они были. В сердце, в голове, во всём существе своём несли веру непоколебимую.

Вечная для меня это загадка.

И вот что ещё хочу сказать. Понимаю, что глупо назвать такое секретом. Какой может быть секрет на книжной странице? Но так оно, по сути, и есть. Секрет, который и скрыть нельзя. Нечестно это будет.

А речь о том, что в собственном моём сознании творилось. Как сам я всё, что вокруг происходило, воспринимал. Я ведь себя тоже к этой категории отношу. Самым что ни на есть типичным советикусом я был.

Так вот. Рассказал я, как из Бориса следователи сиониста сделать решили. Я его потом расспрашивал, почему именно сиониста, а не шпиона или какого-нибудь вредителя. Он ведь в органах работал и вполне мог, к примеру, в разглашении государственной тайны обвинён быть. Тогда он мне и рассказал, что в юности какое-то время с сионистами общался. С иными и в дружбе состоял. Но вскоре в идее самой разочаровался. В партию вступил и уже о сионизме даже и слушать не хотел. Дурью считал. Один путь для евреев видел — к социализму вместе со всеми народами.

Я, конечно же, Борису верил, но какую-то зарубочку рассказ его во мне оставил. Выходит, что не на пустом месте обвинение строилось. Был грех.

О Петербургском и говорить нечего. Он и не скрывал, что эсером был. Даже, вроде, гордился этим. Значит, и тут не без вины виноватым стал.

Дальше. Андрея возьму. Очень славным он парнем был. Глаза и всё лицо его такую доброту, такие честность и чистоту излучали, что с первого взгляда всех покоряли. Мне таким Ромашов из "Поединка" Купринского виделся. Представляю себе, как бойцы его обожали. Он ведь ротой командовал, Андрей. Вот это обожание и погубило его. Время в деревне было трудное, а в роте сплошь крестьянские парни. И, конечно же, они с командиром своим любимым беды свои обсуждали. Про родителей раскулаченных, про нищету свою колхозную и всё прочее в таком роде. Андрей, понятно,

всем сочувствовал и виновников их бед осуждал. А в роте, естественно, стукачи были, и всё наружу вышло. Так и очутился молодой офицер здесь, с глазами его ангельскими.

При всём том, что очень любил я Андрея, важен факт. Была вина его, если он политику партии в деревне осуждал. Уж какая вина и как наказана быть должна, это вопрос другой. Но, что и он не без греха, каждому ясно.

Мог бы я перечень продолжить, да ни к чему. Вывод уже сделать нетрудно. Это в наши дни каждый понимает, что рассуждать о сионизме, или о том, какая из революций была правой, или раскулаченного пожалеть, не есть преступление. Повторяю: это сейчас так, но не тогда. И если уж совсем на ухо, строго секретно, то сознаюсь: Вовкино выступление, где прозвучало пусть даже незначительное одобрение фашизма, я совершенно невинным не считал. И друзья наши и родня так его оценивали. Жалели, ахали, вздыхали и сочувствовали, но вину за Вовкой числили.

Уж мне нет нужды о чувствах к брату распространяться. но и я его от вины не освобождал. Не передо мной и родными. Перед НИМИ, перед властью советской. Так уж устроен был советский человек, и психика его была изуродована. "Гомо советикус", одним словом. Этим всё сказано.

ГЛАВА 14

Я ВЫРУЧАЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Не знаю, кто как, а для меня ожидание — смерть. Не могу ждать. Ни хорошего, ни плохого. Такой уж у меня характер дурной. Гостей жду — к семи быть обещали — так я уже без пяти минут семь с ума схожу. Ничего поделать с собой не могу.

И при таком характере пришлось мне ждать. Не один, не два и не шесть даже, а сорок восемь часов! А у нас, как на войне, год за три шёл. Наш час тоже такой, что в обыкновенный, астрономический не уложишь. Мой же — при таком характере — и того более. Особенно ночной. Ох, и долгий же! Лежишь весь в поту, ворочаешься с боку на бок и уже не одними ушами, а всей головой, всем телом каждый звук ловишь. Вот затопали в коридоре сапоги. За мной! Сейчас ключи зазвенят. За мной! Да, ключ уже в замке. До того глаза держал открытыми, а теперь смыкаю. И весь смыкаюсь, так хочется объём свой сократить и невидимкой сле-

латься. Хорошо в детстве было. Приснится страшное, напугаешься и сразу одеяло на голову. Закутаешься до удушья и уже чувствуешь: от всех страхов укрыт надёжно.

А здесь не спрячешься. Не то, что под одеялом, под землёй найдут.

А надзиратель уже тут.

— На букву "НЬ" есть кто? Есть на "НЬ", спрашиваю!

Есть на букву "НЬ". И не один. Ходкая буква — "НЬ".

— А на букву "ТЫ"? Давай, кто на "ТЫ"?

— Есть! — откликается наш ребе Тверской.

Трое их у нас, ребе. Чего хотят от этих стариков? Не представляю, какие у них будут дела.

А надзиратель никак не закончит с вызовами. Повесток у него целая куча.

— Прохор Тер... Тер... — а дальше ни с места.

— Прохор Терентьевич! — подсказывают ему. — Барченко!

— Давай, Барченко! Собирайся! Та ще одын на букву "БЕ". Кто ще на "БЕ"?

— Банников! Иван Платонович!

— Давай, Банников, на допрос!

Всё мимо и мимо. Узнать бы, который час. Похоже, дело к утру, полночь уже позади. На допрос увезли не меньше трети, а то и половину. Ещё полчаса, час, и — конец. Можно спать. Один бы час продержаться. Утром не позовут. Настоящая работа — ночью. Следователи — как та гоголевская нечисть — при свете силу свою теряют. Самое время — ночь для них. Маюсь я, маюсь, а честно говоря, сам не знаю, отчего. Жутко на душе становится, как о допросе подумаю. А тянет. Любопытство терзает. Ужас, до чего знать хочется, какое дело мне Меерзон готовит.

Встаю, пробираюсь к окну и задираю голову. Есть уже полосочка! И звёзд не видать. Рассвет, значит, наступает. Теперь всё. Можно и отдохнуть. Иду назад к своему месту. С лёгким сердцем иду. И в этот миг звенят ключи.

— Дом, Дом, а щоб ты сказывся, — бубнит надзиратель. — Шо за дом?

Я молчу. Сунул голову в песок. Надеюсь на что-то, сдуру. На что ж тут надеяться?

— Я, я, — откликаюсь. — Генин, Дон Ильич!

— Во, во, — оживляется надзиратель. — И шо то за имя, Дом? Давай, Дом, на допрос.

Меерзон встречает меня милой улыбкой. Одет он полетнему. Несерьёзно одет. Легкомысленно и не по чину. Рубашечка белая, ворот распахнут, рукава закатаны, чуть не до самых плеч.

— Я тут замотался, не до тебя было, — говорит, словно извиняясь. — Но не беда. Наверстаем. Так даже лучше. Мог за это время подумать как следует. Писать будешь? — Он кладёт на мой стол бумагу, бросает карандаш.

Я к ним не прикасаюсь. Даже не верится, что были эти двое суток. Вроде и не уезжал никуда. Как сидел, так и сижу. И следовательно тоже. Роется в бумагах за своим столом. Всё, как тогда. В первый раз. Так и сидим. Тихо и скучно сидим.

Через полчаса он встаёт, беззастенчиво потягивается и зеваёт. Как лошадь, обнажая зубы и дёсна. Ещё не закрыв рта, приближается ко мне.

— Не пишешь, фраер, ити твою мать, — кривится следователь. — Значит, ни хрена не понял, студент засранный! Ты не спать ли хочешь?

Чёрт дёргает меня за язык. Где-то я вычитал, что дураки всегда уверены в добром к ним отношении окружающих. Выходит, что я и есть дурак. Я, как раз, думаю так. И ничего плохого в этом не вижу. А если я дурак, то совсем по другой причине. Как иначе меня назвать, если я стал следователю жаловаться, что действительно спать хочу, а в камере ночью нет покоя. Нашёл кому жаловаться!

— Ну если тебе сон писать мешает, то я тебе помогу, — говорит следователь и посматривает на меня хищным взглядом. — Раз надо, придётся помочь. Сейчас ты уж про сон забудешь.

Он достаёт из шкафа настольную лампу на гибком стебле и с блестящим рефлектором. Долго возится со шнуром у розетки. Что-то у него не клеится. Он гримасничает и тихо ругается. Наконец, лицо его разглаживается. Вдохнув с облегчением, он щёлкает тумблером. Вот это так лампа! Проектор! Само солнце! Такой непроходимо белый свет я видел только на уроке физики, когда нам вольтову дугу демонстрировали. Даже интересно. Пока я ещё сам по себе, а лампа в пол смотрит.

— Теперь спать не будешь! Сядь ровно! — командует следователь. Миг, и глаза мои запечатаны болью. Я, естественно, плотно прикрываю их, но всё равно. Плохо.

— Открой глаза! Смотри сюда! Сюда смотри... твою мать! Башкой не верти! Сиди прямо! — покрикивает он. — Надумаешь писать, скажешь!

Лицо моё горит, словно плавится. В голове — шар чугунный катается. И слышать я перестал. Или тишина такая? Не пойму, что со мной. Только чувствую, что долго не выдержу. Господи, хоть бы сознание потерять! Хоть бы обморок какой, чтобы свалиться и чувствовать перестать. Чем так, лучше уж умереть. Но такне, как я, не падают в обморок и сознания не теряют. Сердце у меня, как у гончей, и вообще на здоровье жаловаться не приходилось. Было здоровье. А теперь пришлось пожаловаться. Врагом оно стало моим, здоровье.

А следователь только и знает, что покрикивает.

— Сюда смотри, не вертись! Башку прямо держи!

Я его не вижу. Вообще ничего не вижу. Слеп. И глаза свои чувствую только потому, что молнии и огонь в них и боль дикая. Порой кажется, что лоб от черепа отделяется. Вот сердце проклятое, стучит себе, будто его ничего не касается. Моё собственное сердце.

— Надумал писать? Писать будешь?

— Буду, буду, — шепчу я. — Лампу заберите. Буду!

— Ну, смотри, падло, обманывать не советую! — Следователь поворачивает рефлектор, но лампу не выключает. Свет лупит в стену, и она сверкает, как киношный экран. А я слеп. Экран, вроде, вижу, а больше ничего. А может быть, и его не вижу. Просто вот такая ослепительная темнота перед глазами. Иначе не скажешь. Но шара, что катался у затылка, не стало. Место, где он в мозг, казалось, упирался, есть. А самого шара нет. Всё-таки легче.

— Бери теперь карандаш и давай. Обещал писать, пиши!

— Я не вижу ничего. Карандаша не вижу. Как писать?

— А на хер тебе видеть? Писать надо. Видеть надо было, когда сволочью, врагом народа заделался, а теперь не видеть, а писать надо.

Итак, вернулись мы к нашим баранам. Всё стало на круги своя. Впрочем, не всё. Я на новый круг встал. Писать пообещал! Один коготок уже потерял. Теперь за птичкой останова. Что я наделал! Каким слабаком оказался! Каких-нибудь десять минут — сколько я под этой проклятой лампой жарился — и готово. Что делать теперь? Писать? Легко сказать. Так недолго докатиться до чего-то... чёрт знает, до чего. Вся беда теперь в том, что понял следователь, с какой

стороны за меня браться надо. И я, кажется, тоже понял это. И всё чёртова лампа! Лучше бы уж бил! Злость бы тогда во мне пробудилась. Злость и ненависть. Это уже всё-таки оружие. Я, когда злой, не так и прост. Ладно! Ещё, как говорится, не вечер. Главные сражения впереди. А вот сейчас, как быть, не знаю. Слово надо держать. Обещал писать, значит, надо писать.

Что же ему писать? Вот они где, муки творчества! Что муки, так это точно. Но без всякого творчества. Не знаю, что писать? Одно мне только и остаётся. Попробую повести себя так, как в камере люди умные советовали: следователя в соавторы пригласить! Пусть скажет, что от меня требуется, а там уже буду думать.

— Не знаю я, гражданин следователь, что писать, — говорю я таким голосом, что самому противно. — Подскажите хоть что-нибудь. Ведь не знаю, в чём обвинение состоит.

Лица его рассмотреть не могу, но грохот отброшенного стула и вся его поза выражают гнев и крайнее возмущение.

— Да ты только послушай, — орёт он, пуская одного пехоту за другим, — что за хреновину ты порешь? Кто контрреволюционной деятельностью занимался, я или ты? Учёный называется, ити твою мать, а простых вещей не понимаешь! Кто, кроме тебя, может это знать?

Он вдруг истошно кричит и бешено тарашит глаза. И с чего бы так надрываться? И правда — бешеный! У него сейчас пена изо рта полезет.

На миг он замолкает, и на лице его появляется сосредоточенность. Глаза уходят в сторону и застывают. Он словно прислушивается. Точно! Слушает. Я тоже прислушиваюсь. Впервые мы с моим следователем дружно заняты одним делом. Слушаем и, не сговариваясь, блюдём сторожку тишины. Чего ждёт он, какие звуки занимают его, судить не могу. Я улавливаю только едва различимый шорох шагов — издалека. Вот они приближаются. Теперь, кроме стука сапог, слышен ещё скрип. Стук каблуков и скрип. Так и вижу перед глазами эти сверкающие, отполированные сапоги. Со скрипом и эбеновым блеском. А сапоги уже совсем близко. Почти у самой нашей двери. Звук затухает. Удаляется. Ушли сапоги. Снова тишина.

Следователь возвращается на своё место. И на лице его тоже всё теперь там, где положено: глаза в свои орбиты залезли и рот как рот. Удивительное превращение. Будто другой человек. Ровным, размеренным тоном, словно продолжая

дружескую, досадно прерванную беседу, ведёт он доверительный разговор:

— Зря ты отказываешься помочь следствию. И мне жизнь усложняешь. Ты же видишь, я тебе ничего плохого не делаю. А мог бы. Сам знаешь. Не первый день у нас. Не новичок. Отдал бы тебя своим парням, они бы тебе объяснили, что к чему, и стал бы ты у меня писать, как Лев Толстой или этот — граф Монтекристо. А я с тобой, как с дитём, нянькаюсь. Ты же не телепень какой-нибудь, не из деревни, чтобы не понимать. Не сейчас, потом, всё равно напишешь. Деваться тебе некуда. Напишешь, получишь срок, отбудешь и живи дальше. Ты же молодой. Всё пройдёт. Я тебе по дру...

На этом "дру..." и прервалась наша беседа. Запнулся он на нём, словно язык накусил. Голова набок склонилась. Слушает! Он даже невольно цыкнул на меня — тихо, мол, — хотя я был нем, как заспиртованный зародыш в музейной банке.

Я тоже, конечно, стал прислушиваться. Слух у меня не хуже. Сразу уловил знакомый скрип. Те самые сапоги.

Мать родная! Что вдруг с Меерзоном моим сделалось! Куда только отеческий тон подевался? Бросается он ко мне, животом, чуть не в голову мою упёрся и рычит так, словно ему головешку за штаны сунули.

— Сволочь, падло, контра продажная, ты будешь писать? Мало ты у меня получил? Рад, что кости ещё целы? Будешь ты, твою мать, писать? Так что, так и будешь молчать, дерьмо собачье?

Крик его уже перешёл в какой-то булькающий хрип. Перебрал сверх меры. Он замолкает, переводит дух. И тут открывается дверь. Она у меня за спиной, так что вижу я только следователя. Мне и этого вполне достаточно. По тому, как он вытягивается и даже какой-то звук сапогами производит, ясно, кто вошёл. Не мелочь рядовая.

— Работаете? — звучит за моей спиной барственно-начальственный рокот. — И как успехи?

— Работаю, товарищ полковник, как видите. Будут и успехи.

Да, крепко на Меерзона подействовал приход полковника — даже при моём абсолютном слухе я бы его голоса не узнал.

Скрипят сапоги, и полковник появляется в поле моего зрения. Сложение у него готическое. Весь к небу, ввысь ус-

тремлён. И голова тоже. Длинная, сдавленная с боков. А морда гнусная. Скверная морда. Не считая того, что кожа на ней, словно косточка у персика. Вся в рытвинах. Не иначе как крестьянского происхождения. Там, в деревнях, оспа, что в столицах — насморк. Каждый третий переболел.

— Это кто же у вас? — Он, понятно, обращается к следователю, но смотрит на меня.

— Вот, товарищ полковник, — следователь подаёт полковнику папку, — можете взглянуть. — Он что-то показывает пальцем.

— Ну, ну, молчит, значит, студент? Молчишь, ублюдок? — Это уже мне. — Вот и дура, мать твою так, перетак.

Слова он произносит мерзкие, но делает это без должного подъёма — звучат они буднично, как самые обыкновенные. Так бывает: слушаешь шлягер на иностранном языке, и такую он скуку наводит — до боли в челюстях. Одних ударников только и слышишь. А потом оказывается, что в нём о страстной любви поётся.

Вот так и полковник. Если слов не понимать, то можно подумать, что он о подготовке скота к зимовке или ремонте сельхозинвентаря рассказывает. Но, к счастью или к сожалению, слова у него вполне понятные.

— Ну, работайте, работайте. А если молчать будет, то не мне вас, капитан, учить, — говорит он скучным, пресным голосом. Он уже повернулся уходить, но вдруг оборачивается и...

Меерзон помогает мне подняться. Я ещё не вполне понимаю, что произошло. Полковника в комнате нет. Рядом со мной лежит табуретка, и по полу разбросаны листы бумаги. Из ноздрей у меня течёт. Хочу шмыгнуть носом, убрать назад, чтоб не лезло в рот, но не получается. Нос и губа одеревенели, как после укола адреналина. Я ишу платок, но его нет. Посеял где-то. Утираюсь рукавом. Это первый нокаут в моей жизни. Жаль, некому было просчитать. Может быть, и не было нокаута? Обыкновенный нокдаун. С ними приходилось встречаться. А вот пиджака жаль. Чёрта с два теперь отмоешь.

— Наш начальник области, — поясняет Меерзон. — Он шутить не любит. Понял теперь, что к чему?

Мне почему-то кажется, что ему стыдно за своего начальника, или жалеет меня. Вид у него какой-то смущённый.

— Понял. Всё понял, — говорю я со значением. Не знаю, правда, с каким. Но это только по форме. Ничего я не понял. Но — спасибо полковнику. Кое-что всё-таки дошло. Где-то в сознании появились какие-то затвердения. Правильно, значит, я думал. Битьё не только к сознанию приводит, но и злость, упрямство будит. Азарт своего рода. Ты мне так, а я тебе этак. Посмотрим теперь, кто кого. Мы ещё повоюем.

Боль улеглась, и, в общем, я уже в форме. Будь это на ринге, то можно бы и продолжать. И вообще, если черту подвести, то неплохой получился день. Полезный. Пиджака только жаль. И платка тоже. Чёрт знает, куда его дел. Не привык без него обходиться.

А открытие я сделал любопытное! Пользы от него пока не вижу, но всё равно интересно. Даже весьма. Будет, что товарищам порассказать. Неужто в самом деле всё было спектаклем? Всё на публику! Форменный театр, только что публики — один полковник.

Это же подумать только! Здесь, в их логове зверином, и — такое! Значит, всё у них, как у людей. Как в любом паршивом учреждении! Вот уж никак бы не подумал. Ну, добро бы секретарочка при своём начальнике. Нет хозяйина, она — за вязание или с подружкой по телефону поболтать. Пока тихо. А как патрона заслушит, всё побоку и — пошла строить, только пальцы мелькают.

А тут не пальцами. Тут рвение своё матом и мордобоем доказывают. Идёт хозяин — полундра! Все наверх! Рви глотку, бей, шуми! Главное, чтобы без дела не сидел.

А Меерзон, похоже, не такой уж и работяга. Не из тех, кто горят на работе. Нажмут на него, он и старается. Куда ему деваться? Но жмут, по всему видать, крепко. Они на него, а он на меня. Иначе не было бы такого все последующие дни. Мотаюсь, как в чёртовом колесе. Только вечерний отбой дадут, готово! Давай на ковёр! Штурпак со своей бумажкой тут как тут: Дон Ильич! И поехали! До самого утра. Или у Меерзона, или в будке. Привезут домой, в тюрьму, а там уже следующий вызов дожидается. Иной раз и до камеры добраться не приходится. Уже на вокзале это проклятое "Дон Ильич" меня догоняет. И так — день за днём. На баланду и то не всякий день попадаю. Вымотался до предела.

И интересно у нас с ним получается иной раз. Приедешь, сядешь на свой стульчик, и одна забота, как бы с него не свалиться. А ему, бедняге, по всему видать, ещё хуже.

Совсем извёлся человек. Глаза под лоб вовсе ушли, в черноту провалились, а нос и скулы, как у покойника. Кожа — сухая, и кости выпирают. Я жду, что сейчас он за меня возьмётся и запоёт своё: "Пиши, падло!" А ему не до меня. Упадёт на стул, голову на папки свои положит, рот раскроет и похрапывает или носом посвистывает. Тоненько, уютно, подомашнему. А мне, конечно, не до сна, хоть и забыл уже, когда спал по-человечески. Никак не получается. То в будке, то в дороге или на вокзале, а то вот на стульчике с Меерзоном время коротаю. Где тут поспишь? Сейчас, вроде, и время свободное, а как уснёшь?

Так и сижу. Сижу и вдруг знакомый скрип из-за двери. Полковник! Точно! Его шаги! Хорошо я музыку эту запомнил.

Как ни говори, а интеллигентность губит характер. А может быть, я бы и без неё таким же был. Злость и твёрдость у меня припадочные — просыпаются, если уж на голову мне наступают. Правда, ненадолго. А сейчас ведь враг передо мной! — как иначе следователя рассматривать? Самый что ни на есть враг и мучитель. Что бы сделал на моём месте человек при настоящем характере? Затанлся бы и — злорадствовал бы от предвкушения расправы с Меерзоном. А я вместо того руку ему протягиваю. На помощь иду. Постукиваю карандашом, грохочу стулом, кашляю. Где там! Такие трели выводит капитан, что не карандашом, не кашлем, а артиллерией их подавлять надо. А скрип уже вот-вот, у самой двери. И я не выдерживаю.

— Гражданин следователь! — шепчу, — гражданин следователь! — Какое там! Что ты будешь делать? — Гражданин следователь, — уже кричу я.

— А! Ну! Ты что? — вскакивает он и мотает головой, словно её осы или комары обсели. — Будешь писать? — бормочет и, по всему видно, сейчас снова на свои папки уляжется.

— Полковник идёт сюда, гражданин следователь, полковник!

Теперь, кажется, дошло. Его словно хлестнули по нежному месту. Здорово у него получается! Артист, одним словом! Без малейшей раскачки, сразу с места взлетает его голос до верхней октавы, визг, не голос:

— Сволочь, гнида вонючая, ты будешь говорить? Что же ещё с тобой делать, мать твою перетак? Сколько ты ещё будешь над следствием измываться? — И как у него всё ловко

выходит! Только раз-другой матюкнулся, а голос — будто он уже дорвался до полного изнеможения.

На миг он замолкает. Пауза. Мы слушаем. О б а! Но за дверью — тишина. Полковник, видимо, удовлетворён. Всё идёт, как надо. Кипит работа. Его помощь не требуется.

Следователь, без лишних слов, снова валится на стул. Даже спасибо мне не сказал, невежа. Раньше на правой, теперь на левую щёку улёгся. И опять нос его, как милицкий свисток, трели пускает.

Спи спокойно, человек. Тебе хорошо? Ну и мне тоже. Спи. У тебя надёжный страж. Что уже может быть надёжнее, если палача сама жертва охраняет? Совсем библейская картинка получается. Лев и агнец рядом. Только что ни вылизывают друг друга.

ГЛАВА 15

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

Никак не понять, что у них там происходит. Не то у Меерзона, не то где-то повыше. Может быть, дела к ним поступили поважнее моего, а может быть, каких-то новых материалов ждут, чтобы уже наверняка меня прижать. Во всяком случае, потерял Меерзон ко мне всякий интерес. Привезут меня, а он — ноль внимания. Копаются в бумагах, по телефону болтает, да так, что и не поймёшь, с кем и о чём. А главное, перестал давить. Сунет карандаш, бумагу положит, раз-другой матюкнётся, скажет своё любимое "Пиши, падло!", и всё.

Я не исключаю того, что капитан испытывал ко мне какие-то добрые чувства, во всяком случае моя маята не шла ни в какое сравнение с тем, что испытывали мои товарищи. Мой следователь не использовал и десятой доли своих возможностей. Я даже думаю, и не без оснований, что, захоти он, и кое-что для пользы дела мог бы из меня добыть.

Нет у меня причины считать себя более стойким, чем другие.

В одном лишь был я уверен твёрдо: ничто не заставило бы меня впутать и тем более погубить моих друзей и близких. Такое исключено. Что до себя лично, то здесь уверенности у меня не было.

К счастью, ни Меерзон, ни те, с кем мне пришлось иметь дело после него, этого не знали. Но я-то знал, что се-

бя вполне мог бы подставить, если бы дошло до крайности. А крайности у меня всегда были перед глазами. Особенно в бане.

И эти люди, пожилые и даже просто старики, с непостижимым самообладанием и удивительным спокойствием обсуждали у параша свои грустные дела. И какие дела! А со стороны глядя, можно было подумать, что речь идёт о летнем отдыхе или очередной проказе внука. С улыбкой ведётся беседа. И ведь о чём говорят!

— Так вы, значит, дела ещё не подписали?

— Нет, не подписал. Каждый раз чего-то недостаёт. Всё тянет и тянет следователь. А что из меня тянуть? Больше, чем сказал, уже не скажу. Нечего мне сказать. Я всю их науку прошёл. И укркабель, и укremeбель, и с резинтрестом даже познакомился. Всё, вроде, попробовал.

— Ещё, правда, главтабак остался, — смеётся собеседник. — Я и с ним дело имел. Скверная, скажу вам, штука. Лучше уж ещё им, собакам, косточку подбросить. Не стоит мелочиться. Вы и так отвалили немало.

Вот такие ведутся у параша беседы. Не со скрежетом зубовным, не со стиснутыми кулаками. Беззлобно ведутся. Поделовому.

Перечёл я, что о беседе старцев наших написал, и вижу: пояснение требуется. Не всякий сходу поймёт, к чему разные учреждения здесь упоминаются. А ведь просто! Изделия их широко в следственном деле употреблялись. Ножики от стульев — ясно, чья продукция. Опять же кабель — тоже, да и шланг резиновый... известно, откуда происходит. Что до табака, то он не в чистом виде — больше папиросами пользовались. Сигарет в те годы, кроме как "Тройка" экспортная, у простых людей и быть не могло. Деликатес! Так что, следователи больше "Пароль", "Нашу марку" или даже поганые "Раскурочные" применяли. И с немалым успехом. Не всякий вынести мог их, папиросы.

А про кабель и мебель услышал я от Петра Петровича Кудрявцева. Ему уже далеко за семьдесят было. Вся беда его в том состояла, что закончил он духовное училище. За то и сидел, хотя всю жизнь преподавал в школе язык и литературу. Между прочим, был он убеждённым атенистом, и уж если и врагом чьим был, то церкви, в первую очередь. Мы очень с ним дружны были.

А выйдя на волю, в случайном разговоре я выяснил, что был Пётр Петрович любимым учителем товарища моего, Аб-

раши Животовского. Мы всё собирались навестить его, но слишком долго собирались. Не дождался нас Пётр Петрович. В том же тридцать девятом, вскоре после освобождения, он и скончался.

Здорово меня занесло, вовсе в сторону от главного отдалился. Между тем, в этом главном серьёзный поворот наметился. Пришёл конец долгому моему бесплодному мотанию. Я это сразу понял, как только в тот день капитана увидел.

Сказать толком не могу, что изменилось. Но изменилось, без всякого сомнения. В поведении следователя. Я привык его суетливым, даже вертлявым видеть, а тут вдруг он какую-то строгость в движениях приобрёл. Развалился на своём стуле, что-то на столе перекладывает, хоть и видно, что делает всё без надобности, и на меня время от времени поглядывает. Нарочито многозначительные, гипнотизирующие взгляды бросает. Но самым, всё же, знаменательным, самым необычным было то, что ни бумаги, ни карандаша он мне не предложил. За пустым столом сижу. Не было ещё у нас с ним такого.

Тут вдруг появляется полковник. Точно Петрушка из-за ширмы. Он сегодня в штатском. То-то мы его проглядели. На нём светлый костюм и модные туфли. Они-то нас и подвели. Сапоги когда были, не вышло бы с нами такого. Они, как ботало на скотине, за версту сигналили. А в туфлях, конечно, музыка не та. Впрочем, не всё ли равно? Мы, правда, не работаем, но бодрствуем всё же.

— Ба, знакомые всё лица! — Полковник криво усмехается, презрительно кривя рот.

Вот уж не думал, что такое мурло классиков читает. Чёрта с два, читает! Слышал от кого-то, вот и блефует.

— Студент? Вы ещё с ним не закончили, капитан? И доколе?

— Сегодня будем кончать, товарищ полковник. Сегодня! — Он вытягивается и, как тогда, шерудит своими штатскими обувками.

— Кончайте, кончайте, капитан. Давно пора. Время поджимает.

Я слежу за каждым его движением. От него всего ожидать можно. Как в тот раз мне пояснил капитан, он шутить не любит. Я и без его пояснения это понял. Пятно на рукаве так и не отмыл.

Но на сей раз обошлось. Полковник прощается и выходит.

— Слыхал? Слыхал, что я сказал начальнику области? Не зря сказал. Сегодня будем кончать. — Говорит он с явным удовольствием. Я отношу это за счёт краткости визита полковника. Мне кажется, что Меерзон в его присутствии чувствует себя не намного лучше меня.

Вообще-то я ничего не понимаю. Что он собирается кончать? Какой может быть конец без начала? Ни одного листочка ещё не замарал. Ладно. Посмотрим. Что-то они для меня приготовили. Только бы не оплошать. Ведь с кем дело имею!

Меерзон резко встаёт, отбрасывает стул и направляется ко мне. В его руках лист бумаги.

— Это тебе, профессор недоделанный, для ознакомления. Теперь ты у меня заговоришь! — Он кладёт передо мной лист и принимает позу Наполеона.

Что же там, на этой бумаге? С чего бы ему так выпендриваться?

— Постой, не торопись. Ишь, обрадовался! — Я успел уже взять бумагу, но он вырывает её из моих рук. — Сделаем так. — Он загибает верхнюю и нижнюю часть страницы, идёт к столу, достаёт несколько скрепок и скалывает загнутые места. Я не сразу соображаю, для чего. Ах, вот оно что! Загнул шапку и концовку. Подпись засекретил. Мог бы и раньше, но, видимо, так задумано. Пусть, мол, знает, что были заглавие и подпись. Жаль, конечно. Очень бы всё мне пригодилось. И то, и другое. Да что поделаешь? — Теперь читай! — Он возвращается на своё место и разваливается на стуле. Руки забрасывает за спинку. Вся его поза и злорадная улыбка выражают торжество. Он предвкушает.

Я ничего не предвкушаю. Ничего хорошего, конечно, не жду, но всё равно интересно.

Однажды я был свидетелем несчастного случая. Человек догонял трамвай. Догнал, схватился за поручни и вскочил на ступеньку. Но оступился, сорвался и упал. Прямо под колёса прицепного вагона. Но как-то сумел он извернуться и под колёса попали только его ступни. Трамвай прошёл, а парень лежал скрючившись и негромко, словно не желая привлекать внимания к себе, монотонно повторял: "Всё, всё, всё, теперь всё!"

Читал я Меерзоновскую бумагу, и не вслух, конечно, звучало во мне — вместе с ударами заметавшегося сердца — это короткое слово: "Всё, теперь всё".

Черта подведена. Треволнения и переживания последних недель казались теперь гроша ломаного не стоящей, жалкой суетой. Такого я не ожидал. Убила меня эта бумага. Она не оставляла надежд. Убийственная её сила состояла в абсолютной правдивости. Документ был точен и верен, как метрическое свидетельство. Я не мог не только опровергнуть, но даже поставить под сомнение ни одного слова. Ни одного!

Всё то, что в ней было написано, словно из разговоров наших у Шурки подслушано. Всё. Слово в слово. Кто же мог это написать? Мои ребята? Да быть того не может! Ещё если бы кто из них тут был, с лампой и укрмебелью познакомился... Но на воле? Немыслимо! Но факт. Написано.

Некуда мне теперь деться. Придётся сдавать позиции. Без боя. Голыми руками теперь меня бери. Я-то себя знаю хорошо. Тут наглость нужна, чтобы с ложью против правды выступать. Нет у меня наглости. Не смогу я белое чёрным называть. И чёрное белым тоже. Не дано мне. Много дано, а это — нет.

Хоть бы следователь не пялился на меня — упёрся своими совиными глазами, за каждым движением моим следит, ждёт негодяй, что я сейчас на колени упаду и каяться стану. Не могу сосредоточиться.

А сердце моё словно с цепи сорвалось. Хоть рукой держи, до того расходилось. И, странным образом, оно меня в чувство приводит. Нельзя, думаю, при таком сердце серьёзные решения принимать. Паника, известное дело, приходит и уходит. Спокойствие и терпение — вот что мне теперь нужно. И голову не потерять. Даже при пожаре и кораблекрушении кое-что удаётся спасти. Может быть, не всё так и безнадёжно. Эх, кабы мне в камеру! Хоть на часок. Хоть на полчаса! Товарищам рассказать — Петербургскому, Борису, посоветоваться, слово утешительное услышать. Да где там! Надо решать самому! Только самому. Не мальчик, в конце концов!

— Ну, как теперь, поговорим? — ехидно улыбается Мерзон.

— Подумать мне надо, — тихо говорю я. — Перечесть и подумать.

— Думай, думай, давно пора.

Я уже успокоился. Плохо успокоился. Просто волноваться перестал, обречённость свою осознав. Всё мне безразличным стало.

Снова перечитываю текст. Он, конечно, не изменился, но воспринимается по-иному. Словно притупился. Весь он состоит из отдельных, отчёркнутых абзацев. Каждый начинается со слова "что".

Что Сталинская конституция — одни лишь пустые слова. Никаких свобод она не даёт. Ни свободы слова, ни свободы собраний, ни свободы личности.

Что человек в стране бесправен. Хватают за каждое слово. У невиновных пытками добывают показания. Дела решаются не судом, а тайнственными "тройками" заочно.

Что стахановское движение — сплошная липа. Результатом будет не повышение производительности труда, а снижение зарплаты рядовому шахтёру.

Что избирательная система — одна лишь комедия. Народ не выбирает, поскольку кандидат уже утверждён наверху, а в бюллетене только одно имя.

Что Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие сделали свои признания под пытками. Никакие они не западные агенты и не враги народа.

Что голод 1931-1933 годов — результат насильственной коллективизации, погубившей сельское хозяйство страны.

Вот такой был документ. Стояло в нём ещё несколько пунктов, но не припомню уже, каких. Давно было дело. Да и значения это не имеет. Правильно всё в нём было. Под каждым абзацем я мог расписаться с чистой совестью.

Кто же мог его составить? Ведь слово в слово всё, что я говорил! Не сразу всё, вроде бы доклад делал, но говорил. Разве упомнишь, кому? И разве один я говорил? Проще спросить, кто не говорил?

Я уже знал текст на память. Пункт за пунктом. Каждое слово. Но, кто за ним стоял, даже близко себе представить не мог. И, вообще, никаких обобщений сделать мне не удавалось. Ничего специфического, свойственного именно мне, словечка какого-нибудь моего, в тексте не было.

Только одно обстоятельство обращало на себя внимание. Пункт о бесправии, пытках, судах и "тройках" был самым обширным. Конечно, я это говорил, но почему-то имя и дело брата нигде не упоминалось. Не мог я не говорить о брате. Был у меня конкретный повод для высказывания о судах и всём подобном. А в бумаге — ни намёка. Странно и подозрительно. Но, что следует подозревать, я не знал. Чувал, что кроется за этим нечто важное, а ухватить не мог. Так и не придумал ничего. Глуп, наверно, был. А может быть, и

задача была не из лёгких! Это теперь мне кажется, что всё на поверхности лежало.

Подумал я о брате, и мороз по всему телу пробежал волной ледяной. Вовка, братик мой, неужто и ты всё это вытерпел? Там, на воле, казалось мне, просто всё у тебя было, дело ведь твоё — судебное. Ты сказал, сам же подтвердил, да свидетели. Так и дело-то проще простого! Но ведь могло и не так быть! Теперь-то всё мне в ином свете представляется. Разве не мог какой-нибудь Меерзон, а то и похуже кто, из тебя признания во вражеской деятельности выжимать? Да ещё так, как из друзей моих искалеченных?.. Может быть, большой кровью досталось тебе дурацкий тот Фейхтвангеровский эпизод отстоять? Мысли эти просто рвали душу мою. Знал я твёрдо, что не уступил Вовка, что ничего, кроме правды, не могли они добыть у него. Господи, мука какая.

В камеру мне нужно! Любой ценой — в камеру! Не справлюсь я в одиночку. Помощь нужна!

Так и решил. Пока не повидаясь с товарищами, один у меня выход: стоять насмерть! Ничего не говорить, ничего не писать, ничего не признавать, ничего не обещать! Время выиграть надо и — в камеру!

— Подумал? Писать будешь? — подаёт голос следователь. Он подходит и забирает свою бумагу.

— Мне бы отдохнуть, гражданин следователь. Ведь третью неделю не сплю. Ничего не соображаю. Хоть одну бы ночь поспать по-людски.

Говорю, и сам себе противен.

— Одну хоть ночь дайте передохнуть, — повторяю я неуверенно и без необходимой сейчас твёрдости. — Одну только ночь.

Я и впрямь утомлён сверх всякой меры. В моём состоянии таких глупостей можно наделать, что уже никто не поможет. Мы как минёры. Один раз всего ошибиться можем. Только один! О минёре, когда такое говорят, можно и поспорить. Словцо, конечно, красное. А в жизни сколько я минёров видел, которые ошибались! Что покалечило, так это факт. Кто пальцы потерял на ноге, а не то и всю ступню, или ногу до колена, а кто контужен, а кто и обыкновенную рану схлопотал, какая у любого пехотинца случается. Так что, может и минёр разок-другой ошибиться. А нам — нельзя!

Я жду ответа, а вместо него слышу за спиной щелчок замочный. Принёс чёрт, чего доброго, и самого полковника! Если он, то дело моё — табак!

— Товарищ капитан, — слышу над самым ухом, — полковник приказал передать, что совещание начинается.

Следователь раздражённо пожимает плечами, кривится и что-то бормочет. Матюкается, надо полагать.

— Скажешь полковнику, что сейчас буду. Работаю с заключённым.

— Слушаюсь, товарищ капитан! Разрешите идти? — Щёлкают каблуки, и хлопает дверь.

Ах, какой молодец полковник! Совещание у него! И как он догадался, что на сейчас его назначить следовало? Молодец! Совещание — это то, что мне нужно. Если бы оно чуть раньше, то и унижаться бы не пришлось.

А конвойный уже в дверях.

— Уведите арестованного! — не поднимая глаз, командует следователь. — Везёт тебе, студент! Но не беспокойся. Я своё возьму. Уж теперь возьму. Дай только срок. Теперь не отвертишься.

— Арестованного как: отправить или здесь... — Это конвойный.

— Отправить, отправить! — досадливо машет рукой Меерзон.

Ура! Наша взяла! Никакой, даже самый серый, волк мне теперь не страшен. Только бы до камеры добратся, до дома родного! Там я как за каменной стеной!

ГЛАВА 16

НЕ ВЕРЬ СЛЕДОВАТЕЛЮ!

Если какие-то дни у нас и можно считать хорошими, то сегодня именно такой. Только с Меерзоном расстался, только — за дверь, а воронок уже меня ждёт. Это я, понятно, выразился так. Образно. Никто меня, конечно, не ждёт. Просто подгадал удачно. И так удачно, что, минуя будку, прямым ходом мчусь к Лукьяновке.

В воронке мне повезло меньше. Попадаю в душегубку. На моё счастье, один.

Да это сегодня вообще не главное. Комфорт, я имею в виду. Есть заботы поважнее. Мысли у меня как побережье океанское. То прилив, то отлив. Прилив — так хорошо всё

мне представляется! Сейчас, думаю, в камеру попаду, товарищей соберу на совет, а они уж не оставят меня в беде. Выручат. Найдут какой-нибудь ловкий ход конём. Но тут — отлив. И уже совсем иначе мне дело представляется. Никакие ходы, хоть даже и конём, не спасут. Есть этот подлый листок, и никуда он не денется.

Как вспомню про листок, так меня из жара в холод бросать начинает.

Зато сразу обо всём забываю, когда прибываю на место. Здесь тоже мне повезло — прямо к баланде успеваю. А поскольку я уже не раз очередь свою пропускал, то баланда у меня сегодня — и не расскажешь! Ложку на попа ставить можно! Ну, не так уж чтоб ложку, но отыскать в ней кое-что могу! И хлеба, к тому же, мне две пайки досталось! Чем не праздник!

Хватаю свою миску и пристраиваюсь к Борису. Пытаюсь повести серьёзный разговор, но ничего из этого не выходит. Слишком у нас в руках дело увлекательное. Правда, ненадолго меня хватает. Пол миски выбрал и чувствую: не могу больше. Не есть, а молчать больше не могу. Борис, конечно, может и баланду уминать, и слушать.

Я рассказываю. Борис слушает. Слушает и хмурится. Не нравится ему моя история. Он, конечно, пытается меня успокоить. Уговаривает, словно я — дитя малое.

— Ты же, надеюсь, понимаешь, — наставительно говорит он, продолжая возню с ложкой, — что на волю отсюда не выходят. Статью будешь иметь, как ни верти. Так, теперь хоть знаем, что будет десятая. Изю всех в пятьдесят четвёртой самая безобидная. Не шпион и не диверсант. Просто болтун. Ну, наболтал по молодости лет и недомыслию. Ничего страшного.

Может быть, и прав Борис, но не по душе мне его трезвость. И вообще... унизительно в болтунах ходить. Лучше уж в шпионы податься. У нас не так, как у уголовников, конечно. Не по статье человека оценивают. У них всё ясно и просто. Убийцы — наверху, а всякая шушера, мелкие воры — у подножия иерархической лестницы. Но что-то и мы у них позаимствовали. Во всяком случае, к террористам, шпионам и диверсантам у нас относятся с уважением. Не так, как к "десятникам", что по десятой статье агитаторами антисоветскими числятся. И это справедливо. Мученический престиж у них. И заслужили они его. Кровью своей добыли.

По десятой тоже могут выдать на полную катушку. Но шарм уже будет не тот. Короче, не нравится мне эта статья.

Вообще, другого я от Бориса ждал. Не утешение мне нужно. Бороться хочу. Шок от удара, который я получил у следователя, я преодолел. И настроение у меня теперь иное. Воинственное, боевое.

Пусть докажут, что в их бумаге, действительно, мои слова. Я ведь и отказаться могу. И очень даже просто. Скажу, что всё — клевета. Оговор! Насмерть буду на том стоять. Оговор, и всё! Пусть доказывают!

Есть, конечно, в такой позиции слабое место. Не знаю я, что загнута и скрепками прижато. А если там имя обнаружится? И потом ещё очную ставку устроят. Куда деваться?

Иду к Петербургскому. Уж у него всем головам голова.

— А, Домчик! — встречает он меня и щедро раздвигает свои губки в улыбке. — Придётся вас так называть, если уж Домом окрестили. Ну, присаживайтесь. Побалакаем.

Бывало, застигнет на рыбалке дождь проливной, да с ветром свирепым, нахолодаешься, измокнешь, ищешь, где бы укрыться, а тут коллега в палатку свою приглашает. Нырнёшь за полог и уже словно в иной край попал. Сухо, тепло, не каплет и не дует. Благодарь!

Вот так я себя, присев на подстилку, в адвокатском закутке почувствовал. Здесь ничего не меняется. Коврик, пижамка, тюбетеечка, аромат дорогого мыла. Носки, замечаю, на Петербургском другие. В полосочку.

— Беда у меня, — говорю. — За советом пришёл, если не откажете.

— Беда? Чудак человек, — весело говорит он и закидывает за голову руки. — Здесь у всех беда. Иначе зачем бы мы тут сидели? Главное наше дело — бедовать. Так, что случилось, выкладывайте по существу. На что жалуетесь, пациент? Кто обидел? Что беспокоит?

Вот такая голова мне и нужна. Без охов и вздохов.

Адвокат слушает внимательно. Не перебивает, ничего не спрашивает. Его аккуратненькие светлые бровки время от времени приподнимаются. И губы шевелятся, словно во рту леденец.

Я кончил, а он молчит. И так долго молчит, что уж и не знаю, как быть. Не "нукать" же мне на него! Молчит, значит, сказать ему нечего. Выходит, уж и вторая голова — мимо. Третья, если и мою в расчёт брать.

И тут он руки из-за головы освобождает, тюбетеечку поправляет и садится.

— И это всё? — спрашивает он неожиданно резко.

— Всё, — говорю. — А что, мало?

— Эх, Домчик, Домчик! И правда, что беда у вас. Кругом одна беда. Ни опыта, ни выдержки, ни знания людей. Разве с таким багажом можно соваться сюда? Ну где вам тягаться с этими зубрами?

Он так это говорит, словно я по доброй воле пришёл сюда, чтобы схватиться с ними, зубрами.

— Так вот. Слушай меня внимательно. — Он впервые переходит на "ты", и от этого одного мне становится легче. — Учили тебя здесь правилам заключённого? Помнишь, какое первое, самое главное? Если забыл, напоминаю. Золотое это правило. *Не верь следователю!* Если не усвоил, не суйся! Не верь следователю, — повторяет он. — Ни в чём и никогда! Понял? — Свой вопрос он не считает риторическим и ждёт ответа.

— Понял, — говорю. — И правило знаю. Ну и что?

— А то, что всё это пустое! Слышишь? Выеденного яйца не стоит! Чистая провокация, притом, самого низшего пошиба! — Он говорит с таким жаром, что даже порозовел весь. — Говорил ты то, что там написано? Ответа твоего не жду. Говорил, конечно. В том-то весь их замысел и состоит, потому что в с е это говорили. Нельзя было не говорить!

Я ещё не знал, какой последует вывод, но и без него почувствовал себя как альпинист, взобравшийся на самую высокую вершину. Вздохнул полной грудью. Ну и умница наш Петербургский!

— Слушай дальше. — Он встряхнул моё плечо, хотя никакой нужды в том не было. Никто никогда и никого так не слушал, как я его. — Н и ч е г о у них против тебя нет! Ничего! Готов поклясться, что этот листок в ходу не первый раз. Ты подумай, зачем им подпись скрывать? Кого они боятся? Чего стесняются? Повторяю. Провокация чистой воды!

Вот это разговор! У меня даже мурашки по всему телу побежали! И слёзы глаза затуманили. У меня всегда они появляются, когда что-нибудь меня в восторг приводит. Музыка или стихи.

— Тебе нужен совет? — продолжал адвокат. — Даю совет. Но прежде скажи откровенно, что бить будут, очень боишься? Били уже тебя?

— Да нет, сказать, что били, не могу. Так, сунули раз, другой, но без дела. Битьём на допросе не давили. Боюсь ли? Разве есть такие, что не боятся? А вот готов ли терпеть, будет зависеть от условий. Думаю, так. За себя не слишком. За других готов. Смогу. За себя труднее, ответственность меньше.

— Всё верно. Так и быть должно. Значит, совет мой таков. — Он поёрзал на своём месте, усаживаясь поудобнее. — Наплюй на всё. Тверди одно: "Всё в бумаге ложь и клевета. Ничего подобного не говорил и в мыслях не имел. Не знаю, какой подлец мог на меня такое возвести. Нет и нет! А если мне не верите, давайте очную ставку. Пусть негодяй мне в глаза скажет. Требую очную ставку!" Держись так и переходи в наступление. Вот тут не оплошай! Очень важный момент! Повьись голос, кричи: клевета, требую очную ставку. И ни шага назад! Ты всё понял? Сумеешь?

— Ещё бы, — захлёбываюсь я от внутриутробного, беснующегося восторга. — Всё понял! Всё теперь сумею! Вы меня так завели, что я...

— Стой, не петушись, — прерывает меня Петербургский. — Ты учти, что на этом месте, по всем законам, должны они тебя остудить. Бить начнут. Так просто они тебе этой бумаги не простят. Станут на все педали нажимать. И тогда уже всё будет зависеть от тебя. Как документ признаешь, конец. На шесть — семь лет можешь рассчитывать твёрдо, по 54-й, пункту 10.

— Всё я понял! Спасибо вам на всю мою жизнь. Я и сказать не могу, что вы для меня сделали! — Я схватил его руку, жал и тряс её и никак не мог успокоиться. Если бы не было так неловко и стыдно, я бы поцеловал её. — Как мне вас отблагодарить? Что я могу сделать для вас?

— Чудак вы человек, — он почему-то снова перешёл на "вы". — Не гонорар же мне у вас брать! Да я и не взял бы! На воле — конечно. Бесплатно адвокат советов не даёт. А здесь я не на службе и не адвокат. Не будем об этом. У меня сын здесь. Такой, как вы, и на таком же положении. А я, увы, ничем ему помочь не могу.

Любой на его месте или слезу бы пустил, или иным путём скорбь свою показал. И никто его не осудил бы. Было у него право на скорбь. И на слезу тоже. Но он — ни в одном глазу! Просто констатировал факт. По ходу деловой беседы. Даже паузы не сделал.

— Всё! Действуйте! — продолжал он. — Если пойдёт, как я сказал, удастся вам из этой ловушки выкарабкаться.

Вот такую голову послал мне Бог в трудный час. Не иду, а лечу в свой закуток.

Борис не разделяет моего восторга. Его самолюбие уязвлено. Но злопыхательством он себя не унижает.

— Может быть. очень может быть. — С сомнением качает он своей лысоватой головой. — Но что из того? Хоть так, хоть этак, а выходит "десятая".

ГЛАВА 17

ПИРРОВА ПОБЕДА

Насчёт того, как мне всякое ожидание достаётся, я уже рассказывал. Только замечу, что такого ожидания на мою долю ещё не выпадало. Тут не только ожидание. Горение души! Истощение ума! Ждал и страшился.

Если бы мне сказали: не будет встречи со следователем, решение велено заочно вынести, так что ждать нечего, живи спокойно, я бы отказался! Мне впоследствии не раз приходилось в таком положении бывать. Не в том смысле, что свидания со следователем ожидал. Такого уже, слава богу, больше не было. Но муки, подобные тем, испытывал, когда предстояла лекция или особой ответственности доклад на какой-нибудь конференции и съезде. Ох, и трясся я! Кровь против течения бежала от страха! Тысячу раз умирал и к жизни возвращался! Хоть бы пронесло! Хоть бы провалилась в преисподнюю эта лекция или конференция! Пусть бы перенесли их на другой день. Даже на один. Только бы не завтра!

А когда так и случалось, откладывалось дело или вовсе отменялось, места себе не находил.

Вот так и теперь. Ждал, мечтал, что пронесёт, а не хотел. Я уже весь, как лук натянутый, был, как пружина взведённая, как до самого спуска утопленный ружейный крючок. Один выход — спускать пружину! Даже если по мне выстрел будет. Всё равно.

В таком состоянии отсчитывал я уходящие дни. Каждый день как год. Каждый час — что месяц. А меня не звали. Враг есть враг. Он всегда норовит по самому больному месту ударить. На край бездны привести и бросить! Бросили меня, не звали, двенадцать дней не звали! Шутки, целых

двенадцать дней! Это, считай, по нашим каторжным меркам жизнь! Я и прожил её до последнего часа. Лучше бы мне на этом часе и закончить её, всю, которая мне вообще отпущена. И дня этого, что ждал я так томительно, тоже лучше бы не было. Один у меня в жизни такой день был...

Итак, дождался я, наступил добрый, как мне казалось, вечер, когда т а м вспомнили обо мне. Не мог же я знать, как всё обернётся!

Только мы улеглись, а двери уже нараспашку.

— Дон Ильич! — Имя моё за те две недели, что гонял меня Меерзон без передыха, выучили все смены. Шло теперь без задоринки.

Я даже не откликаюсь. Просто встаю и начинаю собираться. Штурпаки и так знают меня. И место, где обитаю, знают.

А сна как не бывало. Вмиг сбросил. Будто и не было этих двенадцати дней.

В таком состоянии проделываю путь. И вот уже иду по знакомому коридору. Сейчас направо, ещё чуть-чуть прямо и буду на месте. В Меерзоновской берлоге. Но свернуть, как привык, не выходит.

— Куда, куда, вперёд давай! Прямо вперёд! — командует конвоир.

Что за чертовщина! Куда "вперёд"? Но иду, конечно, раз ведут.

Вдруг "стой" команда! Ничего не понимаю. По инерции делаю ещё несколько шагов.

— Стой, стой, тебе говорить! — взвывается штурпак.

Я останавливаюсь возле незнакомой, обитой чёрным дерматином двери. Не был я ещё здесь. И номер на двери незнакомый — 38.

Конвоир открывает дверь, и я захожу в просторный, ярко освещённый кабинет. Меерзоновский, по сравнению с этим, просто собачья конура. Всё здесь другое. И мебель солиднее. Стол — бильярдного масштаба, диван — кожаный, портреты — в толстых рамах — не плакатики, кнопками прищипленные, как там. А уж если сравнение с конурой продолжать, то и пёс здесь тоже не чета тому.

Меерзон рядом с ним просто шавка. Шарик-Бобик. Ну а этот — дог. Сенбернар! Мне поначалу показалось, что он на столешнице восседает, а не на стуле, — до того над столом его голова возвышалась. Монументальный экземпляр. И физиономия — в том же стиле. Не поскупился творец — мате-

риала на все детали, на нос особенно, отпустил щедро. Но получилось, в общем, неплохо. Недурён, очень даже недурён мужик. Мне-то это всё равно. Уж мне — точно, с лица воды не пить.

— Садись, — Шаляпинским басом приглашает он, привлекая эти звуки из бездонных глубин. — Моя фамилия Нетысюк. Майор Нетысюк. Дело твоё теперь я поведу.

Я, конечно, слушаю его. Нельзя не слушать, но при всём том душат меня два вопроса. Душат со страшной силой В первую очередь хочу знать, куда Меерзон подевался. А во вторую — б у м а г а! Как будет с ней теперь? Вся судьба моя дальнейшая от этого вопроса зависит. Но это пустой разговор. Вопросов здесь не задают. А раз так, то ничего другого мне не остаётся, как затанцевать со своими вопросами и ждать. Я и жду. Интересно, о чём речь пойдёт.

Не то слово — интересно. О жизни речь идёт! Если не с бумаги начнётся разговор, значит, прав Петербургский. Липовый мне документик подсунули. Меерзоновские выверты. Этот, в таком случае, и знать о нём ничего не знает, ведать не ведаёт. Если липа, то в деле и следа не должно быть. Наверное, у каждого из них свои профессиональные находки, штучки-дрючки, которые каждый от чужих глаз подальше прячет. В любом деле так.

— Значит, так, — неторопливо продолжает майор. — В деле твоих показаний нет. Не хочешь, значит, как честный советский человек, помочь следствию. Не растолковали тебе как следует, расчёт сделали на твою совесть. А совести у тебя нет. Не пойдёт так у нас дело. Придётся с другой стороны за тебя браться. Крепко браться! — Он сделал паузу, грозно нахмурился и угрожающе выпятил желваки. Каждый с кулак величиной. — Так мы и сделаем. Не сегодня. Сегодня занят я. Поговорим завтра. А может быть, даже и послезавтра. А ты пока подумай. Советую. Что за тобой у нас есть, тебе известно. Значит, даю тебе задание на следующий раз: всё продумать, чтобы в голове было наготове. Как вызову, сядешь и сразу напишешь. Понял?

Я тогда подумал, что не иначе как учительствовал он, прежде чем сюда пришёл. По какому-нибудь комсомольскому или партийному призыву. Это тогда модно было, призывы всякие. На борьбу с врагом тоже призыв был. Об этом я и раньше слышал. Призывали и "бросали" — куда требовалось. По решению *нашей* партии. И Нетысюка так. Наверняка, из школы призывали. Прежде он школярам, а теперь

мне "задания на следующий раз" даёт. Точно, он был учителем.

— Так, ты всё понял? И чтобы без мудни! Напишешь всё как есть. А не напишешь, не обижайся.

Я и слушаю и не слушаю. То вопросы мучили, а теперь радость меня душит. Ох, и умница мой адвокат! Ясновидец! Нет у них ничего против меня! Липа, всё липа, снизу доверху! Нашёл дурачка! "Что за тобой, тебе известно!" Да, да, известно! Ни черта у вас нет! Задание он мне даёт! Меня теперь голыми руками не возьмёшь! У меня тут тоже школа. Кой-чему всё-таки научился.

— Смотри у меня! Шутить со мной не советую. Понял? — Последние слова больше рык, чем человеческую речь, напоминают. Аудиенция закончена. Майор снимает трубку. — Сорок! Да, уведите арестованного. Да, Нетысюк.

До прихода конвоя он ведёт себя так, будто кабинет пуст. Меня, видимо, в расчёт не принимает. Для него я животное или раб. Вынимает зеркальце, смотрится, где-то вырывает волосок, что-то царапает на лбу ногтём, гримасничает, разглядывает язык. Покончив с этим делом, принимается за свой туалет: расстёгивает ширинку и заправляет рубашку, тщательно разглаживает складки. Приход конвоя не прерывает его возни — он продолжает застёгивать ширинку.

Здорово всё-таки проняло Петербургского — не успел я шагнуть в камеру, он уже кричит мне:

— Ну-ну, с чем вернулись? Давайте живее, рассказывайте!

Мне приятна его заинтересованность, и я охотно выкладываю всё.

Но он "всё" не хочет. Ему нужны одни только факты. А я так не могу. Я должен — по ходу — и мысли свои, и соображения высказать. А он не даёт. У нас так же получается, как в советской торговле, — продавцы норовят "нагрузку" всучить. Мне, к примеру, кофе растворимый нужен, а дают мне в придачу консервы поганые и панировочные сухари. Да ещё это "в придачу" — в двух экземплярах! Так и у нас с Петербургским.

— Нетысюк вам не Меерзон, — заключает он. — Его дразнить рискованно. Бумагу мы с вами правильно оценили. Туфта, несомненно. Сам, может быть, Меерзон её и написал. И такая у меня мыслишка, что не зря. Ты же его всё терзал. Не знаю, что писать, помогите, мол! Вот он тебе и ре-

шил помочь. Намёк, своего рода. Если за сюжетом, за темой остановка, то, пожалуйста! Вот и тема, и сюжет. И придётся нам в дальнейшем это учесть. Что-то ведь надо им подбросить! В чём другом, а тут Борис Аронович прав. Без статьи тебе не быть. Значит, надо статью брать, но, по возможности, малой кровью.

— Что же я им подбросить должен? Наклепать на себя?
— Я искренне возмущён. Не ждал такого поворота.

— Почему же наклепать? — смеётся Петербургский и издевательски оскаливает зубы. — Сам ведь говорил, что в бумаге всё верно, слово в слово! Вот и мы так. Правду, всю правду, и ничего, кроме правды. — Он и вовсе развеселился, а меня зло берёт. Будь это не он, а кто другой, то я даже не знаю, чем бы такой разговор мог закончиться. — Постой, ты не кипятись, — говорит он и убирает свою улыбку. — Было же такое? Говорил?

— Так-то оно так, но вы же сами... Доказательств-то у них нет!

Петербургский снова улыбается, но улыбка у него теперь иная. Горькая и сочувственная.

— Да что толковать о доказательствах! Будут доказательства. Ничего нет проще для них, как получить их. И в избытке. И они не дураки. Найдут твоих товарищей, сварганят ту же самую бумагу — твои, вроде бы, показания, и — всё. В крайнем случае, нажмут на кого-нибудь, кто послабее. А такого они нащупают в один момент.

Вот оно как. И верно ведь! Вызовут моих друзей — Шурку, Алёшу, того же Юрку и выжмут из них то, что требуется. Они-то обо мне всё знают. Всё, до капельки последней.

— Что же мне делать? Посоветуйте, давайте вместе что-нибудь придумаем.

Ох, и скучно мне сделалось! А так, казалось, всё хорошо устроилось!

— Давай, Домчик, давай. Для того и сидим. Выберем из той бумаги самое удобное, чтобы помягче да полегче, и с тем пойдёшь. Авось проглотят!

Долго мы с ним ещё сидели. На все лады прикидывали. Взвешивали, рассчитывали, редактировали будущие мои признания. На меня даже уже трясушка напала, как бывало на экзаменах. Вот-вот позовут, а у меня билет ещё не готов. Ведь и здесь так. Лязгнут двери, потребуют на букву "гы", а мы ещё не готовы.

Но человек, как известно, только предполагает. Зря мы торопились. Лишь через четыре дня на допрос попадаю.

— Подумал? — без всякого вступления встречает меня Нетысюк.

Всё, как обычно. Бумага, карандаш в руках. Я только на сей раз другой. Билет мой готов. Могу отвечать. И без обдумывания. На экзаменатора это всегда производило хорошее впечатление. Я, когда сам уже в экзаменаторах ходил, тоже любил, когда без обдумывания мне отвечали. Правда, бывало, что без обдумывания такую чушь пороли, что хоть свя-
тых выноси. А всё равно балл прибавлял, за храбрость.

Я честно тружусь, и через полчаса, или около того, работа готова.

— Ну, давай, поглядим, что ты тут нацарапал. — Следователь брезгливо смотрит на меня и на мои бумаги. Чего он так, не пойму. Казалось бы, радоваться должен. Первая, по сути, встреча, а уже есть показания!

С тем же брезгливым выражением Нетысюк забирает у меня написанное и усаживается за свой бильярд. Читает долго. Не то почерк не разбирает, не то осмысливает туго. Скорее, второе. Почерк у меня — дай Бог моим детям и — внукам тоже.

Наконец он вылезает из-за стола. Всё ещё уставясь в мой труд, подходит к моему столу и становится передо мной, широко расставив ноги.

— Сволочь ты, — говорит он, не повышая голоса, и даёт мне затрещину. — От тебя показания требуются, а не стайка в "Вечёрку". Ишь, волынку развёл! Смеёшься над следствием? Я тебе посмеюсь, писатель, ити твою мать!

Теперь он бьёт слева. Первый раз — справа. Соблюдает порядок. Ладони у него, как сковороды чугунные, но бьёт по-божески. Терпеть можно. Полковник, начальник области, был посерьёзнее.

Следователь швыряет мне писанину и выходит. Щёлкает замок.

Чего ему надо? Чем не показания? Главные пункты из того листка здесь отражены. Конечно, не враг же я себе. Идея у нас с Петербургским была, понятно, с двойным дном. Одна строка обвиняет, другая — объясняет, а третья — оправдывает. В основу всего — Вовино дело положено. Отсюда, мол, всё и пошло. Про суды, про липовые обвинения, а уж дальше и к большой политике ход. Сюда конституция пристёгнута, что де не соблюдается, поскольку в ней и не-

прикосновенность личности, и прочие права утверждаются. Оценка деятельности *органов* звучит цинично. Они, мол, нужнейшее дело творят — с врагами народа борьбу ведут, но, в нарушение закона, невинных прихватывают. Оно, конечно, без ошибок не бывает, раз лес рубят, то и щепки летят. Но закон есть закон. Всё это я подробнейшим образом описал и расписал. Старался, чтобы побольше вышло. Не подать же на большом листе пару тощих строк.

Очень, мне казалось, удачно у меня с Бухаринско-Зиновьевским процессом вышло. Всё к тому же. Если не соблюдается закон, если берут невинных и из них показания выбиваются, то где гарантия, что эти люди, соратники Ленина, не стали жертвами произвола? Ну, и всё в том же духе.

Что поделаешь? Пишу наново. Меняю порядок, кое-что добавляю, кое-что убираю, а в общем, ужесточаю. Гибкие выражения заменяю более жёсткими, острыми, изгоняю эффемизмы. Без фиговых листков... всё своими именами называю. В общем, секу сам себя, как та вдова. Пусть в полную силу звучат раскаяние и самобичевание. Вот, мол, ничего не скрываю. Саморазоблачаюсь. Виновен и готов понести справедливое наказание.

В иной момент сомнение берёт. Спыхватываюсь, не перегнул ли палку? Не слишком ли? Да за такое и впрямь следует выдать полной мерой!

А следователя всё нет. Ещё и ещё раз перечитываю написанное. Нет, всё хорошо. Письмо раскаявшегося врага.

Нетысюк появляется неожиданно. Как-то я и шелчок замка проморгал. Пахнуло ветром в затылок, и он уже передо мной, будто и не уходил. Опять стоит у моего стола раскорячившись.

Только он мою бумагу взял, в дверь постучали. Негромко, но уверенно.

— Да, да, — бросает Нетысюк, не прерывая чтения. И снова бежит холодок по моим ушам.

Лица нашего гостя не вижу, только спину, обтянутую гимнастёркой. Тошую, с выпирающими лопатками. И ещё вижу затылок, гладко выбритый и с ребячьей канавкой посередине. Затылок как затылок. Как говорится, без особенностей. Но почему-то, мне кажется, я уже его видел когда-то. Я ещё успеваю взглянуть на уши, тесно прижатые к голове, но с оттопыренными мочками. Их я тоже где-то видел. Знакомые уши. Их ни с какими другими не спутаешь.

— Работаем, товарищ майор! — говорит гость, протягивая руку моему следователю. Слова "товарищ майор" звучат фамильярно, даже чуть насмешливо. Сразу видно, что отношения между ними самые короткие. Друзья, надо полагать.

Чёрт побери, да ведь я знаю этот писклявый голос! Что там уши и затылок, уж голос-то этот я ни с каким-другим не спутаю!

— Так, с кем, товарищ майор, работаем?

Гость, наконец, устает своим вниманием, поворачивается, и мы встречаемся взглядами.

Вот это да! Едва удерживаюсь, чтобы не вскочить. Слово ледяной водой меня окатывает. Весь пупырышками покрываюсь и потом холодным.

Да ведь это Витька, Витька Косачёв из седьмого "Б"! Ну и надо же такое! Витька! Только его мне здесь не хватало! Теперь держись! Вот она, жизнь!

Подобное, казалось, только в романах бывает, да и то скверных. Но чтобы в жизни, да ещё в моей собственной? Плохо. До чего же плохо! Хуже не бывает. И что за проклятие надо мной? Почему именно Витька? Столько же у меня знакомых, и здесь, в органах, вполне могли бы быть! Вот сосед по квартире Ирин. Рабочий парень, не то токарь, не то слесарь, тоже по комсомольскому призыву где-то здесь. Мы с ним самые что ни на есть добрые приятели. Даже не раз за одним столом сидели и "Особой", что пятидесяти градусов, чокались. Так, надо же, чтобы Витька! Чего хорошего могу я ожидать от извечного врага и соперника моего?

С первого часа, как увидел его, мы уже врагами стали. Загорелась наша ненависть, как иной раз любовь. С первого взгляда. Встретились, глянули друг на друга, и всё. Враги. Навсегда. Так, по крайней мере, я тогда почувствовал. И не ошибся.

Бывало у меня так. Невзлюбишь человека, а за что, и сам не знаешь. Носишься с этой нелюбовью, как с дурным предчувствием. И вдруг сводит с ним жизнь в новых обстоятельствах, и открывается тебе человек с неизвестной стороны. Тут только и начинаешь понимать, что зря невзлюбил: хороший ведь человек. И вырастает из этой нелюбви дружба, да на долгие годы.

Бывает иначе. Поколебавшись, стремительно, минуя промежуточные стадии, неприязнь перерастает в ненависть, неуёмную, туманящую рассудок. Не то, что смотреть, думать о враге своём без содрогания не можешь.

Вот так у нас с Витькой. Дрались мы, как петухи на дворе. Мимо друг друга спокойно пройти не могли. И всё по пустякам. Мальчишками ведь были. Недорослями. И был я, на теперешнюю беду свою, в драках наших удачливее. Не то чтобы сильнее. Ловчее был. И ненависть моя была звериной. А это всегда действует. Не раз убеждался.

Но всё бы ничего, если бы не свела судьба нас в деле, которое, как мне казалось, не имело иного решения, кроме взаимного истребления.

Тут уж не пустяки. Всей душой, всем существом своим оценил я тогда чувства дуэлянтов. Не тех, что блюли показную честь, что шли к барьеру из-за косого взгляда или отдаленной мозоли, а тех, которые в уничтожении врага видели единственную возможность для дальнейшего своего существования. Вот так, как Грушницкий: "Нам на земле вдвоём нет места!"

Я так Витьку и воспринял. Или я с Линой остаюсь на планете, или Витька. Была у нас, в седьмом "Б" такая девчушка. Никитина Лина. Самая, я бы теперь сказал, рядовая девчушка, но что-то мы с Витькой нашли в ней и прикипели.

Я её, между прочим, встречал потом, когда уже взрослым, и даже женатым был. Такая из неё получилась пикантная бабёнка, а дурой она как была, так и осталась. Тела прибавила, а ума — ни на грош. В школе слыла, да и была такой, молчуньей, себе на уме. Очень она на свидания наших умела многозначительно молчать. Интригующе и зазывно. А что просто дурой была, этого мы тогда, конечно, не поняли. Да Бог с ней, не в том беда. Не уступили мы друг другу тогда места на земле, и вот на ней же и встретились в непоправимо горький для меня час. Да так встретились, что Витька сразу, без боя, наверху оказался.

Витька тоже балдеет от неожиданности, но в нём, конечно, пробуждаются иные чувства. Его кирпатый нос морщится в злорадной улыбке.

— Хо, хо, так вот кто у нас в гостях! Старый знакомый! — Он стоит, прислонив зад к столу, рассматривает меня, и крылья его ничтожного носика вздрагивают от удовольствия.

— Узнаёшь, не забыл надеюсь? Времени-то сколько прошло! Стой-ка. Это же тогда тридцатый был, а теперь уже тридцать восьмой у нас! Ого-го, восемь лет выходит!

На миг мне показалось, что зря я пупырышками и потом исходил. В его голосе я не уловил ни вражды, ни даже прежней, давней неприязни. Что ж, не исключено. Мало ли как

тогда получалось. Ребятами, по сути, были, хотя и у ребят дела бывают серьёзные.

— В школе вместе учились, — подмигивает он Нетысьюку. — За одной девчонкой ударили, ну и спуску друг другу не давали.

И опять я подумал, что напрасно так всполошился. Всё, что говорил Витька, ничего дурного пока не предвещало. Мне даже понравилось, как он это сказал, насчёт спуска.

— Помнишь, как ты на меня кидался? — Это он уже снова мне.

— Помню, всё помню, — говорю я тихо и со значением. Не знаю, зачем я так. Никакого значения слова мои не имели, да и не могли иметь. Что я могу? Я теперь, как червь, сдуру вылезший на дорогу. Кто бы ни наступил, только мокрое место останется.

— Понимаешь, — снова обращается он к Нетысьюку, — я у девчонки этой уже под юбкой хозяйничал, а он ей только умные слова говорил и ручку пожимал.

Они оба смеются. Скверно и унизительно.

Силы небесные! Спасите! Удержите от безрассудства! Почему не убил я его тогда? Адский котёл кипит в моей груди. Клоочет в ней взрывная смесь — из ненависти, унижения, злобы и застарелой ревности. Мне кажется, я взорвусь сейчас, совершу что-то ужасное и уже последнее в своей загубленной жизни.

Но у меня всё же хватает ума — ничего не сделать, кроме единственного, что ещё в моих силах.

— Ты, Витька, был и остался подонком, — говорю я, до скрежета зубовного сжимая челюсти. — Простить себе не могу, что не удавил тебя тогда, за костёлом!

Он, конечно, помнит нашу последнюю схватку во дворе костёла, что на Трёхсвятительской. Я и впрямь едва не удавил его.

И тут Витьку прорвало. Только что говорил человеческим голосом, но теперь в его визге ничего человеческого уже не было:

— Сволочь! Сука вражья! Это я подонок? Нет, не я, а ты — подонок, враг народа. Не я, а ты весь в дерьме — у ног наших валяешься! Теперь мы за тебя возьмёмся! Подойди сюда, гад, подойди, сволочь!

Ну уж нет! Не дождёшься, Кирпатый! — Мы его Кирпатым называли в школе, он от этой клички всегда здорово сатанел. — С места не сдвинусь! Пусть на этом убивают. А я

то сомневался, выдержу или не выдержу, если бить будут! Да всё я выдержу! Всё перенесу, до последнего вздоха! Такую силу мне Витька придал, что уж никакой другой меня не осилить! Какая сила великая в ненависти! Горы бы ею vorочать!

— Пусть подойдёт! Пусть встанет, подлюка! — визжит Витька, хватая Нетысюка за руку. Нетысюк в нерешительности. Медлит. Но всё же...

— Встать! — командует он и угрожающе возносится над зелёным полем стола.

Я бы хотел встать. Разум подсказывает: подчинись! Не дури! Не связывайся! А не могу! Хоть убей, не могу! Ненависть и отчаяние пригвождают меня к месту. Не могу встать. Чувствую, будут убивать, на части рвать, приму смерть сидя. Не могу встать.

Витька заходится криком, как младенец в загаженной пелёнке. Он топаёт ногами, руками размахивает, кажется, или взлетит сейчас, или рухнет на пол.

Но я продолжаю сидеть. Между нами не больше семи-восьми шагов. Преодолеть их — мгновение, и Витька бросается ко мне. Я тоже вскакиваю. Теперь можно. Потому что не команде подчиняюсь. Встаю, чтобы встретить врага. Врага надо встречать стоя. Он для меня не лейтенант, не представитель их подлой власти. Он для меня просто Витька, мой извечный соперник и недруг. После его гнусных слов он уже не только соперник и недруг. Сработала машина времени и вернула нас к тому далёкому дню, к ограде у костёла, когда я сжимал пальцами его тощую шею.

Витька приближается. Между нами два шага, а я стою и не свожу глаз с его рук. Меня бил полковник, бил Нетысюк, и я не сопротивлялся. Я был готов ко всему. Был заряжен непротивлением, как и всякий, попадающий в руки палача. Палачу на эшафоте сопротивляются только трусы. Но Витьке? Нет, Витьке не дамся! Как на ринге, слежу за каждым его движением.

И просчитался. Я смотрел на его руки. Так уж был обучен в честных наших боях. А он, охнув, как дровосек, расшибающий неподатливый чурбак, бьёт сапогом. Бьёт так, что носок приходится на живот, а каблук пониже. Самый подлый удар. Наверно, он здесь проделывал это не раз.

Я падаю навзничь. Стол и табуретка с грохотом летят к стене, но я, непонятным образом, успеваю расшибить себе

затылок. Не то о стул, не то о стол. А может быть, и о стену. Где там было разобрать!

О расшибленном затылке я вспоминаю в камере, потому что сейчас мне не до него. Из промежности вниз, к ногам, и вверх, к самому мозгу, к глазам и сердцу, жгучими струями разливается боль. И с нею, с болью рядом, обгоняя её, всё существо моё заполняет смертный ужас от сознания непоправимости того, что сейчас произошло.

Мне казалось, что при очень сильной боли рассудок глхнет. Трудно себе представить, что еретик, сжигаемый на костре, был в состоянии здраво мыслить. Но, видимо, я ошибался. Сознание осталось при мне. Боль, конечно, мешала. Сосредоточиться было трудно, но, к сожалению, не невозможно. Мозг работал. И снова, как тогда, вместе с ударами сердца, звучало во мне короткое, такое сейчас убийственное слово: "Всё, всё, всё..."

Я вспомнил, как снисходительно сочувствовал тем парням, что с потухшими глазами вели грустные разговоры о жёнах. Умом я их понимал. И воображения у меня хватало, чтобы представить себе последствия причинённого им увечья.

Может быть, я очень плохой человек. Хуже всех. Боже упаси! Я не злорадствовал. Да и не мог злорадствовать, потому что любил этих людей. Но где-то, в непроходимых дебрях мозговых извилин, шевелилась постыдная мысль: не со мной это, слава тебе, Господи! У них, не у меня такой кошмар. И ещё я думаю, что не только мне, а всем свойственна нелепая вера в собственную исключительность. С другими, мол, случается, но со мной это невозможно. Разные ужасы бывают у других, но не у меня. Да и вообще. Смерть, как известно, неизбежна. Всем она уготована. А я, а мне как? Нет, не верится. Знаю, понимаю — не круглый же я идиот! — а всё-таки не верится, так уж мудро устроен человек!

А вот теперь случилось со мной. Теперь всё. Теперь мне уже ничего не нужно. Всё равно. Самое страшное уже произошло. И *таким* придётся мне жить. А я над дурацкой бумагой трудился, над каждым словом мудрствовал, проторговаться боялся. Всё, чем я жил последние недели, теперь, после случившегося, выглядело мелким и незначительным.

Нетрудно понять, что не все эти мысли одолевали меня, когда я на полу валялся. Хронологии я здесь не придерживаюсь. Всё это потом, в камере. А тогда... я даже не помню, как в неё попал. Вообще ничего не помню. И как на ноги

поднялся, как из кабинета выходил, в машину садился, и ехал как, не помню.

Факт, что вернулся я в дом родной. И выходили меня в этом доме. Будь я на воле, не знаю, как бы оно обернулось. Ведь ниже доцента не было никого среди моих врачей-терапевтов. С лекарствами, конечно, туговато. А попросту сказать, так — никак. Без лекарств меня выхаживали. Одно и было у нас могущественное лечебное средство: жизнь наша тюремная. И пусть задумаются учёные над этим феноменом. Ни одна здравница, никакие новейшие и испытаннейшие препараты не могут похвастаться такими успехами, какие знал спецкорпус Лукьяновской тюрьмы. Много тому есть у меня примеров. Приведу лишь один.

Сунули к нам однажды свежего человека. Прямо с воли. Как всякий новичок, он сперва заметался, струхнул порядком с непривычки, но вскоре огляделся и успокоился. Одет был — сплошь в кожу: пальто — коричневое, кепка такая же, к ансамблю, и — сапоги. Тоже, конечно, кожаные. Костюм под кожей оказался, какой в те годы все "ответственные" носили. Униформа у всех номенклатурных тогда была принята: френч — под Сталина (так и называли его — сталинка), шаровары — армейские и сапоги. Так что, одет был браво, а сам — жёлтый, как гоголь-моголь. Лицо у него было такое. А волос — рыжий. Просто обыкновенный рыжий еврей. И глаза такие. Ореховые, с искрой. Постоял он, потоптался и стал себе место высматривать. И ничего, конечно, не высмотрел.

Я к нему. Такая уже мне досталась должность. Невольно получилось, новичков обычно я встречал и устраивал, по мере возможности.

Подхожу и говорю:

— С непривычки, кажется, что и места для вас не найдётся? Разрешите вам помочь. С новичками, — говорю ему, — всегда так бывает. Очень наша жизнь им дикой представляется. Но вы не беспокойтесь. Все привыкают. Не сразу, но довольно скоро.

Он посмотрел на меня, на улыбку мою и своей улыбкой откликнулся. Тошенькой, едва приметной.

— Мне, — говорит, — это неважно. Удобств не ищу. Я здесь долго не задержусь. — Сказал и вздох такой выдал, словно дух последний испустил.

Ну, думаю, ещё один праведник к нам идейный прибыл. Видели мы уже таких. Сейчас начнёт в верности партии, а

то ещё и *ему самому* клясться. Ну и уж, конечно, об ошибке, что его сюда загнала, начнёт распространяться.

Решил я сразу его осадить и на место поставить. Пусть не тешится пустыми надеждами и в разум скорее входит.

— Простите, — спрашиваю, — как прикажете вас называть? Неудобно так разговор вести. — Называет он себя, и я тоже имя своё сообщил со всеми необходимыми комментариями. Мне их часто приходится давать по поводу своего имени. Назвал он мне и имя-отчество и фамилию, но имя я позабыл. А фамилию запомнил. Алтер была его фамилия.

— Так вот, товарищ Алтер, — говорю я и стараюсь, чтобы слова мои понежнее звучали, — послушайте меня. Если вы думаете, что попали сюда по ошибке, до выяснения, так сказать, через день...

Тут он меня перебивает и тоже нежно, с мученической улыбкой говорит:

— Вы неправильно меня поняли. На скорое освобождение я не рассчитываю. А надолго устраиваться ни к чему, поскольку жить мне осталось считанные дни.

Я даже растерялся от таких его слов.

— Да что вы, — говорю, — зачем вы так? Что вы себя... — Но он снова меня останавливает и ласково за руку берёт с той же жалкой улыбкой.

— Милый юноша, знаете вы, что такое белокровие? Так вот, у меня именно оно. Я только и жил на ежедневных уколах, из Франции редкий препарат получал, а питался одними желтками и бульоном, который мне по особому рецепту готовили. Меня утешать не нужно. Знаю, что не жилец я здесь, без уколов и такой диеты. У меня и на воле, если чуть что не так, в лёжку лежал.

Я, конечно, сник. Онемел. Что мог я ему возразить? Что-то я ещё лепетал вежливо-утешительное, но без всякого вдохновения.

Не буду тратить лишних слов. Устроил я товарища Алтера. Подмостил его кожаное пальто, подушку ему из сапог и френча соорудил и о режиме нашем рассказал. На том счёл свой долг выполненным. Мир тебе и покой, товарищ Алтер. Пусть тебе твоя кожаная куртка пухом покажется.

И вскоре товарищ Алтер — а я за ним наблюдал — нашёл своё место в нашем коллективе. И ничем от других он уже не отличался. Шумел, что мало ему, когда его очередь пришла, картошки досталось, что пайка мала или сахара в

коробок не досыпали. А потом и на допросы стал ездить. Какое у него дело было, не скажу. Он со мной не делился. Но что дело было серьёзное, так в бане я это точно разглядел. Не было на его веснушчатом, рыжеволосом теле места, где бы допросы не протоколировались.

Чем у него дело кончилось, сказать не могу. Забрали его вскоре из нашей камеры.

А где-то, в году шестидесятом, может, годом раньше или позже, встретил я Алтера на улице Красноармейской, против кинотеатра "Киев". Я его сразу, жёлто-рыжего, узнал, хотя седина рыжину уже основательно потеснила. Подхожу, останавливаю.

— Узнаёте? — спрашиваю. — Не забыли, надеюсь?

Смотрит он на меня, вытарашил свои ореховые, близорукие глаза и — что бы вы подумали?

— Нет, — отвечает, — не припомню. А где мы встречались?

Меня его вопрос, конечно, удивил, но не слишком. Мог человек и забыть за двадцать с лишком лет.

— Так, — спрашиваю, — и не узнаёте? Может быть, обознался я? — Это я так, смеха ради, потому что никаких сомнений у меня в том, кто передо мной, не было. — Надеюсь, фамилия ваша Алтер и звать вас так и так? — Я тогда ещё всё помнил.

— Алтер, всё верно, — подтверждает. — А где встречались, не помню.

Ну, я ему тогда всё выложил. И про первый наш разговор, и про белокровие. Уколы, препарат французский, желтки и бульон, по особому рецепту, всё упомянул. А он — ни в какую! До того меня обозлил, что матюкнул я его в полную силу. Не в голос, про себя только. Вслух не посмел. А надо бы.

Алтер, кстати, каким-то начальником большим был в кожанной промышленности.

Я об Алтере только в интересах науки медицинской рассказал. Не знаю, какое у него там было белокровие, но вылечился он в нашей Лукьяновке и третье десятилетие здравствует. И если меня и всё прочее, связанное со мной, сумел позабыть, то о болезни своей — тем более.

Если по справедливости дать оценку нашей камере, то являла она собой отделение для тяжёлых больных. Убеждён, что ни одно лечебное учреждение не способно в столь короткие сроки поставить на ноги самых безнадежных боль-

ных. Не просто поставить на ноги обычными методами — прописывая им диету и щадящий режим. Поставить на ноги для режима беспощадного, какого никакой здоровый не выдержит в обычных условиях.

А у нас выдерживали! Придёт толстяк — рук на животе не сведёт. И астма у него, и печень, и камни рассеяны повсеместно, как самоцветы из Бажовских сказок, а станет такой на нашу диету, со следователем знакомство сведёт, глядишь — и жира не стало, и талия обозначилась, и уже ни об астме, ни о камнях разговора нет. Другие идут разговоры. Такие, которые между теми ведутся, кто отродясь ни на какие болезни не жаловался.

Меня выхаживали Иуда Соломонович с Тевием Израилевичем, светлая им память.

Пришло время, и профессор — после очередного осмотра — похлопал меня по плечу.

— Домчик, — меня часто после того вызова так называли, — выше голову! Не думал я, что так обойдётся. Считай, что повезло. Ровно на пятьдесят процентов. Больше нет, а пятьдесят — твои. Главное, выбрось из головы! Сам всё дело себе испортишь. Забудь! Всё будет хорошо. Даже с одним глазом люди живут и ничего. Справляются.

Он ещё мне кое-что тогда сказал, и советы дал, но это, так сказать, антер ну. Не для чужих они ушей. Только известно, что давать советы легче, чем им следовать. И не смог я следовать им в полной мере. Не расставался я уже всю жизнь со своей бедой. Не раз она меня с ног сбивала, даже когда, казалось бы, и силу свою должна была потерять. Но тогда, голову потеряв от радости, сжал я руку профессора и — чего мне теперь стыдиться? — заревел, как малое дитя.

С тех пор ни одной слезинки не уронил, до 1979 года, когда сына своего в дальний путь провожал. Сорок лет сухими были мои глаза. Но тогда пролил я воды немало.

ГЛАВА 18

А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ.

Лихо взялся за моё дело майор Нетысюк. После короткого затишья атаки последовали одна за другой. Словно пёс на прогулке, тыкающийся носом в каждый куст, он вынюхивал и копал во всех направлениях. И копал, надо сказать, не зря. Конечно, в иные времена все его находки стоили бы не

больше, чем находки резвящегося пса. Но времена не были *иными*. Самые подходящие были времена, и следственная машина набирала обороты.

Говорят: живуч, как кошка. Почему так говорят, не знаю. Я знаю другое. Нет более выносливого существа, чем человек.

Казалось, вот только я, искалеченный, в углу своём к полу прижимался, а уже — в строю. Теперь я с ветеранами нашими сравнился. Не совестно в глаза смотреть. Теперь я как все. Даже жалеют меня, и тем горжусь.

И вот я уже опять в пути. Еду на свидание с Нетысюком. Но, странным образом, сразу по выходе из машины, выясняется, что снова иду я ещё нехоженым путём. Не по лестнице. Ведут меня по коридору первого этажа, и попадаю я в помещение, которое ни с какими другими не спутает ни один советский человек: красный Ленинский уголок! Плакаты, лозунги, столы, красными скатертишками покрытые, ну и, конечно, бюсты гипсовые *самых* наших *самых*, тоже в красное наряженные. Чудеса!

Но чудеса, как известно, только в сказках бывают. И ещё в Заветах. Ветхом и Новом. Там и вода в вино превращается, и мёртвые, уже с душком, оживают, и манна с неба падает. А мы поскольку, увы, не в землях обетованных находимся, ни на что подобное рассчитывать не можем. И верно. Ничего чудесного в жизнь мою не входит. Зато твёрдым шагом в зал входит майор Нетысюк. Одет по форме. Сверкает и благоухает. Он ещё вплотную не подошёл, а я уже дух шипровый учуял.

Чёрт его знает, почему, эти мерзкие духи или одеколон — я в этом как-то так и не разобрался — мужскими считаются. И все, кто себя к мужскому полу причисляет, их употребляют. Кроме меня. Не потому, что от пола своего отрёкся. Просто не выношу этого запаха. И, вообще, меня хоть лориганами и шанелями души, всё равно считать буду, что, кроме как самим собой, настоящий мужчина ничем пахнуть не должен. Но своих убеждений никому не навязываю. Я за свободу всегда стоял и стоять буду.

Майор усаживается за стол, но прежде *сам* приносит два стула и расставляет так, как их обычно устанавливают для посетителей.

— Садитесь, — говорит он мне, — вот здесь, у моего стола.

Хоть бери да шипли себя — не во сне ли я это слышу и вижу? Что же такое происходит? Мы с майором, оказывается, на "вы"! Какая кошка между нами пробежала? А голос у майора какой! Ему бы лисичку с таким голосом сыграть, которая петушка горошинкой выманивала! Одумался он, что ли?

— Сейчас, — продолжает майор, — будет у вас очная ставка. Придёт сюда с воли человек. Ведите себя, как положено. — Он придавливает меня к стулу своим пудовым взглядом.

А как положено? Что, я — пьян или какой-нибудь хулиган-рецидивист? Или он опасается, что я сморкаться в рукав буду?

Это, понятно, я дурочку из себя строю. Понимаю отлично, чего от меня майор хочет. Всем своим видом и поведением я должен показать, как мне здесь хорошо, как мы со следователем взаимно уважаемся и взаимно понимаемся. "Очкарь", естественно, будет один. Но, когда отсюда уйдёт, он такие волны вокруг себя взобьёт, что это будет равносильно присутствию здесь тысячи "очкарей" Всё я понимаю.

Кто-то заглядывает в дверь. Кто, не вижу. Она от меня сбоку, почти сзади.

— Входите, входите, — говорит майор и встаёт. — Пожалуйста!

Так вот для кого весь спектакль! Вот с кем я должен себя вести, как положено! Шурка! Мой Шурка!

— Проходите, товарищ! — любезничает Нетысюк. — Садитесь здесь, — указывает он гостю на стул.

Шурка садится так, что наши колени почти соприкасаются. Я не свожу с него глаз. Шурка — самый близкий мой друг. От самого седьмого класса. Он как брат мне.

Я рассматриваю его, изучаю и торопливо делаю выводы.

Я знаю каждую чёрточку его длинноносого, розовощёкого лица, каждое движение глаз, губ и гофрированного лба, он его постоянно морщит, сколько ему ни говори. Морщит и вздёргивает брови. Такая уж у него привычка. Всё, что на нём надето, я тоже знаю. Не хуже, чем свою собственную одежду.

Шурка явно принарядился. Весь свеженький, гладенький, как целлулоидовый пупс. Он волнуется. Вижу, не по себе ему. На меня смотрит, но взгляд непонятный. Как текст на незнакомом языке. Не могу прочесть. Похоже, что видом

моим поражён. Но старается не показать этого. Всё, мол, в порядке, ничего особенного.

— Сейчас, — объявляет следователь, — между вами состоится очная ставка. Попрошу отвечать на вопросы. — Он кладёт перед собой протокольный бланк.

— Гражданин Генин, — обращается ко мне майор, — знаком вам этот человек?

Я отвечаю, что передо мной знакомый — Александр Маркович Лившиц. Отвечаю и на следующий вопрос. Сообщаю, что познакомился с Лившицем в школе, где мы учились в одном классе.

— Какие у вас отношения? — интересуется следователь. — И есть ли личные счёты?

— Отношения нормальные, личных счётов нет. — Отвечаю я неуверенно и — после короткой паузы. Что до имени и школы — ясно, а тут уже надо подумать. Как бы не просчитаться. Вряд ли стоит дружбу нашу выпячивать. Но и врать рискованно. Раз Шурку зацепили, значит и все мои ребята на крючке. Пусть уж как есть. На то и второе правило у нас. И такое же золотое, как первое. Самое время его употребить. Гласит оно: если не знаешь, что отвечать, говори правду, только правду.

Было у нас ещё и третье правило, самое трудное: не бойся следователя! Но к данному случаю оно не подходило. А вообще-то трудное правило. Легко сказать: "Не бойся!"

На все вопросы Шурка отвечает спокойно и с апломбом. Апломб у него врождённый. Такой уж он человек. И голос звучит как всегда. Твёрдо и доверительно. Да и вообще такая безответственная беседа даже успокаивает. По себе чувствую и по Шурке вижу.

А Нетысюк всё пишет.

— Теперь, — кончив писать, обращается он к Шурке, — ознакомьтесь с показаниями гражданина Генина. Он протягивает Шурке листок машинописи.

Нет, не даром прошло время в камере и в беседах у па-раши. Научился я кой-чему. На мякине меня теперь не проведёшь. Вот и третье правило пригодится. В присутствии "вольного" можно и следователя не бояться, а значит, и пра-ва качнуть.

— Должен, гражданин следователь, заявить, что мне этот документ неизвестен, — говорю, как только могу, спокойно. — Подписи на нём моей нет. Такие показания своими считать не могу.

Я думал, срежу его под самый корень, но майор лишь слегка улыбается.

— Передайте, товарищ, — говорит он Шурке, — бумагу обвиняемому.

Я беру листок из Шуркиных рук. Читаю и чувствую, как загораются мои щёки. Зря я так. Всё, как следует. Моё собственное сочинение. Перепечатано вполне прилично. Кое-что подправлено, но весьма пристойно. Не стоит мелочиться. Предстоит игра покрупнее.

— Подпишите, — издевательски любезно говорит следователь. И я, конечно, подписываю. — Теперь всё, как следует? Претензий нет?

Да, да, всё, как следует.

Как мог я дать такого маху? Как не сумел предвидеть? Права решил качнуть! Растоптать бы своё благоразумие, трусость, попросту говоря, и закричать что силы есть: "Ложь! Всё ложь! Одна только гнусная и лицемерная ложь! Не верь следователю, Шурка! Ведь дурачка из тебя делают, Шурка! Завели в это святилище с красными тряпками, агнцев из себя строят невинных, и всё на "вы" да на "вы", порядок и законность демонстрируют! А что там в их кабинетах за клубными стенами делается! Ах, Шурка, Шурка! А тут и я ещё им подыграл. Заявление сделал! А он и рад, сволочь. "Претензий нет?" О претензиях заговорил. Небось, после того, что Витька при нём сделал со мной, он меня о претензиях не спрашивал!

Ведь вот, кончится эта комедия, и уйдёт отсюда Шура в вольный мир. Что сможет он там рассказать? А рассказывать будет кому! Он, едва порог своего дома переступит, как туча народа на него насядет. Прямо перед глазами моими стоит эта картина. Раскинется Шурка в своей качалке, с папироской между длинными пальцами. Он всегда её так держит. По-дамски. И поведёт свой рассказ, неторопливо, непререкаемым голосом, с длинными скучными паузами.

Расскажет, как всё культурно было, как вежлив был следователь. Голоса даже не повысил ни разу. Не исключено, что и о моём выступлении упомянет. Более того, он ещё так повернёт, вроде я сам нарываюсь. Ещё для вящей убедительности бросит: "Вы же Доську знаете!" И все его, конечно, поймут. Уж кого-кого, а Доську — знаем!

А потом Шурка уже в наступление пойдёт. И чего, скажет, только не болтают! И про голод, и про пытки, и про издеательства! Болтовня это всё, нет там ничего похожего!

А меня ненависть душит. Вот закричу сейчас, и будь что будет!

Но я, конечно, не кричу, а сижу "как положено". По-малкиваю и за Шуркой наблюдаю. А он читает. Брови, как обычно, когда он сосредоточивается, у самых волос. И лоб как гармошка.

Закончив, возвращает бумагу следователю и расправляет лоб. Ждёт.

— Я вызвал вас, — обращается тот к Шурке, — чтобы на очной ставке выяснить: говорил ли обвиняемый то, что он показал на следствии. Говорили вы это, обвиняемый? — Он теперь поворачивается ко мне.

— От своих показаний не отказываюсь, — подтверждаю я. — Записано всё верно.

Ничего другого я, конечно, сказать не могу. И не хочу. У меня одно желание: закончить поскорее дело, забыть о допросах и получить приговор.

Смотрю на Шурку и вижу, как сбегает краска с его румяных щёк. И нос горбатый тоже бледнеет.

Я стараюсь привлечь его внимание, касаясь его колена своим. На миг он скашивает на меня тревожный взгляд. На один короткий миг. Но меня внезапно охватывает волнение. Вот она, передача мыслей на расстоянии! Он подумал, и я принял! Уловил, и уже заработали мои потовые железы. По всему телу. От пяток и до лба. Как же я не подумал! Затмение какое-то на меня нашло! Ведь я сейчас друга моего предаю! В угол Шурку загоняю! Он вообще в шоке после прочтения моих показаний. Но дело не в шоке, а в том, что интересы наши теперь в разные стороны разошлись. Если он признает, что слышал всё от меня, то сразу же этим приговор себе подпишет. Выходит — слышал и молчал. Не сообщил куда *надо*. Его же тотчас спросят, как он оценивает мои высказывания!

А мне что делать? Отказаться от показаний? Уж на сей раз мне парой оплеух не отделаться! Всё теперь пойдёт в дело. И кабель, и мебель, и прочее. Нетысук — не Меерзон. Сам Петербургский это сказал. Что же мне делать? Шурка, Шурка, прости ты меня! Ты ведь ничего в наших делах не смыслишь. Тебе же глаза красными тряпками повязали! Не виню я тебя. Но и ты уж меня не вини.

И тут Шурка подаёт голос. Тот самый, в котором и апломб, и доверительность. Значит, уже пришёл в себя.

— Я не допускаю, товарищ следователь, чтоб Генин мог говорить подобное. Лично я никогда от него такого не слышал.

Шурка, дорогой ты мой, я-то тебя понимаю. Ты думаешь, что спасаешь меня, а ведь всё наоборот. Но всё правильно. Не можешь ты иначе.

А в голосе майора уже зазвучали металлические нотки.

— При вас, товарищ, — жмёт он на Шурку, — обвиняемый подписал свои показания. Он их полностью признаёт.

Нет, нельзя мне молчать. Я ещё пока под защитой этих тряпок и бюстов. И под Шуркиной тоже. При нём постесняется майор.

— Я подтвердил свои показания, но имя свидетеля в них не упомянул. С Лифшицем мне никогда не приходилось говорить на эти темы. Он бы такого *не* потерпел. — Вот так я. Славу Богу, дал майор досказать. Не остановил. А мог бы. Растерялся майор. Теперь не нам с Шуркой, а ему выкручиваться надо.

— Как же так, — уже не сдерживая раздражения, говорит он, — лучший друг, а вы не делились с ним своими мыслями? С кем же тогда? Ведь тут всё вами написано! Не я же это писал!

Какая наглость! И ведь не боится! Уверен, что промолчу. А Шурка весь в страхе. Он, наконец, понял своё положение. И моё тоже. Понял и ищет выхода. А какой может быть выход? Как в загадке с козой и с капустой у нас получается. Признает Шурка мои показания — погиб. Такого ему, комсомольцу, не простят. Ни за что не простят. Не признает, значит, мне погибать. Разве понимает он, что мне предстоит? Что может понимать человек *оттуда*? Вот такой, при галстуке, в рубашке накрахмаленной и выбритый парикмахером, с пудрой и одеколоном. Ничего он не понимает!

— Итак, — играя желваками, подводит итог следователь, — вы отрицаете показания обвиняемого. Вы ничего не знаете, ничего не слышали. Ваша хата — с краю. Так?

— Я ничего не отрицаю, — Шурка уже полностью овладел собой. — Я только говорю, что лично от него ничего этого не слышал.

Нетысук, кажется, уже забыл, с кем имеет дело. Так и таким тоном он говорит на допросах в своих апартаментах.

— С кем же, по-вашему, мог обвиняемый вести подобные разговоры? С кем, если не с ближайшим другом?

— К сожалению, — пожимая плечами, отвечает Шурка, — на такой вопрос мне сказать нечего.

— К сожалению, — зло усмехается следователь. — К его сожалению тоже, — вырывается у него. При этом он глазами поводит в мою сторону. — Значит, не можете. Имеете добавить что-нибудь?

Мы долго сидим и молча рассматриваем друг друга, пока Нетысюк возится с протоколом. Мы ставим свои подписи. Я ещё успеваю улыбнуться и сделать Шурке под столом прощальный знак рукой.

За мной уже пришёл конвой. Шурка поднимается и ждёт, пока ему подпишут пропуск. Сейчас он пойдёт отсюда туда, где поведает незлой осенний ветерок, где, вопреки всему, на звонком Крещатике улыбаются девушки, где, словно птицы в лесу, щебечут трамваи. Шурка идёт туда. И мне больно думать, что идёт он с тяжёлым грузом на встревоженной душе. Ему, конечно, жаль меня и за себя страшно. И всё-таки он там, на воле. Завидую я ему? Хотел бы быть на его месте?

Потёмками считается чужая душа. А своя? Разве просто разглядеть, что в ней, собственной творится? Спросил бы меня тот самый джин, что из бутылки, или новоявленный Хаттабыч: хочу ли я прямо отсюда на свободу? Сейчас, немедленно.

Нелепый вопрос. Кто же не хочет на волю? Да ещё из такого пекла, как наш спецкорпус?

А ведь не так-то всё просто. И если бы мне ответить велели в ту же секунду и одним лишь словом, то слово это было бы — "Нет!" или "Не хочу!"

Ложь, — скажет любой здравомыслящий человек. Ложь! Не может человек желать себе зла.

И ошибётся здравомыслящий. Не помощник здесь здравый смысл. Нужно в шкуру мою влезть, душу постичь, глазами моими поглядеть. Без этого ничего во мне не понять.

Не припомню, кому принадлежали слова: "Хочешь познать других, познай себя". Кажется мне, что — Гете. А может быть, Шиллеру. Помню только, что немцу. И этот немец, Шиллер или Гёте, а может быть, и кто-то другой, рубит с плеча: все люди равны. Друг другу равны. Как в известной аксиоме: если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой.

Выходит так, что, кто хочет понять меня, должен в себя заглянуть. И, следовательно, если уж не меня, а любого, кто

в Лукьяновке томится, спросить, хочет он... вот так... не сходя с места, на воле очутиться, то он тоже "Нет!" скажет? Предпочтёт в дерьме валяться, на допросах маяться, о горбушке хлебной мечтать, детей своих не видеть? Чушь! Не откажется? Так, в чём стоит или лежит, бросится вон, обезумев от радости.

А я не брошусь. С места не сдвинусь.

Не могу я отсюда уйти. Не могу товарищей своих здесь оставить. Вместе с ними — да, согласен. А один — нет. Я у них в долгу вечном и неоплатном.

Ещё не могу потому, что накопилось много у меня на душе. Не с кем мне, кроме них, груз этот разделить. Никто, кроме них, его не потянет и понять меня не сможет. Только они, "однополчане" мои, с которыми я — на одном полу, на одной баланде и у одной парашаи. Только они.

Ещё потому, что выпало им больше, а мне меньше. Не добрал я всего, что взять должен был, не всё испытал, не всё познал. И себя, в том числе.

Да ещё и потому, что Вовку, брата моего, с собой взять не могу. Снова его верх, и ничего уже пополам у нас не будет. Ничего на двоих, как прежде. Как было и как быть должно. А значит, и снова крест на себя взвалю. Предательский крест *неучастника*. Он, крест, и таким бывает.

О погибших на войне говорят: не долюбил, не допел, не дополучил доли счастья своего.

А я не хочу не пострадать, не дотерпеть, не дотосковать. Хочу всё полной мерой. Хочу *всё!* И как всем. На равных хочу.

Как-то спросили меня: "Сколько же вы там просидели?"

"Семь месяцев", — говорю.

"Всего-то?" — и такое было в этом возгласе обидное разочарование, что насилу я сдержал нехорошие слова, уже на самом кончике языка сидевшие.

Но обида вскоре ушла. Только сожаление осталось, болезненное, как раскаяние. Как сожаление о безвозвратной потере.

Значит, не добрал и не дотерпел. И это уже непоправимо. И это уже навсегда.

Так, могу ли я той же мерой других, всех, как немец предлагает, мерить? Других через себя познавать? Мерить — могу. А вот познаю ли?

...По поводу воли... запомнил я один, не лишённый любопытства разговор. Стоит над ним призадуматься — позна-

ния человека ради. Не просто человека. И не любого человека. Советского. Очень у нас любят об особой его природе распространяться. Он де особый, от всех других отличающийся. Лучшие и благороднейшие чувства в нём, нашим советским образом жизни воспитаны. Одним словом, новый вид человеческой породы перед нами. Homo sapiens soveticus.

Иные только усмеваются, про себя, конечно, как у нас водится. Чепуха, демагогия, обычный пропагандистский трép. Такие же в нашей стране люди, как и всюду. Ан нет! Не демагогия и не трép. Создан такой человек. Уж как создан, это вопрос особый. Только верно, что его породил советский образ жизни. Никакой другой на такое не способен.

Но вернусь к одному разговору. Начался он, когда нас уже до последнего предела, до ручки, как говорят, довели, убрав парашу из камеры. Сидим мы на том самом месте, где она прежде глаза наши радовала, как на дорогой могиле. Оно ещё не занято было. И вдруг высказывает кто-то такую дерзкую мысль:

— Братцы, почему мы терпим? Как скот в загоне? Как стадо безответное? Ведь в этой же тюрьме сидели и до нас, при царском режиме! И жилось тогда, при Николашке, не в пример лучше, чем нам! А ведь бежали отсюда. Не раз бежали! И в одиночку и группами. И сидело тогда в сто раз меньше народа, чем теперь. Между тем, охрана та же была. Ну, может быть, теперь побольше. Но, сколько бы её ни было, соотношение несоизмеримое! Почему бы и нам по их примеру? Навалиться всем миром, вырваться тысячеголовой толпой в коридор и на штурм? Кто против такой лавины устоит, хоть и безоружной?

Вот такая возникла у кого-то мысль. И не такая уж глупая. Не без резона. Вполне дельная, реальная и здравая мысль.

Пяти минут не потребовалось, чтобы все, кто её услышал, *все, как один*, представители нового вида — гомо советикус, отвергли идею целиком и без колебаний.

— Чепуха и суший бред, — возражали "советикусы". — Бежать, конечно, можно. Технически побег вполне осуществим. А дальше что? Куда потом? Что делать после побега, на свободе?

— Ну, к примеру, я домой, к жене, — иронизирует Володя Болотин. Он уж таким человеком был — при любой погоде весел и жизнерадостен. — Спросит меня жена: "Ты

откуда взялся? Какими судьбами? Освободили?" А я ей — что? Убёг? Сбежал, попросту говоря, без разрешения? А она мне: "Что же теперь с тобой делать? Куда девать? Нет, голубчик! Так не пойдёт. Иди туда, откуда пришёл и оформляйся, как положено". Что, верно я, братва, говорю? — Он скалит свои длинные лошадиные зубы.

Других мнений не оказалось. Володины тезисы перепевали на все лады. Пусть, мол, даже не побег. А просто так. Откроет штурпак двери и объявит: "Выметайтесь, чтоб духа вашего тут не было, дармоеды! Не будет больше вам ни баланды, ни пайки хлебной! Освобождай помещение!" Пойдём мы на такое дело? Фиг! Я так и с места не стронусь, пока не оформят меня по всем правилам".

— Какой может быть побег? — Это уже Гриша Гарин голос подаёт, дружок Володин. Оба они начальниками политотделов на железной дороге были, комиссары, в своём роде.

Ещё третий был — Исаак Нодельман. С ним мы крепко дружили. И в тюрьме, и на воле потом.

Вот он — гомо советикус! Весь тут! Как в том анекдоте. Раз объявлено на завтра повешенье, то пусть уж скажут: верёвкой обеспечат, или свою припасти надо — на случай промашки?

Нет, пусть на Западе не потешаются, сил не теряют попусту, воюя с нашими теоретиками. Создан и здравствует советский человек! Существо неповторимого, беспримерного склада и духа. В нём сила советского строя. И трагедия народов земли советской. Великая трагедия.

Пусть те, в ком ещё бродят сомнения насчёт невиновности жертв сталинских времён, приадумаются.

Десятки, сотни тысяч людей содержались в следственных тюрьмах тех лет. Людей, обвиняемых во вредительстве, в шпионаже, в принадлежности к контрреволюционным организациям и участию в заговорах против советской власти. Но ни единого случая побега политических не знает история тюремной практики тридцатых годов. Ни единого!

Хотя, несмотря на доблестных наших чекистов, бдительно охранявших преступников, люди бежали. И ещё как бежали! Из той же Лукьяновки! Но не шпионы и не диверсанты, не "враги народа", а друзья его — обыкновенные уголовники-рецидивисты. Врагами их никогда не называли, а значит, друзья они — воры и грабители, убийцы и насильники. И никакие чекисты удержать их не могли. Воры и убийцы...

хотели бежать, и — бежали. А "враги народа" — не хотели. Не было среди них преступников. Одно у них было желание: невиновность свою доказать, оправдаться. Да и куда может бежать честный человек от своей власти? Они ведь так её, эту власть, рассматривали, всем фактам вопреки! И "всем смертям назло!"

И ещё так я думаю. Побег, как и преступление, совершить не всякому дано. Тем, которым даже мысль о преступлении против советской власти бредом бы показалась, не было это дано. Не такие это были люди.

Так что, пустой получается разговор. Не врагами были эти несчастные, а обыкновенными "советикусами", теми, что сами себе готовы верёвку припасти. И тем всё сказано. Ни убавить, ни прибавить.

ГЛАВА 19

ДНИ СЧАСТЛИВЫЕ.

Казалось, только-только расстались мы с Шуркой, и вот снова заседаем за красной скатертью, под застывшими, гипсовыми взглядами наших вождей.

Я уже предупреждён. Будет ещё одна очная ставка. С кем, мне не сообщили. Сюрприз, значит, решил мне Нетысюк преподнести.

Что ж, сюрприз так сюрприз.

Майор уже приготовился. Что-то переложил на столе, снимает трубку и отдаёт распоряжение. Ждём молча. О чём мы можем говорить?

Нетысюк почему-то невесел. Хмурый какой-то. С лица не сходит выражение, какое при изжоге или головной боли бывает. Всё равно. Здесь он мне не страшен, даже с изжогой.

Ого! Вот это таки сюрприз! Уж такого я не ожидал! К столу мелкими, подобострастными шажками приближается заместитель декана факультета Павел Сергеевич Рановский. Какого чёрта ему здесь нужно? Какие у меня с ним дела? Как мог он попасть в свидетели?

Одно мне ясно. Передо мной — враг. Мне не нужно, как было с Шуркой, выбирать линию поведения. Одна может быть у меня линия. Враг есть враг, и действовать надо, не щадя его, без оглядки, хотя возможности мои весьма ограничены. Но те, что есть, пускаю в ход сразу.

Сбой — уже в самом начале. Без помех идут только первые, ничего не значащие вопросы: опознание, где встречались, хорошо ли знакомы.

На вопрос "Есть ли личные счёты?" Рановский отвечает, снисходительной улыбкой: "Какие, мол, могут быть счёты: заместитель декана и студент второго курса!" Он пожимает плечами.

Ну нет! Так не пойдёт!

— У меня не просто личные счёты с гражданином Рановским, — говорю я с нажимом, чуть не скандируя, чтобы поубедительней, — а откровенно-неприятные отношения.

Не сбил я с него улыбку. Но, правда, теперь она имеет другое назначение. Она выражает одновременно и возмущение, и опровержение, а главная её цель — привлечь на свою сторону следователя. Но Нетысюк не поддаётся. Изжога, или что-то там другое... но лицо у него по-прежнему мученическое.

— В чём состоят ваши счёты? — обращается ко мне Нетысюк.

— Видите ли, гражданин следователь, — говорю я и тоже стараюсь придать голосу доверительные интонации. — Рановский, хотя и является заместителем декана, человек некомпетентный и невежественный. Пробился благодаря своему крестьянскому происхождению. Но студенты привыкли не за происхождение, а за знания и талант учителей своих уважать. Ну и потешались мы над ним, на лекциях особенно. Сожалею, даже стыжусь, но был я среди потешавшихся не последним.

Кажется, получилось неплохо. Какой уж объективности можно ждать от свидетеля после такой характеристики?

Теперь улыбка моего свидетеля ничего не выражает. Её просто нет, я вижу, как ходит острый кадык. Зам декана плотает. Пускает слюну от негодования.

Нетысюк молчит. Думает. Такое начало ему явно не нравится. Видимо, крупная была сделана ставка на свидетеля. Фигура ведь! Зам декана! Коммунист!

— Я даю обвиняемому ваши показания для ознакомления, товарищ, — обращается он к Рановскому и протягивает мне бумагу.

Читаю. Пункт за пунктом. С удовольствием читаю. Замечательная бумага! Как ему удалось сочинить такую? А Нетысюк? Разве не понял, кто перед ним? Как бы я к нему ни относился, но дураком не считаю.

А Павел Сергеевич — молодец. Побольше бы мне таких свидетелей! Теперь уже Бог передаёт его в мои руки. Тупость автора прёт из каждой строки. Да иначе и быть не могло. Происхождение у него и впрямь завидное. И пользовался он им мастерски. Каждое своё появление на кафедре, лекцию, занятие, выступление на собрании неизменно начинал словами, сопровождаемыми тщательно выработанной простецкой улыбкой: "Я, видите ли, товарищи, когда вы в школе учились, ещё свиней да гусей пас". После этого вступления он делал паузу, какую делает обычно артист в ожидании смеха или аплодисментов. Расчёт был верен. Слушатели смеялись, а иной раз и аплодировали. Рановский хорошо знал свою аудиторию. Как же не поаплодировать молодому учёному, пришедшему в науку прямо из свинарника? Вот он, представитель угнетённого крестьянства, раскрепощённого революцией.

— Ознакомились? — спрашивает Нетысюк, принимая у меня лист. — Что вы можете объяснить следствию по поводу изложенного?

Давно уже не было у меня такого приподнятого настроения! Может быть, не точно такое, но похожее на экзаменах университетских бывало — это когда вытаскивал билет с любимыми вопросами.

— Объяснить? Вы считаете, гражданин следовательно, что я должен объяснить? — задиристо спрашиваю я, вставляя чуть не в каждое слово по вопросительному знаку. — Мне кажется, что объяснить должен свидетель! Ведь он, а не я, автор этой писанины. Кто, кроме него, может в ней разобратся? Обратите внимание, — говорю я с воодушевлением. — Может кто-нибудь понять, что означают слова "Генин систематически уничтожал советскую прессу?" Как это следует понимать? Громил редакции или газеты рвал для известных надобностей? — Меня уже понесло. Знаю себя в этом состоянии. Оно равносильно опьянению. Ничего хорошего, между прочим, из этого никогда не получалось. — А дальше? Вы только послушайте, гражданин следовательно, — говорю я таким тоном, словно не он со свидетелем, а мы с ним, майором НКВД, единомышленники. — "На полях стенгазеты появилась надпись "Да здравствует Белинг!" Есть мнение, что надпись сделана Гениным". — Я делаю выразительную паузу и в упор смотрю следователю в глаза. — Здесь вы правы, гражданин майор. Тут я должен дать пояснения. Во-первых, скажу, что профессор Белинг, Дмитрий

Евстахievич, был ошибочно арестован и через три месяца освобождён. Во-вторых, надпись на стенгазете свидетелем приведена в сокращённом виде. Была в ней ещё вторая часть: "И долой Рановского!" Комментарии, как говорят, излишни. В-третьих, что значит "Есть мнение"? У кого оно есть? Является ли такое мнение основанием для обвинения? Не забыл ли свидетель, где находится? Что до самой надписи, то о ней здесь не стоит и говорить. Доказать, что я не имею к ней отношения, мне нечем. Могу только сказать, что никого, кроме самого свидетеля, она не задевает. А вообще-то глупое озорство.

Всё, плотая слова, я выпалил за одну минуту. Никак не верилось, что Нетысюк даст досказать. Я превысил самый щедрый регламент.

Но Нетысюк молчал. На Рановского даже смотреть было неловко. Вид у него такой, как у мальчишки с картины — "Опять двойка". Значит, всё идёт, как надо. Теперь можно уже и добивать.

— Тут, — говорю, — есть ещё и такое: "Убеждён, что Генин не наш человек". Как это следует понимать? Чей "не наш"? В смысле, что не из компании, с которой, по некоторым сведениям, зашибает свидетель?

— Обвиняемый, вы не имеете права оскорблять свидетеля, — лениво, равнодушным тоном делает замечаниеследователь.

— Простите, — охотно извиняюсь я. — Погорячился. — Нетысюк молчит, и я продолжаю. — Да, к этой компании не принадлежу. У меня есть своя. С нею и пью. В моей компании свидетеля тоже "своим" не считают. Что же из того? Не стану же я делать из этого политические выводы! Пусть бы уж позволил себе свидетель в кругу своих коллег по свиноводству, а не...

Сказал и словно в лужу холодную ступил. Вот занесло! Перехлестнул. Как чувствовал! Так уже всё было хорошо, и вот сам себе всё изгадил.

А Рановский, конечно, не преминул.

— Вы видите, товарищследователь? Теперь и вы меня поймёте. Слышали, как заговорил? Нашёл чем упрекать! Твоё, мол, дело — свиньи, а не науку двигать! — У него даже вены на шее вздулись.

Он так и сказал — "двигать"! Но всё равно плохо получилось. Зря про свиноводство брякнул, но и в майоре ошибся. Не разгадал его. А ведь сумел он всё правильно оценить.

И свидетеля разглядел! Факт — ничего в заключение он не сказал. Ни единого слова. Только вдох глубокий сделал и выдох. Многозначительным тот выдох показался. А может быть, мне просто так хотелось, чтобы в нём какой-то скрытый смысл был.

А после выдоха писать стал. Долго писал.

— Подпишите протокол, товарищ, — наконец сказал он Рановскому, не поднимая глаз. — Вот здесь. И вы, Генин, тоже.

Поразительно, но ни я, ни Рановский протокола не читаем. Подписи ставим не глядя. По разным причинам, конечно. Его понять можно. Ничего приятного он бы там не нашёл. А я не читал, потому что сегодня ничего не опасался. *Верил* Нетыську. Знал, что не подведёт. По физиономии его угрюмой видел.

И не ошибся. Более того, отправил он Рановского, а я сижу. И он тоже. Сидит. Вот так, друг против дружки, сидим, в красном свете уголка Ленинского, и молчим.

Вдруг, показалось мне, не просто майор сидит — чего-то ждёт. Ждёт, что заговорю. Не знаю, почему мне так показалось. Может быть, потому, что настроение было хорошее.

— Простите, — говорю, — гражданин следовательно, но с "очкарем" нехорошо получилось. — Говорю так, словно не гражданин он и не следовательно, и я тоже не тот, кто я на самом деле.

— Какой он свидетель, Рановский? Обыкновенный дурак. Ведь надо же такое! "Прессу уничтожал!", "Есть мнение!". Дурак и только.

Смотрю я на майора своего и глазам не верю. Слушает меня, и по всему вижу, что соглашается. Только что не кивает одобрительно, как в подобных случаях бывает. Молча и неподвижно соглашается. Потом встаёт, спиной ко мне поворачивается и в таком невежливом положении говорит, будто не мне:

— Его не я готовил. Получил с показаниями в готовом виде.

Мне даже слушать совестно. Хорошо, что он догадался отвернуться. Нетыську оправдывается! Не перед начальником своим, не перед выше стоящим, а передо мной! Ниже стоящим, настолько ниже, что уж ниже и места нет, чтобы стоять. Значит, не зря я потрудился! Не хуже профессионального адвоката отбился. Какой счастливый день я прожил!

Я отдаю себе отчёт, понимаю, что, выиграв это маленькое сражение, ни на шаг не приблизился к победе. Война моя безнадежна в любом случае. Но всё равно хороший сегодня день. Я ещё долго буду ворошить в памяти каждый эпизод, вспоминать каждое слово, снова и снова испытывая сладость маленькой, но очень дорогой для меня победы.

Нет, тюрьма приносит не только горе и муки. Может дать человеку и радость, силы новые, может верой зарядить и даже принести счастье.

И, раз уж о счастье речь зашла, один эпизод расскажу. Пожалуй, даже не эпизод. Событие в моей жизни. И не такое уж маловажное. Веха оно на моём жизненном пути.

Как-то я упоминал уже, моё имя — благодаря нашей радио-параше — стало известно всей Лукьяновке. Мимоходом сказал и невнятно. Между тем, факт этот вполне заслуживает внимания. Параша, конечно, не Всесоюзное радио, и даже с Республиканским его не сравнить, но, чтобы тебя в свою программу включила, заработать нужно. Много позже, уже на воле, узнал я, что донеслось моё имя до многих друзей моих, и получили они от меня, таким образом, грустный, но и лестный привет. Именно так узнал обо мне мой дядя Мося — генерал, тот, что козявкам сдался и благодаря им подписантом стал. И декан нашего факультета — Соколовский Александр Иванович, и друг дома нашего — Миндлин, инженер, и многие другие... А среди них и я сам. Это, когда мы на вокзале наспех новостями последними обменивались. Речь, конечно, главным образом, о лавочке шла. Где она сейчас и куда в ближайшие дни путь держит. Ещё о следователе Колосове один несчастный рассказывал, да так заикался, шепелявил и трясся, что всем нам было видно, каков этот Колосов. И, в заключение, несколько человек, на горькую участь нашу пожаловавшись, сказало, что некоторым всё же везёт. Например, говорили они, на десятом сидит студент. Фамилия его вроде Тенин или Фенин, точно не знают. Так этот студент лекции какие-то читает. Да так читает, что народ, даже когда с допросов едет, думает, как бы не опоздать или, не дай Бог, пропустить.

Очень хотелось мне обнаружить себя. Хоть бы фамилию правильно назвать. Да постеснялся.

А началось всё от тоски нашей камерной, от безделья злокачественного, страхом, ожиданием и болью заполненного. Хотелось людей хоть чем-то развлечь, чтобы от дум му-

чительных отдохнули. Сперва о своих делах, о жизни своей друг другу рассказывали. А когда всё уже рассказали, да так, что не только друг о друге, но и о жёнах такое знали, что можно было бы и не знать, тогда на литературу перешли. Стали пересказывать друг другу, кто что читал.

Усаживались вокруг рассказчика, а тот — шепотком, уж как умел — содержание рассказа, повести и даже романа, что позанятнее, воспроизводил.

И неплохие попадались воспроизводители. Были даже такие, как Василий Кастулин — о нём я ещё в своём месте расскажу, которые "Американскую трагедию" и "Оливера Твиста" брались пересказать.

И всё же лучшим рассказчиком меня признали. Звание это единодушно было мне всем составом камерным присвоено. И не в одной десятой, но и в других, где довелось мне дни свои коротать.

Но прославила меня параша не за пересказы произведений литературных.

Уж не знаю как, пришла мне в голову мысль создать своего рода лекторий. Нечто вроде народного университета

По сей день удивляюсь, как удалось мне тогда осуществить и успешно завершить столь дерзкую затею.

Когда мне, лектору, с уже многолетним опытом, приходится прочесть не совсем обычную лекцию, я тружусь над ней, как раб на постройке пирамиды. Перетряхиваю горы литературы, извожу кипы бумаги, ночей не сплю и поднимаюсь на кафедру после всего этого с трепещущим сердцем.

А тут, сидя на голом полу, не располагая ни бумагой, ни литературой, видя перед собой простецкие физиономии нередко совершенно тёмных людей, я читал курс истории эволюционных идей и теорию Дарвина. Читал впервые в жизни! Без всякой подготовки! Не имея даже ничтожного опыта.

И с каким подъёмом, с каким вдохновением вёл я свой рассказ! С какой непостижимой лёгкостью рождались мысли, являлись образы, примеры, забавные аналогии! Я словно парил в воздухе на крыльях никогда не испытанного восторга. Я был счастлив! Совершенно и безгранично счастлив.

А мои слушатели сидели передо мной с горящими глазами, ловя каждое слово, смеясь каждой шутке, охая и стеная, как в любовном томлении. И, клянусь, они, как и я, находились на той вершине, которую я называю счастьем.

Впоследствии я стал недурным лектором. Да и вообще любил выступать и говорить. Общение с аудиторией было

для меня высшей радостью. И я не отступлю от правды, если скажу, что слушать меня тоже любили. По крайней мере, встречали и провожали, как правило, аплодисментами. И если всё это так, могу утверждать: лектором я стал там, в Лукьяновской тюрьме.

После первых двух лекций подошёл уже знакомый нам Пётр Петрович Кудрявцев, притянул к себе мою голову и поцеловал.

— Вам надо непременно вырваться отсюда, — сказал он, сжимая мои запястья своими сухенькими пальцами. — Хочу надеяться, что моё пожелание сбудется. У вас большое будущее. Поверьте, ничего подобного вашему обзору — Лукреций, Линней, Ламарк — я в жизни не слышал. А слышать пришлось немало, и в Петербурге, и в вашей альма матер. У вас редкий дар. Божий дар! Не погубите его, когда выйдете на свободу. Такое нередко с дарованиями случается. Благоговяю вас, мой милый!

Я думал, что Пётр Петрович осенит меня крестом — он же священник в прошлом! Но нет, не осенил. Его благословение было чисто человеческим и светским, без всякой мистики. Просто доброе пожелание доброго человека. Душевное и искреннее. И вера в нём была. Не в Бога. В человека.

ГЛАВА 20

КТО ТАКИЕ КВАКИ?

Когда на следующий допрос снова повели меня в незнакомом направлении, я принял это спокойно. Дело привычное. Опять, значит, готовится сюрприз.

И верно. У меня, оказывается, новый следователь. Каков он, мне предстоит узнать, но Нетысюка я потерял. Жаль. Очень даже жаль. На последнем свидании мы, как мне показалось, друг друга поняли. Во всяком случае, он не глуп, и что-то даже человеческое мне в нём почудилось. Правда, руки он ко мне приложил, но приложил, так сказать, в порядке ведения дела. Не злобствовал. Просто сделал себе разрядочку. Вроде бы стрессовую профилактику. Если очень постараться, то можно понять его. Работёнка у него тоже не сахар. Но с ним — кончено. Хоть жалея, хоть радуйся. Факт, что теперь придётся с другим следователем дело иметь. И он уже передо мной. Старший лейтенант. Кто-то

пошёл на понижение. Я, по-видимому. Прежде были у меня капитан и майор.

— Теперь твоим следователем буду я, — объявил он, осматривая меня, как осматривает столяр доску, из которой собирается соорудить полку или табурет. — Фамилия моя Нарбут.

Я тоже рассматриваю его, но с иными, конечно, чувствами. Как доска, если бы она обладала такой способностью. Уж мне-то важно знать, какие руки надо мной трудиться будут. Пытаюсь определить, чего можно ожидать от этого, со всех сторон круглого человека. У него не только острых, но и тупых углов нет. Всё круглое. И лысая голова, и миниатюрный носик, и плечи. Руки тоже. Мясистые, с короткими пальцами. Весь он плотен, налит, как батон варёной колбасы. Что может таиться за оболочкой его, не понять. Благодушие? Тупость?

— Как ты настроен? Будешь помогать следствию или хочешь ссориться?

Как я настроен? Такое слышу здесь впервые. Как я настроен?

Я пожимаю плечами.

— Зачем же ссориться? Я намерен говорить правду, гражданин следователь, а там уж вы решайте. Я так понимаю, помогать следствию — значит, говорить правду.

— Правду, правду, — бормочет он, уставившись в раскрытую папку. И вдруг, высоко замахнувшись рукой, изо всех сил бьёт кулаком по столу.

— Кто такие "кваки"? — кричит он, наливаясь кровью. — Отвечай, кто такие "кваки"?

Вот тебе и раз! Он, оказывается, обыкновенный дурак, старший лейтенант Нарбут. А я его разгадывать собирался. Что уж тут разгадывать? Сразу себя и показал. Дурак и есть. С таким, как известно, если что-то найти, то плохо. Впрочем, с дураками всегда плохо. Даже если ничего не находишь. До сих пор мне, видимо, везло. Прежние мои следователи дураками не были. О кваках может спрашивать только недоумок. Смех с этими следователями! Да и где они распались кваков?

— Ну так кто же такие "кваки"? Будешь говорить? — он снова лупит кулаком, но без прежнего пыла. Ушибся, видимо, в первый раз.

— Если вам надо, то я расскажу, — говорю я нарочито смущённым, как бы неуверенным тоном. — Совестно, ведь

чепуха это. Сушная чепуха. Неужто нет у следствия дел по-серьёзнее, чем ребячьи забавы?

— Но, но, ты не умничай! Ишь, мудрец какой нашёлся! Учить нас вздумал, что расследовать, а что нет. Тебя спрашивают, ты отвечай. Понятно?

Не знаю, предстоит мне потерять или найти, но в обоих случаях рядом со мной будет дурак, и ссориться с ним попусту не стоит.

Приходится рассказывать. Да, знаю я, кто такие кваки. Но, чёрт возьми, какое они имеют ко мне отношение? Почему об этом спрашивают меня? Ведь я мог ничего и не знать о них! Да и вообще дурость какая-то! Но больше всего мне хотелось бы знать, как они могли до этих дурацких кваков добраться? Такое ведь не выдумаешь! Надо вспомнить, кто о них знал из моих ребят. Прежде всего, конечно, Юрка. Он главный. Прямой участник. Он всё должен знать. От него и я. Значит, Юрка. Впрочем, Юрка не только мне, но и другим рассказывал. Девочкам, например. Тане и Рае. Думаю, что Таня могла и не через Юру, а от других сведения получить. Вполне могло быть так. Она в той же школе и в то же время со всей Юркиной компанией училась. И дружила с ними. Кто же ещё?

Нет, всё на Юрке сходится. Я ему зла не желаю. Друг он мне, Юрка. Но почему спрашивают меня, а не его? Почему?

А что я знаю о кваках? Знаю, что был в 45-й школе учитель, если не ошибаюсь, не то Соболев, не то Соболев. А может быть, Соболевский. Что фамилия от соболя пошла, помню точно. А что до окончания, сомневаюсь. Насколько я теперь понимаю, был этот Соболев или Соболевский, учителем незаурядным. Ученики обожали его.

Основой своей воспитательной системы он считал дружеские отношения с ними. Ученики часто бывали в его доме, собирались на чаепития, где затевались диспуты и читки. А летом он организовывал нечто наподобие лагеря: ездил с ребятами на реку, устраивал экскурсии и походы. Ну и, конечно, вёл с ребятами беседы на лоне природы. Имелась у учителя лодка, и решено было однажды водрузить на носу её флаг. Для него и эмблему придумали — лягушку с открытой пастью. Своего рода символ поклонников водной стихии. Вот от этого флага символа и пошло потешное название группы. Стали члены её *кваками* называться. Самая невинная детская игра. Давно, к тому же, оставленная и забы-

тая. Что интересного нашло следствие в этой игре, уму непостижимо.

Всё это я рассказал следователю самым добросовестным образом. Ничего не утаил. Я, действительно, ничего больше не знал.

— Где этот Соболев? — снова стучит следователь по столу. — Сейчас где его искать?

— Откуда я могу знать? Я же его, гражданин следователь, никогда в глаза не видел! — Моё недоумение совершенно искренне. Что он дурака валяет? Неужели не понимает, что рассказ мой — чистая правда? Вот когда я с сожалением майора вспомнил. Тот сразу бы понял, что к чему. И Меерзон тоже.

Следователь долго молчит, но вижу, что так просто я от него не отделаюсь. Не кваки его интересуют. Они лишь приписка. Преамбула. Действие только начинается.

И снова кулак обрушивается с грохотом кузнечного молота.

— Врёшь! Врёшь, сволочь! Правду обещал, а врешь! О главном-то ни слова не сказал! — И как только им удаётся такие спектакли разыгрывать? Из чего ему так кипитесь?

— Что же я вам, гражданин следователь, соврал? Пересказал, что с чужих слов узнал. Может быть, что-нибудь и позабыл, да вроде нет. Да и забывать-то нечего! Ничего больше, что бы вас интересовало, не было!

И вдруг мелькает в голове беспокойная мысль. Я, действительно, кое-что скрыл. Ни слова не сказал о том, кто мне всю эту чепуху рассказал. Но ведь он и не спрашивал! Чего проще? Возьми да спроси! К чему орать и кулаком махать?

— Врёшь, сука! Не всё! — надывается Нарбут. — Почему о Бергонье умолчал? Про Бобра, и как там его, басни мне рассказываешь, а о Бергонье — ни звука? Такая у тебя правда?

Ах, вот оно что! Бергонье ему нужен! Так бы прямо и сказал. И я бы ему выдал Бергонье со всеми потрохами. С чего бы я стал его скрывать? А между прочим, его я тоже никогда не видел, как и Соболева. Или Соболевского. О нём тоже всё с чужих слов. И ещё по фотографиям. Их у Юрки немало сохранилось. И у Тани были. Немного — одна-две, но были.

В те времена история Бергонье в наших кругах была весьма популярной. Пока жил здесь, он себя ничем не прославил. Никто его не знал, и никто им особенно не интере-

совался. Кроме, конечно, ближайших товарищей. Но, когда отбыл он за пределы, да ещё и в Париж, тогда уж прогрело его имя в полную силу.

А был он самым обыкновенным пареньком, ничем не примечательным. Ни внешностью, ни дарованиями, ни спортивными успехами. Зато все его сосуды, до последнего, были заполнены французской кровью. И этим он всё-таки выделялся из общей массы. Такая кровь у нас в диковину.

Учился Жорж — так его уж называли, хотя имя у него было иное, я его не припомню — в той же школе. Вместе с Юркой и Таней. С ними же и в дружбе был, и в кваках состоял. Учился — не очень. Не блистал. Но в комсомоле числился. Правда, тоже в тени был. Он вообще нигде не перетруждался. И скромн был во всём.

Каким образом судьба забросила его, чистокровного француза, к нам, не знаю. Юрка, надо полагать, знал. А я — нет. А может быть, и забыл. Скорее всего, именно так, потому что Юрка мне о Жорже много рассказывал. Были ли у него родители, и кто опекал его здесь, не скажу. Я вообще очень мало тогда им интересовался.

И получает Жорж неожиданно и негаданно вызов и все необходимые документы из Франции. Нашлись его родители, или позаботились о нём какие-то родственники, только он, не долго думая, собрался и укатил. Прощался трогательно. Клялся хранить и там, во враждебном капиталистическом мире, наши советские традиции. Даже будто бы обещал посвятить себя борьбе за светлое будущее. Чтобы и его единокровным братьям-французам жилось так же привольно и счастливо, как всем советским людям. Поклялся, пообещал и укатил.

А вскоре прибыло от него письмо. Адресовано оно было Юрке, но задумано как открытое. Для всей кваковской братии. Любопытнейшее письмо.

Писал Жорж, что уже вполне освоился с новым своим положением, многое успел передумать и понять. В частности, понял, какой скучной, жалкой и унижительной была его жизнь в Советском Союзе, и что вспоминает он о ней с содроганием. О пионерской организации теперь думает со стыдом, равно как и о той белиберде, которой всем забивали головы. Такое же суждение он относил и к комсомолу.

Что касается его обещания бороться за светлое будущее, то он теперь убеждён: бороться нужно не ему, там, а нам, в нашей дикой и варварской стране. Жить так, как живут ра-

бочие в Париже, — вот за что следует бороться советским людям.

В заключение, испытывая, по-видимому, известную неловкость, Жорж писал, что любой из нас, попав на Запад, рассуждал бы точно так же. На этот счёт у него нет ни малейшего сомнения. И, как бы в подтверждение, к письму приложены были фотографии. На них Жорж, позирующий на фоне известных зданий Парижа: Лувра, Пантеона, Собора Нотр Дам. Но самое большое, конечно, впечатление производило фото, на которой Жорж стоит в шляпе (!), облокотясь о радиатор великолепной машины. На обороте — лаконичная надпись: "Это — моя".

Вот такое было письмо, и оно, конечно, не осталось без ответа. Писали его коллективно, как запорожцы своё знаменитое послание к султану.

Разделали француза под орех. Выдали по всем статьям. Ни яда, ни перца не пожалели. Ответ был размножен и читался вслух повсеместно. Я тоже читал его, слышал, вернее, и помню, как млел от прилива патриотических чувств. Хлёстко было написано. До слёз прошибало.

Вот и всё, что мне известно о Жорже Бергонье. Всё, и ни слова больше. В таком, дословно, виде я и выложил следователю эту историю, с уверенностью, что тайна под кодовым названием "Кваки" перестала существовать. Мура, которая если чего-нибудь и стоит, то не более как выеденного яйца.

Но и на сей раз я просчитался. Что за нелепая манера у моего следователя? Псих какой-то! С ним говорят по-человечески, а он снова лупит по столу своей плотной дланью.

— Значит, ты... твою мать, не знал Бергонье? — орёт он с новым, неожиданным приливом сил. — Не знал и ведать не ведал? Со всякими французами не яхшался? Так? А это что? Про это ты тоже не знал? — Он извлекает что-то из своей папки и тычет мне в нос. — Посмотри, хорошо посмотри, узнаёшь?

Ну и дела! Поистине, ничто в мире не пропадает. Вот оно и появилось, письмо многолетней давности, одно из тех, которые я получал от иностранных фирм. Забыл я о нём, конечно, да и не мог о нём помнить. Кучами они тогда мне приходили. И всё же письмо особое. Оно было единственным, пришедшим, на беду мою, из Франции, и даже из самого Парижа. Послал я туда однажды открытку без всякой

надежды. На авось. Тем более, что написана она была по-немецки.

К сожалению, я тогда недооценил гибкость и инициативность фирмы. Там не только прочли моё послание, но повели деятельную переписку на моём родном языке.

И такое подлое на нём прислали письмо! Не говоря уж о том, что адресовано "уважаемому господину инженеру" — мне, значит, — но и содержание такое, вроде у нас давняя дружба. Прямо, надо сказать, провокационное письмо"

Особое внимание привлекал оборот: "Зная о Вашем интересе к изделиям нашей фирмы, высылаем и т.д.". И ещё одно письмо, уже в ответ на моё: "Вы сообщаете, что на ваших предприятиях имеются аналогичные приборы немецких фирм "АЭГ" и "Сименс-Шуккерт", а также старые модели русского изготовления" и т.д. Вот это, грубо говоря, врезали! Такое только подай нашим блюстителям! Кстати, эти абзацы были жирно подчёркнуты красным. Выходит, я информировал наших врагов о состоянии советской промышленности! И ведь не отвертись! Прямо так и сказано, русским языком, в буквальном смысле: "Вы сообщаете...", а "Вы" — это "Глубокоуважаемый господин инженер".

Вот теперь уже влип! Почтише той бумаги. Тут уж никакой липы. Всё как есть. Документально. Не чета идиотским квакам.

Но не сдаваться же мне! Как-то надо отбиваться! И я, на одном дыхании, рассказываю следователю всю историю с заграничными каталогами. Расписываю прелесть студенческой затеи и наивность зарубежных фирм. Мне кажется, что убедил бы я даже статую Святого Владимира, что высится над Днепром. Во всяком случае, святой не смотрел бы на меня таким недоверчиво-презрительным, ироническим взглядом. А следователь именно так и смотрит. Тупое упрямство прёт из всех черт его круглой, лоснящейся физиономии. Но по столу он уже не стучит. И голос у него установился на приемлемом — человеческом уровне. Не потому, что он верит мне. Просто считает, что я у него в руках и можно теперь убавить жар.

Ни я, ни мои показания ему больше не нужны. Кваки — Жорж — моя переписка... — всё вместе составляет чётко документированную линию вражеской деятельности.

Не стал бы я так подробно Нарбутовский допрос описывать, если бы не мучила меня одна мысль: ни печальной известности "тройки", ни пресловутые "Осо" дел не изучали.

Боюсь, что не то чтобы изучать, но и вовсе их не читали. Судьба заключённого, таким образом, уже решалась следователем. Все последующие инстанции полностью полагались на выводы следствия. Им нужны были лишь опорные, так сказать, пункты, которые определяли статью. Даже не статью. Статья у всех была одна — пятьдесят четвёртая. Контрреволюционная деятельность. Борьба шла за параграфы этой статьи, а их было множество. Я, по крайней мере, знал одиннадцать! Один страшнее другого.

Вспоминаю все детали моего дела и не перестаю удивляться. Достаточно, не будучи юристом, быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять всю нелепость следственного материала.

И тем не менее, когда через месяц меня вызвали для подписания "двухсотки", то есть для ознакомления с делом и его окончательным оформлением, все мои сомнения отпали. Дело моё не готовилось для мыслящих существ.

К сожалению, я не запомнил всего, что было сброшюровано в папке, которую мне вручил Нарбут. Не помню также — и это особенно досадно — увязки между отдельными частями дела. Помню, что всё было там: и принадлежность к "квакам", и связь с гражданином Франции, и, конечно, антисоветская пропаганда.

Я уже не говорю о хронологической связи! У меня нет возражений против обвинения в агитации. Сам признал и подписал. Грешен. Но ради всех святых! Ведь переписка и "организация", в которой я не состоял!, — всё это было за шесть-семь лет до Зиновьевско-Бухаринского процесса и принятия Конституции! Ведь чушь сплошная!

Но драки уже нет, и махать кулаками нечего. Дело закончено, и я подписываю его. Не без удовольствия. Спихнул, как говорится, и теперь я — вольный казак. Никаких тебе следователей, никаких допросов. И так — до самого суда. В какой-то — не знаю, как его назвать — прекрасный или злосчастный, день снова вызовут меня. И подпишу я такую же, как "двухсотка", бумажку с решением "тройки". Срок свой узнаю. И судьбу тоже. Вроде эту бумажку мне попутай или свинка морская достали у гадалыши на базаре. Они за гривенник их вытаскивают из ящичка. Но здесь, конечно, судьбу твою точнее определяют. И стоит такой фокус подороже.

Не рискну утверждать, что все дела были столь же несуразными, как моё. В равной мере, не решусь я предположить, что было моё единственным. Разными были наши дела. Но, какими бы они ни были, результат оставался один: по всем делам выносились приговоры. По всем, и без исключения, потому что обжалованию не подлежали. Оправдание — и в наши дни явление уникальное, в практике почти не встречающееся. А уж тогда и слово такое позабыли. Мечтали не об оправдании, а о том, чтобы, какой ни есть, а получить приговор — малой кровью.

Надо было пройти и пережить все этапы следствия, дойти до полного физического и морального истощения, чтобы видеть в подписании "двухсотки" единственный путь к избавлению. До сих пор слово "двухсотка" будит во мне положительные эмоции. Подписав её, чувствуешь себя, как почувствовал себя, наверное, Атлант, переложивший небосвод на плечи Геракла.

Что и говорить, хороший это день! Окончание дела — это освобождение от страха, от допросов, от мучительного ночного ожидания. Впереди — одни только радости. Спокойный ночной сон, возвращение к маленьким, будничным, умиротворяющим делам, уютные беседы у параша. Можно и развлечь себя, занявшись изготовлением шахмат или трубок из хлебного мякиша. И иголки можно делать из зубной щётки, а можно вышивать или плести пёстрые шнуры, распустив для этого изношенный носок. Да мало ли есть увлекательных занятий, если на душе спокойно и времени — без границ.

За всех не поручусь. Мне было легче. Ни жены, ни детей. И мысли о будущем не тревожили. Напротив. Они были светлы и полны надежд. Все мы были убеждены, что в лагере удастся применить свои знания, умение, мастерство. Ну и, конечно, добросовестно трудясь, мы получим всё, чего лишены здесь. Еду, какую-то свободу, какой-то комфорт, в смысле места на нарах с матрасом, постоянно действующую лавочку и неограниченную возможность отправлять естественные надобности. А что ещё нужно человеку?

ГЛАВА 21. ЖАЛОБА ВОЛОДИ БОЛОТИНА.

Терпеть не могу рассказчиков, которые мне своё отношение к рассказу навязывают. Хочет такой забавную исто-

рию или анекдот рассказать. Так нет чтобы просто, сто раз он тебя предупредит, какая это смешная история. А как рассказывать станет, то так смеяться будет, что и слов не разберёшь. Когда же закончит, то уж и вовсе, как коклюшное дитя кашлем, смехом захлебнётся. А тебе не то что смеяться, глаза поднять совестно.

Так же всё будет, если задумал рассказать не смешное, а страшное, что пережил. До рассказа пугать начнёт и во время него будет охать и ахать, да жалкими словами из тебя слезу выжимать. Всю дорогу будет страх нагонять изо всех сил.

Длинное получилось предисловие. Но лишним я его не считаю. Хочу, чтобы правильно меня поняли, чтобы обо мне не сказали, что сгущаю краски, нагнетаю страхи, запугать хочу.

Вот я о быте нашем камерном рассказал. И может создаться впечатление, будто о благе и здоровье нашем никто не заботился. Неверное это впечатление. Думали о нас и заботились. В пределах, конечно. Тюрьма есть тюрьма. А что заботились о нашем здоровье, мы не раз на себе испытали.

Взять хотя бы тот час, когда среди бела дня улавливают дозорные наши необычный шум в коридоре. Топот и шарканье ног, голоса громкие, звон ключей. Не понять. Если бы шмон, так не галдели бы. При шмоне штурпаки, словно пантеры на охоте. Шороха не услышать. На лавочку тоже грешить причины не было. Она всего как неделю назад у нас гостила. Выходит, не шмон и не лавочка.

Пока думали да гадали, загремели ключи уже возле нашей двери. Распахнулась она, и увидели мы в её растворе кучу народа. И народа не простого.

Впереди — высокая фигура в штатском и с таким обликом, словно сошёл он с Чеховских страниц. Правда, что до бороды, то были у него только усы. Зато имелись очки в тонкой золотой оправе, туго накрахмаленный, белый воротничок и чёрный галстук. Сразу видно, что человек интеллигентный. К тому же и влиятельный. А в тюремном деле — новичок. Это мы тоже поняли.

Первым его побуждением было — переступить порог и войти в соприкосновение с обитателями. Но, как очень верно определил Талейран, первое побуждение — самое благородное, и этого следует опасаться. Наш гость явно Талейрана не читал и был тут же наказан. Сунув свой интеллигентский нос в камеру, он отпрянул с искаженным от омерзе-

ния лицом. За его спиной в подобострастных позах толпилось тюремное начальство.

Преодолев первое потрясение и набрав в лёгкие запас коридорного воздуха, он заговорил:

— Я — областной прокурор, граждане, — представился гость. — Пришёл посмотреть, как организована в вашей тюрьме работа, и выслушать жалобы. Какие есть у вас претензии к администрации? — он извлёк из часового карманчика маленький дамский платочек и приложил к носу.

Но от его вопроса мы тоже впали в шок. Что всё это значит? О каких претензиях говорит прокурор? Не пришло ли время Страшного Суда? Не "разбираться" ли начали?

Все мы жили одной надеждой: *разберутся!* Раньше или позже, но *разберутся!* Не настал ли этот долгожданный час?

Много разных мыслей впопыхах перелопатили мы в головах — под выжидающим взглядом прокурора. Метались они, как рыбы в сети. Но, каковы бы ни были они и сколько бы их ни было, такой, чтобы жаловаться, претензии предъявлять, среди них не было. Ни у кого. Так мне, по крайней мере, тогда казалось. И, выходит, неверно казалось. У одного из нас претензия была. И была она у Володи Болотина, пусть простятся ему все грехи, и этот тоже. Претензия.

— Если позволите, гражданин областной прокурор, есть у меня жалоба, — сказал он, делая шаг вперёд и покашливая. Не знаю, или горлом он болел, или привычка у него такая была — покашливать.

После прокурорского предложения насчёт претензий мы стояли, как окаменелые. Но если это понятие имеет сравнительную степень, то высшая из них после Володиного вопроса была налицо. Окаменевшие окаменелости. Только так можно охарактеризовать наше состояние.

А Володя с угодливой, но хитрой улыбочкой продолжает:

— Такая у нас есть жалоба, гражданин областной прокурор. Очень нас клопы донимают. Покоя нет от них по ночам. Нельзя ли как-нибудь...

На этом "как-нибудь" Володя запнулся и сделал руками очень неопределённый жест, но по всем признакам долженствующий показать, как следует поступить с паразитами.

По ту сторону порога сразу всё пришло в движение. Я видел, что Володина жалоба всем пришлась по вкусу. Прокурор обернулся и повёл оживлённую беседу со своей сви-

той. Все с довольными лицами, улыбаясь, закивали головами.

— Других жалоб нет? — снова обратился к нам прокурор и, не затягивая паузы, резюмировал. — Значит, клопы? Хорошо. Необходимые меры будут приняты. Я уже об этом договорился с администрацией. — Прокурор поспешно и с явным удовольствием удалился от двери. Звон ключей, замкнувших её, послужил сигналом к вспыхнувшей дискуссии.

Любопытно, как такой ничтожный эпизод сразу выявил всё многообразие характеров и образа мыслей! Какие только фантазии ни рождались в этих стриженных головах.

Лидерство сразу же взяли на себя левые оптимисты. Появление прокурора они расценивали как первый шаг на пути к Великим Переменам. Машина даёт задний ход, — провозглашали они, поздравляя друг друга. Всё идёт, как и следовало ожидать. Начали с тюрьмы, кончат пересмотром дел. Скоро, братцы, будем дома!

Правое крыло — крайние пессимисты. С такой же уверенностью они утверждали: машина идёт прежним курсом. Ничего нового не произошло. Просто в плане работы прокурора, видимо, есть пункт: посещение мест заключения. Ради галочки к этому пункту он и явился. Грош всему цена. Но клопы, конечно, могут пострадать — их-то, наверняка, ждут большие перемены. Может быть, даже и последние.

Между этими двумя ведущими направлениями образовалось множество мелких, самого различного толка. Было даже такое, которое визит прокурора рассматривало как подготовку к предполагаемому посещению тюрьмы какой-нибудь делегацией. Возможно даже, представителями МОПРа.

В общем, мнений было много, и решить, какое из них стоит ближе к истине, не смог бы даже самый мудрый из равнинов.

Зато жалоба товарища нашего Володи без внимания оставлена не была. Дождались паразиты. В полном соответствии с повадками этих зловредных существ — а они, как известно, ведут ночной образ жизни — операция началась после отбоя.

Только мы улеглись, истомлённые событиями дня, как лязгнула дверь и в камеру ворвалась группа надзирателей.

— Все на коридор! Побыстрее, все на коридор! Вещей не брать! Оставить вещи! Давай быстрее! — кричали они, подталкивая растерявшихся людей.

— Шмон, шмон, братва! — пронеслось по камере. Но деваться уже было некуда. Захватили врасплох. Надзиратели теснили нас к двери, строго следя, чтобы вещи оставались на своих местах.

Когда камера опустела, явилось три уголовника в грязных халатах. Каждый из них был вооружён ведром и длиннохвостой малярной кистью. Словно на крестном ходу, взмахивали они кистями, кропя всё вокруг. Но кропили не святой водой, а отвратительно пахнувшей жидкостью.

Потрудились парни на совесть. Когда мы вернулись в камеру, ругань и проклятия слились в единой стон. Все наши вещи, все, недавно приобретённые в лавочке продукты, пол, стены были густо политы мерзкой, липкой, вонючей гадостью. В один час мы лишились всего. Скудных запасов еды и табака, одежды и тряпья, которое, сколь ни жалким оно было, служило нам постелью. Мы не могли даже лечь, чтобы в покое оплакивать и обдумывать своё грустное положение. Мы могли только стоять и проклинать. Всё и всех. Даже оптимисты, которые час назад радостно толковали о грядущих переменах, теперь, сжимая кулаки и скрипя зубами, кляли наших врагов. Кляли всех снизу доверху.

Бедный Володя. На его долю тоже пришлось немало. Но надо отдать ему должное — держался он молодцом. Да и в чём была его вина? Разве что в избытке жизнерадостности и смелости. Уж он-то был настоящим оптимистом, хотя и не строил воздушных замков. Правильный парень был Володя Болотин.

Спорить не приходится, клопы обошлись нам недёшево. Но что из этого? Разве не бывает так, что сделали человеку пустяшный укол, а он потом месяц с абсцессом, а не то и с чем-нибудь похуже мается. И уже всех врачей проклинает. А ведь они добра ему желали!

Так что и начальство наше очень уж винить не следует. Оно тоже хотело как лучше. Во всяком случае, о покое и здоровье нашем пеклись. Не очень ловко, не всегда успешно, но всё же. Имели, как говорится, нас в виду.

Между прочим, следствием "клопиной" истории явилась некоторая перестановка наших мест. Ей я обязан тем, что стал почти непосредственным соседом весьма незаурядной личности. Сблизился я с человеком, память о котором не потускнела донине. Сблизился не только с ним — неизменно при нём состоял и второй. Именно так — "состоял", потому что полностью обслуживал его и оберегал. Были это —

Дивногорский, Николай Петрович, и прислужник его — Зинченко. Имя, к сожалению, не запомнилось.

Был Николай Петрович в своё время членом Священного Синода. Какой на нём сан был, не скажу. Но из скупых его рассказов легко понять, что фигурой он был значительной.

Образован Николай Петрович был на диво. Всё он знал. И знал основательно. Не по верхам. Когда у нас, в связи с моими лекциями, об эволюционной теории речь зашла, он такие обнаружил познания, что я рот открыл.

Сразу же поразил он меня, когда сказал я, что был Дарвин верующим.

— Заблуждаетесь, юноша, не был он верующим, — мягко возразил Николай Петрович.

— Как же, — запротестовал я, — он же священником стать собирался и в сочинениях своих Бога не раз упоминает.

— Всё так, — со снисходительной улыбкой продолжал Николай Петрович, — но вспомните, что сказано в его книге о происхождении человека, в чём усмотрел он главное отличие человека от животного? В *идее* о Боге! Бог для него идея, созданная человеком. Будь он верующим, то упомянул бы о душе, о человеке как о подобье Божьем. А он вот так. — И Николай Петрович процитировал длинный абзац из Дарвиновской книги.

В жизни не додумался бы я до такого.

Теперь, вспоминая наши беседы, я понимаю, что были познания его всё же ограничены. Так или иначе, всегда соприкасались с теологией, и не более того. Но даже и в таком случае эрудиция его была блистательной.

Кстати, и Зинченко, который был простым священником, оказался тоже своеобразным уникалом. Часами мог он читать стихи. Часами! Без преувеличения. Сотни страниц хранил в своей голове. Но тоже с чётким уклоном. Прекрасно знал он Лермонтова. Вдохновенно, хотя и очень своеобразно, читал его помногу, не переводя дыхания. Но знал лишь то, что имело хоть какое-нибудь отношение к религии. Пусть даже там только упоминались Бог или ангелы. Но "Демона" он читал так, что в дрожь бросало. Ему бы чтецом, артистом быть, а не попом.

Лёжа рядом с Николаем Петровичем, я с жадностью слушал его воспоминания, которые сопровождал он своеобразными и совершенно для меня неожиданными рассуждениями. Я был захвачен его рассказом. Где, кому и когда прихо-

дилось вот так, лицом к лицу, в такой непосредственной и доверительной близости беседовать с Петербургским владыкой русской церкви? И я слушал, не переводя дыхания и не сводя с него глаз. Меня поражало мудрое спокойствие этого человека. Его тоже не пощадили — ни души, ни тела, хотя было ему далеко за семьдесят. Весь он был в кровоподтёках и синяках, но костлявое и сухое лицо аскета ничем не обнаруживало его физических страданий. Глубоко спрятанные в глазницах, светлые и ясные глаза были неизменно ласковы и дружелюбны.

В тот день, после нелёгкого допроса, страшно захотелось мне повидать Николая Петровича.

Я пробрался к нему, но с первого взгляда понял, что беседа наша не состоится. Дивногорский сидел, прислонясь к стене, с вытянутыми вперёд длинными ногами. Лицо его было болезненно-жёлтым. Даже губы имели тот же желтоватый, тусклый цвет. Я окликнул его, и он приподнял веки, но ни один мускул не шевельнулся под сухой, как табачный лист, кожей.

— Николай Петрович, что с вами? — ещё раз попытался я привлечь к себе его внимание. Но и теперь он промолчал. Только рука его, лежащая на колене, едва заметно вздрогнула. Я бросился к Тевию Израилевичу. Он взял руку Николая Петровича, недолго подержал её и бережно опустил.

— Если сейчас, немедленно, — шепнул он мне, — мы не достанем лекарства, я ни за что не ручаюсь.

Я рванулся к двери и забарабанил по ней обеими руками изо всех сил.

— Врача! Врача! Скорее врача! — кричал я во весь голос. — Человек умирает! Позовите врача! Человек умирает!

— Що такое? Чого галас пидняв? — Набросился на меня надзиратель. Но кричал уже не я один. Шумела вся камера, и он присмирел. — Зараз начальнику докладу, — буркнул он, захлопывая дверь.

Я вернулся к Николаю Петровичу. Возле него сидел совершенно растерявшийся и такой же мертвенно-бледный Зинченко. Он молитвенно смотрел на меня и потихоньку крестился. Я, наверно, выглядел не лучше, чем они оба. Дрожа всем телом, прислушивался я к звукам, доносившимся из-за двери, но тех, которые я с трепетом ждал, не было.

А Николай Петрович вдруг часто и глубоко задышал. Он не вдыхал, а как бы глотал воздух, словно зевая, открывал рот.

Я просунул руку под жёсткую, как дерево, спину, пытаюсь уложить его. Но всё тело было как одна цельная кость. Ещё несколько судорожных вдохов приподняло его грудь. Потом последовал зевок, и рот уже не закрылся. Не стало Николая Петровича.

А я ещё долго держал свою руку под его спиной, не решаясь потревожить неподвижное тело.

В таком положении застал меня врач, который всё же явился. И даже скорее, чем можно было ожидать. Он был немолод и как-то сверху донизу неряшлив. Во всём. В одежде, в чертах болезненно-серого лица и в седых нечёсанных волосах. Он бросил взгляд на покойника, брезгливо поморщился и, не сказав ни слова, повернулся к двери.

И всё. Мы с Зинченко, отстранив любопытных, уложили тело, подвязали челюсть куском вафельного полотенца и сложили на груди руки. Зинченко бормотал себе под нос какую-то молитву. Делал он это по привычке, и мне было странно видеть его равнодушие, хотя в его преданности Дивногорскому у меня сомнений не было.

Давно всё это было. Очень давно. Но поныне свежим осталось в памяти моей всё, что было связано с этим необычным знакомством. И такое выпало мне: дружба с членом Священного Синода. И проводы его в последний путь.

Могли бы они быть другими. Он вполне заслужил друзей, этот благородный, мужественный человек.

ГЛАВА 22

НАШИ ПРАВА И НАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Удивительное учреждение наша Лукьяновка. Казалось бы, кто, где и когда находился в таком же унижительном и бесправном положении, в каком пребывали мы? Однако если трезво, без эмоций оценить нашу жизнь, то невольно приходишь к странному заключению. Сидим за решёткой, а прав у нас — под самую завязку. Одни только права! И никаких обязанностей! Поистине — правовое общество! Парадокс!

А может быть, никакого парадокса и нет. Взять хотя бы для сравнения такой небезынтересный факт. В нашей Конституции, самой, самой, как всё у нас, где о правах, свободах и обязанностях говорится, тоже так.

Обязанностей — с гулькин нос. Да и те какие-то скользкие, как арбузные косточки. К тому же ещё они с понятием о долге перемешаны. Тоже долг этот в руки не возьмёшь. Вроде, например, долга об укреплении мира и дружбы между народами. Даже и не придумает, как такой долг отдавать. И кому его отдавать.

Зато насчёт прав — всё железно! Не говоря уже о том, что статей таких — навалом! Но и сами статьи — одна другой мощнее.

Все права есть у человека. И трудиться, и жаловаться может и компенсацию, если тебя государство обидело, за ущерб нанесённый получить, и ещё, и ещё... На всё права есть. И в целом получаешься ты кругом свободным человеком. И дышишь ты по этой причине так свободно, как никто и нигде на всей земле. Так и в песне поётся. А чтобы не забыли люди, как им дышится, так из песни этой позывные столичного радио нашего сделали. И теперь они вроде петухов на рассвете нас поднимают. Вставай, мол, дыши свободно и помни о своих правах. И об обязанностях тоже.

Так и выходит, что не обязанности, а именно права статус жизни определяют. И, следовательно, в нашей Лукьяновке тоже всё от прав зависит. А их у нас, как и в конституции, хватает на всех.

А вот обязанности... Какие у нас обязанности? Да никаких! Нет их! Ни единой! Разве что к следователю время от времени наведаться. Так и её по собственному желанию, как всякую обязанность, не исполнишь.

Совсем другое дело — права. Вон их у нас сколько! Есть право на питание, на жильё, на туалет, на баню, на лавочку и даже на медицинскую помощь. И жаловаться тоже можем. Есть у нас и право на прогулку. Не слишком щедро нам прогулку ту отпускали. Но всё же. На десять минут ежедневно покидали мы нашу камеру. Десять минут в сутки могли мы дышать и без всяких ограничений. Набирай себе кислорода и азота, сколько душа желает. Хоть обдышись.

Право на прогулку было так же свято, как на баланду, крышу и туалет. Даже более того. Баланду мы могли, если такое пришло в голову, вылить в парашу или передать товарищу. И в туалет могли не ходить. Было такое у нас право. Но от прогулки ничто не освобождало, даже болезнь.

На прогулку нас водили, как правило, всегда в одно время. Тут не возникало таких трудностей, которые были неизбежны при походах в туалет. Количество заключённых мог-

ло падать и расти, но прогулочное время оставалось неизменным. И продолжительность тоже. Десять минут.

Прогуливались мы в одном из тюремных дворики, специально оборудованных. Всё здесь было подчинено одной цели: ничто не должно радовать глаз человеческий.

Отведённый для променада двор помещался между зданием корпуса с забитыми железом окнами и трёхметровой кирпичной стеной. Деревья, некогда произраставшие здесь, были спилены. Следы их сохранились лишь в виде пней, сравненных заподлицо с землёй. Трава, которая по всем законам природы должна была здесь произрастать, была полностью выщипана.

Двор наш мог служить наглядным опровержением слов Льва Толстого, вселяющих бодрость. Это он в первых строках "Воскресения" писал, что, как ни старались люди счищать траву и забивать землю камнями, чтобы ничего на ней не росло, но весна была весной. И выбивалась трава даже между камнями. Но хоть в его романе только и речи, что о тюрьме, такого графу увидеть не довелось. Пройдись он хоть разок по нашему двору, кое в чём усомнился бы наверняка.

Не видели мы ни травы, ни весны. Не могла тут расти трава. Земля была посыпана мелкой щебёнкой, сбитой тысячами ног до асфальтовой плотности.

Одно только небо могло бы порадовать. С ним уже ничего сделать нельзя было. Ни спилить, ни затоптать. Зато с людьми кое-что сделать было можно. И даже очень просто. "Руки назад! Головы вниз!" Только и всего. Вот и шагали мы, как грибки в осеннем лесу. Где уж тут небо увидишь! Только клочок земли у своих ступней и ещё ноги впереди идущего в поле нашего зрения попадали. И ещё, рискуя вывихнуть глаза, могли мы кое-что по сторонам взглядом ухватить. Тогда удавалось нам наших стражей, восседавших на лавочке у стены со своими собаками, узреть. Все мы на это местечко пялились. Не из-за собак, конечно. Ящик там вроде почтового висел. Ничего особого в самом ящике тоже не было. Надпись на нём нас, как опилки железные к магниту, притягивала. Крупными белыми буквами была она сделана. Очень волнующая надпись.

Когда я впервые увидел её, то вмиг покоя лишился. Подумать только! "Ящик для жалоб наркомому Балицкому! — гласила она. Значит, есть у нас и такое право! Как в самой нашей Сталинской конституции!

Ах, сколько радужных фантазий витало вокруг этого ящика! Какие только ни рождались чудесные мечты! Шуткали! Всего десять шагов, и ваш отчаянный вопль может прорваться к самому наркомому!

Но все мечты и фантазии умирали, едва родившись, как недоношенные плоды. Как могли мы подать жалобу? Не было среди нас гераклов, чтобы связать церберов и повторить двенадцатый подвиг прославленного героя. И не только в церберах было дело. Бумаги у нас не было, и писать было нечем. Вот если бы бумага и самый завалящий карандашный огрызок! Да и чёрт с ним, с огрызком! Кровью бы написали! Бумага... в ней, бумаге, было дело!

Теперь, вспоминая прошлое, с прежней настойчивостью терзает меня та же неотвязная мысль. Как могло это быть? Почему так, непоколебимо и истово верили люди: пробейся они к ящику, и всё. Спасены. Наступят новые времена. Времена свободы и справедливости. Только бы пробиться!

Значит, коту под хвост вся история! Воскрес умильный образ царя-батюшки. И снова, как и тогда, дурачат его прислужники, прячут от него горькую правду. Стену между ним и народом воздвигают.

Как добраться до ящика?

Руки сзади и глаза долу. Так совершаем мы круг за кругом по нашему манежу, косясь на вожделенный ящик. "Ящик для жалоб". Для наших жалоб.

Ах если бы! Уж мы бы не ограничились клопами! Всё бы выложили! Всё, до последней капли. Пусть бы, наконец, нарком товарищ Балицкий узнал, какую горькую и страшную правду скрывают от него. Уж он-то знает, как всё на свои места расставить. Только бы узнал!

С какой восторженной завистью слушали мы рассказ Петербургского о далёких и романтических временах. Прекрасных и возвышенных временах борьбы с царским самодержавием. Тогда, в бурные революционные годы, он, как и мы, гулял в этом дворе. Место было прежнее, но сам двор ничем наш не напоминал. Был он тогда зелен, как газон в городском парке. И деревья, там, где пни теперь, высились, тенью своей полдвора укрывали. Петербургский нам даже показал, где липы, а где клёны стояли.

А на прогулку отведён был час-полтора. Не жались. Полчаса туда, полчаса сюда, никого это особенно не волновало.

С задумчивой, грустной улыбкой рассказывал адвокат, как выходили на прогулку политические. Шли, словно в далёкий путь собрались. Тащили подушки, одеяла, книги, а иные даже матрасы — для полного комфорта.

Устраивались в одиночку или группами, уж кто как задумал. Кто читал или дремал под сенью деревьев, а кто и спор заводил с противником идейным. Были и любители солнечных ванн. Всё с себя посбрасывают и нежатся в одних подштанниках. А когда истекал законный час, неизменно заводили с надзирателем спор. Часы, мол, у него спешат и до конца прогулки ещё целых четверть часа осталось. Чаще всего, надзиратель уступал. Пусть господа политические побалуется ещё десяток минут. Его от этого не убудет. Лишь бы вели себя хорошо.

Да, не додумались прислужники царские до выщипывания травы, спиливания деревьев и щитов железных на окнах. Не тот был уровень. И нравы тоже. Ну, и рвение было не то. Трудились, как мужики на барщине или в колхозе. За качество не боролись. Шла бы только служба.

Думаю, что и месяца не прошло с того дня, когда мы на ящик слюни пускали. А может быть, и прошёл уже месяц. Только на одной из прогулок вдруг пробежал по рядам шёпоток: "Смотри на ящик!" Смотрим, конечно, раз советуют. Во все глаза смотрим. А чего на него смотреть? Всё на месте. Ящик как ящик. Прошли раз, прошли второй, а шёпот снова догоняет.

— Надпись, надпись читай, — шепчет Борис, мы с ним в паре шли.

Читаю. Вот так так! "Ящик для жалоб наркому Успенскому". Вот это да! Значит, нет уже наркома Балицкого! Новый у нас нарком! Перешёл, надо полагать, товарищ Балицкий на другую работу. Не нарком он теперь и не товарищ. Нам объяснять не нужно. И так ясно: врагом народа он оказался. Вот на какую работу перешёл товарищ Балицкий! Сам нарком! Как же это надо понимать? Значит, его рук дело вся эта дьявольская карусель! А мы жалобы собирались ему писать! Смех да и только! Вот где, оказывается, собака была зарыта!

Ну и слава Богу! Свершилось! Уж новый нарком, товарищ Успенский, по-новому и дела поведёт. С новым, как говорится, годом и новым счастьем!

Мы возвращались в камеру. Шли по всем правилам. Руки за спиной, головы вниз. Но тот, кто нас такими видит,

ничего не видит, потому что не идём мы, а летим. И у нас, как в той песне поётся: "Вместо сердца — пламенный мотор".

И снова бушуют страсти, создаются и распадаются партии, выдвигаются и опровергаются теории. Но, какие бы ни выдвигались теории, как бы ни были противоположны позиции спорящих, всех объединяет одно: надежда.

Вот так и жили мы, споря, размышляя, выжидая и, прежде всего, надеясь. Хорошо жили. Хорошо, но — на беду нашу — недолго. А недолго потому, что на одной из ближайших прогулок снова пополз тот же шёпот: "Смотри на ящик! На ящик смотри, братва!"

Смотрим. Хотел сказать и — глазам своим не верим. Но будет это риторикой, совершенно здесь неуместной. Смотрим и верим. Не в первый уже раз. Теперь, оказывается, досаждают своими жалобами придётся не товарищу Успенскому. Новый послан нам Богом заступник: нарком Леплевский!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А с Успенским как же? Что же это, он тоже — враг? Не Балицкий, значит, один дрова ломал? Выходит, и Успенский из той же колоды? Ну и дела! Как верно поётся в песне про вихри враждебные, что веют над нами, и про судьбы безвестные... Словно нам её посвятили, песню эту. Всё, как есть.

Теперь уже никаких теорий мы не строим. И никаких моторов нет в нашей груди, а самые обыкновенные, тоскующие сердца. В глаза друг другу и то смотреть неловко. Чего только ни наболтали в прошлый раз. Вспомнить советно. Не самый, кажется, глупый народ здесь собрался, а на поверку — так сплошь одно дурачье.

Теперь уже надеяться не на что. Даже думать и то не хочется. О чём думать? О новом наркоте? О двух прежних? Гадать, который из них враг, а который друг? Лучше уже сказки рассказывать или анекдоты. И о женщинах можно. Всё лучше.

Правильно решили. Хватит с нас дискуссий и теорий. Нет среди нас таких, чтобы в этом шабаше разобраться. И, уверен, не только среди нас.

Ведь и раза не успели мы в баню сходить, как ящик нам опять сюрприз преподнёс. Перекрестили его снова. Он просто стал теперь "ящиком для жалоб". Никаких наркомов и никаких имён. Просто ящик. Хочешь жаловаться — давай,

жалуйся! Хоть самому Господу Богу! Были бы жалобы, а нарком найдётся. Земля наша всем богата. И наркомами тоже.

Кончилась "ящичная" история. Мы даже в ту сторону и смотреть не хотим. Есть у нас и другие дела. Прогулка — это не только кислород. Но и земля, которая, как всегда и повсюду, таит в себе скрытые богатства. Надо только счастье иметь. Клады всегда только счастливым достаются. А счастливчику судьба может окурочку подбросить. Иной раз даже вполне приличный и не слишком обсосанный. Можно ещё на осколок стекла наскочить. Попадают среди них такие, что с добрый ноготь величиной, а это, как ни скажи, — оружие. Инструмент. Встречаются и кусочки проволоки. И они в дело идут.

А однажды нашёл кто-то — это ли не чудо? — лезвие бритвенное! Трудно даже объяснить, как могло оно сюда попасть. Нет этому разумного объяснения. Но факт: получила камера настоящий нож. Не из хлебной палочки, и не костяной, из зубной щётки. С лезвием мы себя, как Маутли — с железным зубом, почувствовали. В железный век шагнули.

ГЛАВА 23

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НА ЗЕМЛЕ — ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО.

Мысль, которую содержит название этой главы, принадлежит Георгу Кристофу Лихтенбергу.

Не знаю, как сам автор её оценивал. Может быть, и не выделял её среди множества других. Но я выделил и запомнил. И не перестаю восхищаться её меткостью. Никакие красоты земли, никакие чудеса природы, привлекающие к себе толпы исследователей, наблюдателей и любопытных, не могут соперничать с неисчерпаемым богатством человеческого многообразия.

Я видел человека таким, каким нельзя увидеть его в иных условиях. Мои наблюдения сделаны при обстоятельствах необычных и, хотелось бы надеяться, уже неповторимых, при которых выступает одна лишь суть человеческой натуры, выступает обнажённой, без всякого, даже самого ничтожного, прикрытия.

Лихтенберг писал о человеческом лице. Его он считал самой интересной частью земной поверхности. Но вряд ли видел он его таким, каким видел его я.

Было бы несправедливо и непростительно предать забвению сделанные мною наблюдения, добытые к тому же столь дорогой ценой.

К великому сожалению, коротка моя память. Полстолетия, словно в тряском сите, носил я свои воспоминания, и остались только те, что покрупнее. Да и они так обкататься успели, что все грани размылись. А от иных и вовсе одни лишь обломки сохранились. Как от доисторических существ. Где черепа кусок, где пара зубов, а где и всего лишь отпечаток лапы. Теперь уже дело палеонтолога картину древнего существа воссоздать.

Так и я в памяти своей — по кусочкам, по обрывкам, по обломкам давние события хочу восстановить. Сверкнёт какая-нибудь деталь и высветит в памяти такое, от чего в жар бросит! И сердце замрёт, как тогда. Словно вновь *туда* вернулся.

Сжимается моё сердце, когда того паренька вспоминаю. Его втолкнули к нам в камеру среди ночи. Вошёл он, огляделся и — не пошёл дальше, тут же привалился к стене. Не держали его ноги. Был он болезненно худ и трупно бледен. Одет был во всё белое. Нам, в нашем быту, такая белизна не знакома. Я даже не сразу сообразил, что он попросту в белье — сорочке и подштанниках, с тесёмками, болтавшимися у босых ног.

Мы усадили его, дали хлеба и напоили. Он ел и пил, но не издал ни звука. И глаз своих на нас не поднял — всё в пол глядел.

Дали мы ему доесть и стали, конечно, расспрашивать: кто да откуда да почему вид такой странный. И стал он нам свою историю рассказывать.

Голосок у него оказался совсем ребячий, и говорил он так, словно давил его кто-то. С придыханием и длинными паузами. Трудно было слушать его. И речь понять было не просто — вперемешку русские и украинские слова, и ещё совсем нам не понятные. Но суть мы всё же уразумели.

Оказывается, прибыл он из Румынии, где состоял в молодёжной коммунистической организации. Лет ему было всего семнадцать. После какой-то демонстрации и стычки с полицией пришлось ему уйти в подполье. Год целый, часто меняя местожительство, успешно скрывался. Но в конце концов вынужден был перебраться в Бессарабию. Однако и там выследили его. Оставалось одно: бежать из родной страны. Ночью вдвоём с товарищем вышли они к Бугу — по

этой реке проходила тогда наша граница — и решили переплыть на советскую сторону. Они ещё и раздеться не успели, как за спиной послышались окрики: к ним уже приближались румынские пограничники. Так, в белье, и бросились в воду. Над головами их жужжали пули, но они плыли. Нырjali и шли вперёд. Казалось, всё обошлось благополучно, но на берег выбрался только он один, товарища рядом не оказалось. Он ещё долго звал его, ждал, думал даже вернуться. Но в этот момент к нему подошли наши пограничники.

Он бросился к ним и, забыв обо всём на свете, обнял красноармейца, как самого дорогого человека. Он обнимал его, обливаясь слезами. Теперь, казалось ему, все беды позади. Он свободен и счастлив!

В таком восторженном состоянии находился он, когда доставили его в погранпункт. Ему дали поесть, но еда не шла в горло — до того душила радость. Потом его уложили на койку и пообещали к утру добыть одежду. Так, с мечтой о зелёной фуражке с красной звёздочкой он и уснул.

А утром его, в чём он был, посадили в машину и отвезли к поезду. На нём он и прибыл, преисполненный самых светлых надежд, в наш город. Всё казалось ему прекрасным, как в волшебной сказке.

Прямо с вокзала привезли его в следственный изолятор. Судя по описанию, на Екатерининскую. И тут кончилась сказка.

Сходу, не дав опомниться, парня, ещё не убравшего с лица приветственной улыбки, стали избивать. Тех, кто бил его, он называл товарищами, но в ответ он слышал только одно: "румынский шпион".

Побои представлялись ему игрой. Он не верил, что это всерьёз! Не верил! Чекисты калечили тело, но дух его торжествовал! Ничто здесь ему не страшно. Он — свободный человек! Следователь говорил по-русски, на языке его детских мечтаний, языке свободы, языке раскрепощённого, счастливого народа!

Только одна мысль тревожила его, что за побоями последует высылка из страны. Он готов был ко всему, но только здесь, на этой земле.

Следователь требовал от него признания. Безоговорочного признания в том, что он — шпион и прибыл по заданию румынской разведки. Но всё, что ему говорилось, не пробивалось к его сознанию. Это было равносильно пистолетному

выстрелу по танковой броне. Он тоже был в броне. Мысленно пробегал он весь путь сюда, в кабинет следователя, и оставался твёрд в своей вере, как первые христиане на арене римского цирка.

Ведь он теперь свободный человек в свободной стране! Не сном же была встреча с пограничниками, их краснозвёздные фуражки, дружеские объятия, и ужин, и тёплая постель! Разве не позади всё, что он пережил там, за Бугом? Преследования, выстрелы за спиной, потеря друга? Нет, не сном всё это было! Он здесь, в благодатной стране победившего пролетариата! Разве не так?

Мы слушали его взволнованный рассказ, боясь встретиться с его вопрошающим взглядом. Боялись заглянуть в его по-детски чистые, глубоко запавшие глаза. Что могли мы сказать ему? Чем утешить?

Неделю, изо дня в день, из ночи в ночь, терзали его тело. Без передышки. Издевались всеми способами, изощрялись, как могли, но пробиться сквозь алмазную твёрдость его веры не сумели.

Многое пришлось мне увидеть здесь. Видел таких, как тот военный, что спрашивал о Сталине, видел многих, готовых к смерти ради чистоты своей совести, видел и ещё расскажу о людях, поразивших меня силою духа и титаническим мужеством, но ничего подобного этому случаю, никого, даже отдалённо похожего на сидевшего перед нами паренька, я не встречал. Он являл собой редкий феномен. Непознанное явление человеческой психики.

Этот мальчик, в измазанных кровью подштанниках, казался мне героем, идейным мучеником, но меня поражало, вызывало недоумение, как он *не понимает*, что происходит, как может не видеть, что убеждения его и вера — только мираж, трагическое заблуждение. Если бы мог он осознать это, он сдался бы без всякого сопротивления.

Открыть ему глаза было не в наших силах, хотя мы и пытались сделать это. В голове его была такая сумятица, такая дремучая наивность, такая неосведомлённость, что все наши старания разбивались об них, как льдины о быки моста в ледоход.

В нашей жизни он не понимал ничего. Учить его надо было с азов, как учат ребёнка. Мы хотели хоть как-то образумить его, и, быть может, нам удалось бы сделать это, имея мы достаточно времени. Но его не оказалось. Однажды паренька вызвали на допрос, и к нам он уже не вернулся.

Больше никто не встречал его. Мелькнула его белая фигура перед нами, как падающая звезда в ночном небе, на один лишь миг, и — всё. Но для меня миг этот растянулся на десятилетия. На всю жизнь.

Смутен его облик в моей памяти. Вижу его, как сквозь запотевшее стекло. Но не тускнеют воспоминания о том гнетущем чувстве, которое испытывал я, слушая надрывную речь этого мальчика. Душил меня стыд. Стыд за свою страну, так вероломно и безжалостно разрушившую всё святое, все идеалы и упования юного безгрешного существа.

Я страдал и за других, за тех, с которыми делил каменное ложе и тюремную похлёбку. Но эти "другие" были *свои*. Их можно было жалеть, но стыда перед ними я не испытывал — мы тут у себя, мы всё понимаем, каждый на свой лад, это всё наше. Тому, кто из другого мира и кто по ужасной случайности оказался здесь, этого не понять.

Написал я об этих чувствах своих и задумался. Над собственными словами задумался. Словно не мои они. Особенно те, где о "своих" и "прочих" говорится, которые из другого мира. А здесь всё тот же вопрос возникает. Тот, что неотступно душу мою тревожит. Ведь "свои" — это все мы, и я в том числе! Все, кого я "советикусами" называю.

Как природу нашу понять? Жили скверно. Вечно в бедности и в нужде. Обижены и обойдены во всём. В той бумаге, которую мне Меерзон подсунул, ведь чистая правда была! Как говорится, от и до. И о конституции, и о выборах, и о коллективизации, ну, всё, всё. Теперь ещё и чехарда эта кровавая, нас за решётку загнавшая. Светлого места в жизни человека советского не осталось. И что? А ничего. Всё это мы "нашим" считали, своим, родным. И если критиковали, осуждали, то, ей-богу, не знаю, даже и кого. Никогда и от кого в своём кругу не слышал я ни слова о том, кто в бедах народа повинен. Разве что анекдотик какой по кухням бродил. Да и тот беззубый. Без злобы, без ненависти. На парады праздничные выходили, вождей наших на трибуне приветствовали. Ещё деток на плечи сажали, чтоб им виднее было, чтоб лица славные разглядеть могли и имена запомнить. И всё от чистого сердца! Как это понять? Не было на вопрос такой ответа. По крайней мере, не было его тогда. Ни тогда, ни много, много позднее.

Человеку всегда свойственно верить во всё хорошее. Неоосознанно живёт в нём вера в мистическую, какую-то потустороннюю всеобщую справедливость. И, когда сваливается на него беда, он льстит себя надеждой: только бы это миновало! Не должно и не может такое повториться!

Увы! Может. И я ведь так рассуждал, пряча глаза от нашего румынского страдальца. Да и все мы были в полной уверенности, что подобное возможно только один раз.

Но всё было именно так. Снова пришёл к нам чужой, и тот же стыд, те же бессилие и гнев рвали моё сердце с такой же силой.

Между обоими случаями было большое сходство. Но и различие имелось немалое.

Различие состояло уже хотя бы в том, что речь шла не о наивном мальчике, а о зрелом, много повидавшем, большом человеке.

Он, действительно, был большим, в буквальном смысле слова. Всё у него было циклопических размеров. Мне трудно даже охарактеризовать его рост, выразить в сантиметрах. Запомнился он мне только распростёртым на полу, в самых разнообразных позах: то скрючившись, на боку, с поджатыми к животу ногами, то на спине, опирающимся на локти, то на животе, с повернутой к нам головой, как обычно лежит больной с банками или горчичниками на спине.

Отличался от всех нас этот человек не только размерами, но и необычным обликом. Казалось, видишь не само лицо, а карикатурное его изображение. Оно было совершенно асимметрично. Как у дешёвых кукол, небрежно склеенных из двух половинок. Один глаз, половина носа и рта были смещены и придавали лицу не сходящее хитроватое выражение. Ко всему ещё нос был изрядно горбат, а кожа покрыта какими-то жёлтыми пятнами. Не знаю, что это были за пятна. Может быть, просто скопища веснушек, а не то и кожное заболевание, вроде лишая.

Что и говорить, назвать его красавцем не решился бы самый бессовестный льстец. И, на беду, не пощадила природа и его нрава. Даже сделав немалую скидку на тяжесть положения, на адские мучения, не покидавшие его на всём протяжении нашего знакомства, нельзя было не разглядеть: характер у него был не лучше внешности.

Всё, что он говорил, было пронизано несдержанным раздражением, какой-то бестактностью и неуважением к окружающим его людям. Ко всем, без разбора.

Но мы всё прощали ему. Всё и все. Прощали даже меня шокировавшие еврейские интонации ломаного языка. Ломаного не потому, что приобрётён он был в черте оседлости. Этот человек, имени которого я точно не помню — не то Гринберг, не то Гринфельд был американцем. Конечно, родители его — выходцы из русской "черты", но сам он являлся подлинным гражданином Америки. Не слишком лояльным, поскольку состоял активным членом коммунистической партии.

В качестве делегата этой партии прибыл он в Советский Союз. Не сомневаюсь, что и он мечтал попасть в страну социализма. Но в своём делегатском качестве попал в застенки НКВД.

Нас такой ход событий, конечно, удивить не мог. Удивляло только упорство, стремительность и жестокость, проявленные по отношению к нему следователями. Без всякой беллетристики, без интереса к деталям от американца требовалось только одно: подпись под признанием в шпионаже. Давай подпись! Сознайся, что ты шпион! Ничего не надо рассказывать. Подпиши, и делу — конец.

То, что с ним делали, даже нельзя назвать пыткой. Его просто последовательно и планомерно уничтожали. Крушили, разрушали его большое тело. Ломали рёбра, избивали кусками кабеля и резинового шланга... На допрос его вели под руки. С допроса несли на руках. Приносили и бросали на пол, сразу же у порога. Здесь он поступал в наше распоряжение, и мы, как могли, выхаживали его. Перетаскивали в удобное место, клали компрессы, обмывали, поили и... терзали его душу. Выхаживали тело и разрушали дух. Иначе мы не могли. Никто не в силах был вынести этого зрелища. Место, где лежал этот человек, стало постоянным источником беспокойства. Для всех, а для некоторых — особенно. Он был живым укором, молчаливым, безгласным укором для малодушных. Как праведника среди отпетых грешников, его нельзя было терпеть. Оставалась лишь одна возможность для обретения покоя, для умиротворения совести — совратить его.

Конечно, никто не осмелился бы вслух высказать такую недостойную мысль. Но я беру на себя смелость утверждать, что этими соображениями руководствовались многие. Часа-

ми, на все лады, увещевали они несчастного, едва приоткрывал он свои отёчные глаза.

О себе скажу, что вид этого мученика был невыносим для меня просто из чувства естественной жалости. Не мог я спокойно существовать, есть, пить, болтать о всяких пустяках, когда рядом, в смертных муках, погибал человек, не мог слышать сдавленные стоны, булькающее, с присвистом, дыхание и хриплый голос умирающего! Он распространял вокруг себя могильный ужас, сковывавший смертной тоской всё население камеры. Но нечеловеческие страдания никак не влияли на его убеждения. Он твёрдо оставался на занятой позиции. Ничто не изменилось в нём. И скверный характер тоже.

— Что вы от меня хотите, что вы уговариваете? Вы хотите, чтобы я подписал? Но я не есть шпиён! Я есть коммунист! — с раздражением, шёпотом отвечал он на все уговоры. — Вы, што, не можете понимать? У меня в Детройте брат коммунист и мой отец тоже. Что они будут думать? Что будут думать они и май френдс, если узнают, что я шпиён? Не надо болтать языка, если вы не можете понимать.

Он со стоном отворачивался и закрывал глаза. И это повторялось каждый день. И таял он с каждым днём. Казалось, что жизнь едва теплится в его изломанном теле. Но это только казалось. Когда кто-то снова принимался за него со своими советами, американец обрывал его на полуслове:

— Оставляйте меня. Я не хочу слышать, — хрипел он, делая минутные интервалы между словами. — Меня убьют? А что я могу делать? Подписать я не могу. Я есть коммунист. Я не есть шпион.

Как-то сидел я у его изголовья, прикладывая ко лбу холодный компресс. Он лежал, закрыв глаза. Мне казалось, что он спит. Но вдруг глаза его приоткрылись и левой, ещё подчинявшейся ему рукой, он притянул мою голову.

— Ты тоже думаешь, что мне надо подписать?

Я не знал, что ему ответить. На такой вопрос мог ответить только он сам. И я молчал.

— Почему не отвечаешь? Ты бы подписал?

На такой вопрос я мог ответить. И вполне честно, не кривя душой.

— Наверное, подписал бы, — сказал я. — Не потому, что считаю это правильным. Просто не выдержал бы. Не всякий так может, как вы. Я бы не смог.

Он снова закрыл глаза и долго молчал.

— Ты правильно сказал. Если можно выдержать, почему надо подписывать? Я должен выдержать. Мне подписывать нельзя. Я есть коммунист, а не шпиён. Мой брат и май френдс должны знать. Я не могу их обманывать.

Он тоже не вернулся с допроса. Чем он кончил, предположить было нетрудно. Одно было для меня несомненно. Он ничего не подписал. Умер, но не подписал.

Вряд ли есть теперь в живых кто-нибудь из знавших этого человека. Как-никак — пять десятков лет! Да и война... Но я ещё есть. И есть ещё те, кому я успел, по свежей памяти, рассказать о нём. А значит, что-то оставил после себя Гринберг или Гринфельд. Американский коммунист.

Тысячелетиями кочует, от поколения к поколению, слава героев древнего мира. Но о непостижимой мощи духа этого человека узнали лишь единицы. А разве идёт этот человек в сравнение хоть с кем-нибудь из героев древности? Кого из древних можно поставить рядом с этим безвестным евреем из Детройта? Никого! А я даже имени его верно не назову. И никто не назовёт, как ни больно это сознавать.

ГЛАВА 24.

ГЕРОЙ ТОГО ВРЕМЕНИ.

Не запомнил я имени американца. Порой мне кажется, что вовсе не Гринберг он и не Гринфельд, а Бромберг. Ничего уж тут не поделаешь.

Зато имя художника, личность которого не безынтересна, хотя в совершенно ином плане, я запомнил. Впрочем, имя тоже забыл. Помню фамилию, и тут уж точно. Маренков была его фамилия. Ещё помню, что был он харьковчанином. А вот дела его не знаю и, кажется, не знал и тогда. Обратил я на него внимание потому, что очень уж своим видом отличался от типично камерного жителя. Был он немолод, лицо имел крестьянское и, судя по его цвету, носа особенно, в трезвенниках не числился. Но в нём было что-то значительное. Будь это теперь, я сказал бы, что похож он на Жана Габена. Но Габена я тогда ещё не знал.

И всё же первое, что бросалось в глаза, была его одежда. Странно было видеть пожилого человека глубоко штатской профессии в солдатской шинели и будёновке. Как выяснилось позднее, одели его так уже здесь, в тюрьме. Но и в

этом случае всё представлялось более, чем странным. Почему возникла такая необходимость? В каком виде попал он сюда и при каких обстоятельствах был арестован, оставалось совершенно неясным. Что-то, помнится, он рассказывал, но так скупое и невразумительно, словно и сам не знал. Разве что пьяным был взят в чужом доме, хоть и там должен он был какую-то одежду иметь. Короче, не знал я ничего. Другого ответа не имею.

Несмотря на все странности, с первых слов становилось ясно: Маренков — человек образованный и интеллигентный. Речь его была неизменно ровной и спокойной, а голос — тихий и какой-то уютный. Так звучит речь стариков, сидящих на завалинке в летний вечер.

Мне трудно даже объяснить, как возникла наша дружба. Никаких, казалось, не было к ней причин. Но сблизились мы сразу и основательно. Просто возникла обоюдная симпатия, та, что не имеет и не требует объяснения.

Поскольку о деле своём Маренков не распространялся, я с расспросами не лез. И, как допросы проходили, тоже не скажу. Но следов на теле они, по крайней мере, не оставляли. Уж это бы я увидел! Да и в камеру он возвращался, не претерпев никаких изменений. Ни в поведении, ни в настроении. И речь оставалась такой же дедовски уютной.

Сказать, что был он необщителен, было бы неверно. Лицо его было неизменно приветливо и готово к улыбке. Но при всём том, кроме меня, он ни с кем не общался. Спросят — ответит. Любезно ответит, с улыбкой. Но в разговоры не вступал. Вы, мол, хорошие люди, но каждый из нас — сам по себе.

Большую часть времени Маренков проводил сидя. Обопрётся спиной о стену, обхватит руками одно колено и покачивается, словно такты музыки в уме перебирает. А глаза неподвижны, сосредоточенны. И если лежал, то тоже всегда с открытыми глазами, и такими же задумчивыми.

О чём он думал, какие мысли занимали его, не знал я до того самого дня, который многое мне в нём открыл. Быть может, даже и всё.

Хорошим был тот день, поскольку мы уже точно знали: сегодня будет у нас лавочка.

Маренков был, пожалуй, единственным среди нас, не имевший никакого имущества. Если уподобить наше общество крестьянскому и соответственно разделить его, как принято, на кулаков, середняков и бедняков, то ему не на-

шлось бы места ни в одной из этих прослоек. Он был полностью деклассирован. Люмпен. Нищий. И того ниже. Нищему положено иметь хотя бы суму, а Маренков и этого не имел.

Родственников он тоже или не имел, или никакой связи с ними не сохранил. Так что, переводов не получал и счета в тюремном банке не открывал. А значит, и при аресте не нашлось у него ни гроша. В общем, кругом был наг и бос, как наш предок в саду Эдемском.

До этого дня лавочкой он никогда не интересовался. И не только по причине своей бедности. Просто он ни в чём не нуждался. Во всяком случае, в том, что можно было приобрести за деньги. И никогда ни на что не жаловался. Если угощали, курил, но чтобы просить — никогда.

Свой паёк, который, кстати, получал с полным равнодушием, не взглянув, держал в кармане шинели. Сахар, правда, завязывал в носовой платок. Про платок я по привычке. Никакой это был не платок. Просто грязная тряпица, неведь откуда им взятая.

И, вот, такой человек обращается ко мне с весьма странной просьбой: не жалко ли мне истратить на него несколько рублей? Я не стал спрашивать, на что нужно их истратить. Рублей мне было не жаль. Но буду честен. Что-то и где-то меня цапнуло. Шевельнулась с голодухи жадность. Ведь всё нам в строго ограниченном количестве давалось. Конечно, попытаться выбить для безлошадного лишнюю буханку можно. Но было это дело рискованным. Бывало, что и по одной не всем доставалось. Но я стиснул сердце и решил твёрдо: выбью для него кирпич!

Уж не знаю, чем я себя выдал, только Маренков колебания мои уловил и тотчас заверил меня, что в нормированных продуктах не нуждается. Нужно ему только мыло, причём, желательно высшего сорта.

Я, конечно, был крайне удивлён, но на душе полегчало. Всегда приятно оказать ближнему услугу. Особенно если тебе это ничего не стоит. А дело обстояло именно так, поскольку деньгами я не дорожил. Я вообще скупостью не страдаю. Есть у меня недостатки. И в немалом числе. Но этого нет.

Совестно было мне спрашивать, на что ему такое мыло. Нужно, наверно, раз просит. А мыло, надо сказать, давали в лавочке без всяких ограничений. Хоть пуд бери! И какое мыло! До чего приятно было среди сплошного уродства ка-

мерной обстановки видеть и даже держать в руках эти великолепные произведения парфюмерного искусства! Они, словно экзотические цветы, украшали безрадостное наше жильё! Особенно хороши были куски "Ронд", круглой и овальной формы, цвета сирени и слоновой кости, блестящие и ароматные.

Щедрость тюремщиков в "мыльном" вопросе, как говорили опытные люди, объяснялась отнюдь не желанием порадовать нас. Выручка от ненормированных товаров каким-то образом шла на пользу продавцам. Бывало даже, "оптовым" покупателям подбрасывали в виде поощрения лишнюю хлебину или пакет маргарина.

На мой вопрос, сколько нужно мыла и для какой надобности, Маренков ответил уклончиво. Понял я только, что желательно побольше.

Я не счёл возможным продолжать расспросы. Всё боялся, что буду заподозрен в скупости.

Короче, купил я ему шесть кусков. Тех самых. Овальных. Взял поровну кремовых и лиловых. Что цвет не имел для него значения, я понял уже потом.

Маренков церемонно, хотя и сдержанно, поблагодарил меня, но нетрудно было заметить, что он очень и очень доволен.

Отдал я моему художнику мыло и как-то позабыл о нём. Уж больно суматошный выдался день. Лавочные дни всегда напоминали мне воскресные гулянья в Купеческом или ярмарку. Шатался весь наш народ по камере, хмельной от радости, сытости и неимоверного количества выкуренного табака. Люди собирались группами, наперебой шутили, смеялись и угощали друг друга.

И торговля шла, как на ярмарке. Меновая, конечно. Легко велась. Все были щедры, добры и беспечны. В общем, не до Маренкова мне было в этой веселой суматохе. Увиделись мы с ним только на следующий день. Я застал его на обычном месте, в классической позе восточного ремесленника. Он сидел, скрестив ноги, с низко склонённой головой, и что-то мастерил. В руках у него были кусок мыла и остро заточенная "хлебная" палочка.

Я присел рядом, но он даже не взглянул в мою сторону, до того был поглощён своим занятием. Я видел, что на мыле появлялись какие-то узоры, но, что они изображали, каков был их смысл, уловить не мог.

Наконец, он разогнул спину, выпростал руки и повернул ко мне лицо.

— До того, как я сюда попал, — заговорил он, снова уставясь на свою работу, — была у меня такая задумка — сделать альбом украинского орнамента. Задумал подарок сделать Иосифу Виссарионовичу. — Это имя он произнёс торжественно и благоговейно. — Так уж вышло, что я товарищу Сталину сюрприз готовил, а *они* мне сюрприз преподнесли. Вот я всё и думал, как мне всё-таки замысел мой осуществить. И вот — придумал. Умудрил Господь. Теперь уж, надеюсь, получит мой подарок Иосиф Виссарионович.

Вот какой ещё мне попался враг народа! Ну кто может такое понять и объяснить? Как это получается? Валяется человек на занюханном цементе, унижен, как последний раб, тоскует по своему любимому труду и при всём том не усомнился, не разуверился, сохранил и убеждения свои, и веру.

Сейчас, конечно, я бы иными глазами смотрел на него, но тогда... к его идее я отнёсся с полным пониманием и уважением. Единственное, в чём я усомнился, так это в технической возможности решения его предприятия. Ну, понадевает он узоры. А дальше что? Таскать за собой целый сидер с мылом? Даже те шесть кусков, что уже у него есть, и то весят почти килограмм! А ведь тут только, как я понимаю, начало, одно лишь, так сказать, вступление!

Всё это я Маренкову высказал, но он от прямого ответа уклонился — есть, мол, у него на этот счёт кое-какие соображения. Со временем всё станет понятным.

И верно. Стало понятно. И очень скоро. Используя уже изрядный опыт многочисленных предшественников, Маренков применил для сохранения своих узоров хлебную массу. Ею широко пользовались при изготовлении самых различных изделий и, в первую очередь, для трубок. Готовилась такая масса из хлебного мякиша, смешанного с табачным пеплом и зубным порошком. Слабровалась смесь слюной, в которой, конечно, недостатка не было. Плевала на такое дело вся камера. Потом массу мяти часами. До абсолютной однородности. В таком виде она служила отличным слепочным материалом. Главное её достоинство состояло в способности высыхать до каменной твёрдости и не давать ни малейшей усадки. Готовое изделие покрывалось лаком. Этому научили нас персы. Натёртые чесноком поделки приобретали рояльный блеск.

И какие оказались среди нас искусники! Какие делались трубки, шахматы и даже портсигары!

Вот такую массу решил использовать и Маренков. Он делал из неё квадратные лепёшки, весьма напоминавшие печенье, что продаётся в пачках. Совершенно такие, разве что цветом отличались. Очень уж был он неаппетитным — цвет!

Вырезав на куске мыла узор, Маренков делал с него слепок, немного подправлял и высушивал.

Работал он с остервенением, не разгибая спины. От окружающего мира был отключён полностью, жил в своём маленьком мирке, как личинка под скорлупой ореха. Даже к баланде интерес потерял, так что не раз мне приходилось доставлять её прямо к рабочему его месту.

Откровенно говоря, не нравились мне Маренковские узоры. Вообще-то оценить их было не просто. На каждой галетке был представлен не весь орнамент, а лишь небольшой фрагмент замысла или даже одной только темы. Так что, судить о достоинстве работы Маренкова я не берусь. Одно для меня очевидно: этот человек был счастлив. Он имел всё. Он мог творить, у него была цель: настанет день, и Иосиф Виссарионович получит подарок, оценит труд и чувства его.

А что такой день наступит, Маренков не сомневался. Вера его была непоколебима. Не мог бы он так изнурять себя, так самоистязаться, не будь этой веры. Ничто не могло его отвлечь. Одни лишь допросы отрывали его, были досадной помехой в жизни, преисполненной радостного смысла. Не более, чем помехой. При вызове лицо его искажали не волнение и страх, а одно лишь раздражение. Зато возвращался он успокоенным и тотчас принимался за прерванную работу.

Мы все склонялись перед его одержимостью. Никто не лез к нему с расспросами. Проходили возле него чуть не на цыпочках, как мимо больного или спящего. Сам же никаких разговоров он не заводил. Всё было ему нипочём. Не нужны были ни еда, ни питьё, ни прогулка. Даже свистопляска с туалетом его не трогала. Чёрт его знает, как он был устроен!

Наделал уже Маренков галеток своих целый воз! Побледнел, осунулся и с лица спал заметно. Шутка ли! Несчастную пайку свою четырёхсотграммовую ещё и половинить! Хоть и ради самого Иосифа Виссарионовича!

Теперь и он, как все мы, таскал за собой сидерок, постукивая своими черепушками. И, как Крыловский бедняк, что сон потерял, оберегая свои сокровища, совсем лишился

покая. Всегда пребывал в состоянии неотступной тревоги. Чужло недоброе его сердце. И не зря.

Поднял нас среди ночи хорошо знакомый галдѣж. Миг, и в камере уже хозяйничают штурпаки.

— На коридор! Давай на коридор! Сидера с собой!

Ещё миг, и мы уже в коридоре. По всей его длине выстроились у стены. Перед каждым из нас — надзиратель. И сколько же их, если на каждого по одному? Целая рота! Со всей тюрьмы собрали!

— Раздевайсь! Сидера вперѣд! Давай барахло! — И пошла работа! Всѣ летит на пол: продукты, табак, всякая туалетная дребедень. Только и слышится шелест тряпья и стук. Это гремят о цемент наши сокровища. Вся нехитрая наша техника. Ловко они насобачились шмонить. Изучили все арестантские уловки. За десять минут обчистили. Ободрали, как луковицу. Всѣ придѣтся сначала начинать. Как после наводнения или пожара.

— Давай в камеру! В камеру побыстрее! В камере будете одеваться!

Хватаем свои шмотки, бредѣм в камеру. Подсчитываем убытки, горюем над потерями, радуемся удачам. Есть всё-таки и удачи. Дело своё они, конечно, знают, но и мы кой-чему научились. Соображаем. Так иной раз намудрим, что и сами не разгадаем, как и где искать. Я, например, иголки в маргарин, если был под рукой, втыкал. Чѣрта два их там найдѣшь! В общем, не одни только потери у нас.

Немудрено, что в суматохе позабыл я о Маренкове. Увидел его, когда уже буря пронеслась. Стоял он у стены, под окном. Сорочка на груди широко распахнута. На голове — будѣновка. Сразу пришла мне на ум картина — "Расстрел коммунара". Словно с него и писана была.

Я подошёл к нему и молча стал рядом. Сказать мне было нечего, потому что всё уже понял: или забрали или, хуже того, уничтожили его слепки. И, такой меня охватил страх! На гипсовом лице всего и краски, что лиловатые прожилочки. На носу особенно. И глаза закрыты. Ну, труп. Настоящий труп.

Я окликнул его, за руку взял, а он — не шелохнулся. Хотел было я уже за медициной бежать, но тут он открыл глаза. Чуть-чуть. Потом снова прикрыл их и шѣпотом, который показался мне почему-то нарочито драматическим, сказал:

— Если бы ОН только знал! Если бы ему сообщить! ОН бы не допустил. Если бы он узнал!

— Бросьте это! — гаркнул я. — Ничего страшного не произошло! Похуже тут дела творятся! "Если бы ОН узнал!" — передразнил я его. Очень мне захотелось задеть его побольнее! Клин клином вышибить. — Ничего страшного, в конце концов, не произошло. Сделаете другие, да ещё и лучше. Всё в ваших руках. Большее теряли.

Всеми силами старался я придать голосу небрежность, спокойствие, даже равнодушие. Но получилось у меня плохо. Небрежность ещё так-сяк, но спокойствия не выходило. И равнодушия тоже. Уж очень мне было страшно за него.

— И, вообще, рано ещё так убиваться. Они же не ломали, а только забрали? Может быть, и вернут?

— Не вернут. Я просил начальника коридора. Он и слушать не стал. Не вернут, — прошептал он и лёг, отвернувшись к стене.

Два дня не сводил я с Маренкова глаз. Боялся за него. Такой фанатик, Бог знает, что выкинуть может!

Внешне он был спокоен, но за работу не принимался. Плохо, значит, дело. Раз не тянет его к работе, значит, плохо. Это всё равно как с больным. Если есть не просит, значит, дело худо. А Маренков не только работать, но и есть перестал. Пайку ему принёс, потом баланду и, между прочим, его любимую, чечевичную, но он даже не взглянул на неё. Пришлось мне снова голос повысить. И, как ни странно, а подействовало. Стал он есть, спасибо ему. Мне, глядя на него, и самому кусок в горло не шёл. Ну, а раз ест, то будет уже в себя приходить. Ведь если вдуматься, то и, действительно, не так уж велика беда. Одни эмоции.

В тот же день повезли меня на допрос. Дело моё тогда ещё Меерзон вёл. Что-то, видимо, хорошее произошло у него. Был он необычайно оживлён, всё улыбался, даже пытался острить.

— Ну, будущий Эйнштейн или Дарвин — кто там у вас главный, как жизнь молодая? — встретил он меня, потирая руки.

— Какая у нас жизнь, гражданин следователь? — мрачно произнёс я.

— Да, не спорю, жизнь у тебя хреновая. Кто ж тебе виноват? Ну, а новости какие в твоей хреновой жизни? В ка- мере как? Что параша вещает?

Странно сегодня держит себя капитан. Какие могут его интересовать новости? Или неспроста это? Впрочем, вряд ли. Просто болтает на радостях. Любопытно, что же у него такое произошло? В звании повысили? По займу выиграл или сын родился?

И вдруг мелькнула у меня шальная мысль. А что если попытаться? При таком настроении должен же человек по-добреть!

— Новости у нас, если вам, гражданин следовательно, интересно, такие, что вчера был большой шмон.

— Тоже мне новость! — фыркнул капитан.

— Я ещё не кончил, гражданин следовательно, — многозначительно парировал я его выпад. — Дело в том, что у художника, который на мыле рисовал, все рисунки забрали. Вот такая новость.

— У художника, говоришь? Это не у Маренкова ли? — вскричал он, как-то хитро улыбаясь, словно ничего нового в моём сообщении для него не было. Так я улыбку его ехидную понял.

— У Маренкова, — говорю. — Вы, что, знаете его?

— Как же мне не знать? Такой же он мой пациент, как и ты. Мудочаюсь с ним, как с тобой, с художником твоим зачуханным. Так что, говоришь, забрали у него мыло?

И снова мне почудилось что-то в его усмешке. И весь наш разговор игрой показался, где я в роли дурачка выступаю. Но я, конечно, вида не подал.

Выложил я следователю всю историю. Про мыло, про галетки, про подарок товарищу Сталину. Он меня выслушал и вроде задумался. И улыбочку свою убрал.

— Ну и народ, ити вашу мать! Враг народа, контра поганая, а туда же — подарок для товарища Сталина! Ну, народ! А ты и уши развесил. Он же самый что ни на есть враг! Его байки только для таких пацанов, как ты!

— Я же, гражданин следовательно, тоже у вас врагом числюсь, — не сдержался я. — Так что мне и в такие байки можно поверить. Мы с ним на одном полу лежим и пайки одинаковые получаем.

Я думал смутить его, но с него, как с гуся вода. Он уже снова улыбался.

— Так, говоришь, забрали у него цапки? И, что же, он крепко огорчился?

— Не то слово, гражданин следователь. Убит он. Просто уничтожили человека. Вы бы распорядились, чтобы вернули. Кому они мешают? Сами же цацками их называете.

— Какой ты добренький! "Кому мешают!" Он — враг и сидит в тюрьме. Не место здесь для игрушек. Играл бы себе на воле и не лез, куда не следует. — Он даже голос повысил, будто в сердцах, но злости в словах его я не почувствовал. Нет, не злость, что-то другое у него на уме. Во всяком случае, отказа прямого я не получил. Значит, не остыло железо, можно ковать дальше.

— Вы бы всё-таки велели отдать, гражданин следователь. Ведь и в правилах такого нет. Не оружие, не запрещённый предмет. Ни зарезать, ни зарезаться ими нельзя. А для него теперь вся жизнь в них.

— Хрен с тобой! Уговорил. Скажу, чтоб отдали, если ещё есть что отдавать. Может быть, тогда мы с ним скорее договоримся...

И в этот миг словно ток пробежал между нами. Он запнулся, а я чуть не вскочил. Теперь я всё понял. И улыбку его, и вообще всю игру. Чужало моё сердце, что неспроста он вызвал меня и разговор о новостях завёл. Какую же он мне в этом спектакле роль отвёл? В посредники определил? Какая подлость! И на что он рассчитывает? Что я Маренкова уговорю? Какой, мол, следователь у него добрый и надо бы с ним поладить?

К чёрту! Хотелось мне, по совести говоря, благодетелем перед Маренковым предстать, грешен. Но уж теперь надо держать язык за зубами. Получит назад свои галетки, а там уж дело его. Пусть сам решает, как Меерзоновскую услугу оценить.

Положа руку на сердце, скажу, что только горы не сходятся. А мы горами не были. Меерзона я в виду имею. Может быть, он и сам страдал на подлой своей должности? Куда ему деваться? Какой у него выбор? Одно из двух. Либо продолжать своё грязное дело, либо к нам — на баланду и на милость своих коллег.

Фильм я как-то смотрел про шпионов. Советский. Ну, шпионы в нём, конечно, американские. Так, там их шеф проштрафившемуся подчинённому говорит "В нашей организации есть только одна форма отставки" и протягивает бедняге пистолет.

Наши шефы, конечно, выражаются не столь изящно, но и без того понятно. Не велик выбор у таких, как мой Меерзон.

На следующий день Маренкова вызвали в коридор. Необычно вызвали, без бумажки. Приоткрылась дверь, и надзиратель, сунув голову в щель, выкрикнул его фамилию. Мы сразу поняли, что не на допрос. Но держали его там долго. Наконец — явился. Вошёл в камеру и так картинно, так театралью прижимал к груди свой сидерок, что противно было смотреть. Для кого и для чего это представление?

Но вскоре я устыдился своих мыслей. Маренков сел и несколько минут молчал, как-то странно поводя глазами. И вдруг, спрятав лицо в будёновку, затрясся в рыданиях.

Что творилось в его душе? Какие чувства привели его в такое состояние? Не дано мне было его понять. И так, и этак прикидывал. Себя на его место ставил, по привычке. Но и это не помогало.

А через день после большого перерыва вызвали Маренкова на допрос. Вернулся он неожиданно скоро. Я столкнулся с ним у самых дверей, но он прошёл мимо, нарочито глядя поверх моей головы.

— Послушайте, молодой человек, — с гневной дрожью в голосе заговорил он, когда я всё же решился подойти к нему. — Я больше не желаю вас видеть. Здесь не место разыгрывать сцены, но ни видеть, ни слышать вас я не желаю. Ступайте прочь!

Нетрудно понять моё состояние. Но что у него стряслось? Какая муха его укусила? Смутно я предполагал, что связано это с допросом, но что, что именно случилось? Неужели Меерзон... Какая низость! И что мог Меерзон напเลсть ему? А Маренков тоже хорош. Это вместо благодарности! Ведь я, только я, добыл ему сидерок и вот на тебе: "Ступайте прочь!"

Нет, я должен объясниться. Не оправдаться. Нет за мной вины.

Я снова иду к Маренкову.

— Не хотите меня видеть, ваше право, — говорю, хотя он на меня ноль внимания. — Набиваться не буду. Но порядочные люди так не поступают. В чём я перед вами провинился?

— Ладно, — цедит Маренков сквозь зубы. — Мне стало известно, что вы, якобы с моего согласия пойти на уступки следователю, договорились о возвращении слепков. Я счи-

таю, что вы поступили подло и повторяю: всякие отношения между нами прерваны. И покончим с этим.

Вся кровь, какая была, мне в голову бросилась.

— Меерзон! Вам Меерзон всё это наплёл? — вскричал я. — А вас тут ещё не научили? Не знаете, что следователю верить нельзя? Вы же разумный человек! Наконец, будь даже всё так, разве я против вас дурное замышлял? За кого вы меня принимаете? Это же гнусная сплетня! Не ясно разве, что вас спровоцировали? Простите, но я о вас лучше думал! — Ужасно я распалился, уж и остановиться не мог. — К чёрту всё! Не хотите меня видеть, не увидите! — Я было уже собрался удалиться с достоинством, но две глупости ещё успел сделать.

Во-первых, бросил на прощание небрежное "обойдусь!". Так в детстве мы завершали наши ссоры. И ещё добавка такая была: "Придёт коза до воза". Так у нас было принято — под занавес уязвить противника. Про козу я Маренкову, конечно, не сказал. Одно только — "обойдусь!" вырвалось. Если бы только это, то ещё ничего. Мелкая промашка. А вторая была посерьёзнее. Сам дьявол меня за язык потянул. Только дьявол.

— Когда вам мыло понадобится, я всегда к вашим услугам. Так что, не стесняйтесь!

Ну надо же было такое сморозить! Так садануть человека — ниже пояса! До сих пор простить себе не могу.

Вот сижу, вспоминаю и чувствую, как щёки мои загораются. И уши. словно не прошли долгие годы. Так уж скверно память человеческая устроена. Чего только не было в жизни — хорошего и плохого, умного и глупого, доброго и злого, но если сделал глупость, если несправедлив был, сболтнул что-то ни к месту и опозорился, то всю жизнь помнишь. И всплывает оно время от времени. Всплывает, и с новой силой разгорается давний стыд, раскаяние и мучительное желание переиграть, изъять, взять назад необдуманное слово или недостойный поступок. Жгут эти воспоминания, словно было всё не тридцать, пятьдесят или даже шестьдесят лет назад, а вчера, сегодня, в последний час твоей жизни.

Ну зачем я про мыло? Что хотел этим доказать? Никогда мне не избавиться от него, мыла проклятого. Как вспомню о художнике и всю нашу историю, так и горю от стыда. Я и тогда места себе не находил. Всё терзал себя. А тут ещё словно божья кара за грех мой — забрали Маренкова в тот

же день из камеры. Тоже, думаю, без Меерзона не обошлось. Что-то он там мудрил. Только больше мы с Маренковым уже не встретились. Не пришлось ни повидаться, ни оправдаться перед ним.

А оправдаться после всего уже было нужно. Была за мной вина. Но не пришлось. Вот только теперь и оправдываюсь, когда пишу о нём. Всё пишу, как было. Без утайки.

ГЛАВА 25

ВАСИЛИЙ КАСТУЛИН

Наше общество было совершенно неорганизованным. Полное безвластие царило в камерах спецкорпуса. Тюремные правила не давали нам даже права на выдвижение старосты. Мы были все равны. Перед людьми и Богом.

И всё же, одна иерархическая ступенька возвышалась над уровнем безупречной социальной однородности. Даже не ступенька. Так, буторок. И занимало её всего лишь одно лицо: избираемый самым демократическим путём раздатчик. Ему была доверена раздача паяк, баланды. Он же вёл счёт картошке, отмерял сахар и разливал чай.

Но человек, как известно, слаб. Слаб и грешен. И наши раздатчики не отличались высокой моральной устойчивостью. Уровень их бескорыстия и неподкупности существенно снижался за короткий срок.

Не исключено, что грехопадение определялось совершенно иными причинами. Может быть, его и не было вовсе. Попросту несколько жадных горлопанов, коим почудилось, что их обделяют и самые лакомые картофельные ошмётки уплывают в чужие руки, поднимали бунт. А поскольку недвольных всегда и всюду хватает, то такие бунты неизменно встречали широкую поддержку.

Раздатчик объявлялся персоной нон грата, со всеми неизбежными последствиями. Столь же демократично производилось его переизбрание и возведение на должность очередного праведника.

Так оно шло и шло бы неограниченно долго, если бы не послала нам судьба — не знаю, как тот день назвать: прекрасным или злосчастливым — нового квартиранта — Василия Кастулина.

Появился он, как и все прочие. Привели ночью, впахнули в камеру и лязгнули за его спиной дверью.

Появился, как все, но повёл себя совсем не как все. Сразу, с первых шагов. Он не топтался у двери, не метался в поисках места, не суетился. Острым и пронизательным взглядом окинул он камеру, определил безошибочно самое уютное место под окном — жара к тому времени уже спала и твёрдым шагом, переступая через лежащих и даже наступая кое-кому на ноги, направился к нему.

Не берусь судить, как бы он поступил в дальнейшем. Место, им облюбованное, естественно, было занято. Но всё произошло непредвиденным образом. Его позвал к себе Борис. Мой Борис. Не просто позвал, а потеснив нас — меня с Андреем, устроил рядом с собой.

Новичок бросил на пол свою шинель — забыл я сразу сказать, что одет он был в военное, улёгся, и до утра они с Борисом о чём-то шептались.

Я его даже рассмотреть не успел как следует. Но следы трёх шпал на петлицах и голубой околышек фуражки всё же разглядел. Полковник, значит, да ещё и лётчик. Важная, видать, птица. Но откуда они с Борисом знакомы? Какие у бухгалтера с лётчиком военным дела?

Пытался я разговор их подслушать, но безуспешно. Отдельные слова ловил, а связать — не получалось.

Только утром, улучив момент, расспросил я Бориса и кое-что узнал. Кое-что. Не слишком был Борис расположен к откровенности. Впервые он со мной так. Очень мы с ним близки были.

На мой вопрос, лётчик ли наш новый сосед, он только снисходительно ухмыльнулся.

— Он такой лётчик, как ты шпион, — сказал он, и ухмылка его была теперь откровенно пренебрежительной. — *Наш* он, понятно? *Наш*, приставленный к авиационной части. Лягавый, попросту говоря. А знать... так, я всех их знаю. Денежки они у нас, в финчасти, получали.

— Но он ведь полковник? Три шпалы у него! — Борис теперь только одним косым и довольно обидным взглядом ограничился. Без слов.

Значит, и *оттуда* к нам попадают! Из святая святых! Из самой верхушки их кодла! Интересно, какие пути привели его сюда!

Что делал такой человек в воинской части, чем он там занимался, какие выполнял задания, ничего я так и не узнал. Ни от Бориса, ни от него самого. Закрыта была эта тема наглухо. Даже от меня. Я не зря это "даже" вставил, потому

что в короткое время сошлись мы с Кастулиным, как ни с кем другим. Не скажу — лучшего, но более близкого друга у меня тогда не было. Влюбились мы. Он — в меня, а я — в него. Просто-таки влюбились. Я без него, и он без меня — ни шага! Ели вместе, спали рядом, на прогулке чуть не под ручку. Ну и болтали, конечно, беспосадочно. Всё выкладывали друг другу. Он мне, а я ему. Что он мне всё, так это я с разгона. Про службу свою и дело — ни звука. И о допросах, на которые возили его частенько — ни звука. Следов на нём они не оставляли. Иначе и быть не могло. У кого бы поднялась на него рука? Не шуточное дело! Очень мне хотелось о деле его узнать. Уж оно-то, полагаю, не чета было нашим. Но так ничего и не выведал. Ткнулся я раз, другой и больше не стал. Вижу, что бесполезно. Хранит человек тайну, не может, значит, иначе. Даром что здесь валяется. А совесть при нём. И тайна тоже. Значит, говорить не о чем.

Вот этот самый человек, Василий Осипович Кастулин, один стал заправлять всеми камерными делами. Всю жизнь нашу перевернул. Форменную революцию произвёл.

И что ведь самое поразительное! Сто нас человек было, интеллигентов в большинстве, и все, ни единым словом не перечая, подчинились ему, как подчиняется полк павших духом пленных десятку вражеских конвоиров.

Будь мы уголовниками, живи мы по законам воровского мира, всё было бы понятно. Явился в камеру прославленный "пахан", тот, что среди законных самый законный!, и все знают: его власть. И все у него права.

У нас подобные законы силы не имели. Никакой власти наш народ над собой не признавал. Кроме тюремной, конечно. Кое-кого сильно уважали. Но чтобы подчиняться? И вдруг такое!

Да, силен был Василий Кастулин! А что именно таков он, каждый понимал с первого взгляда.

Пиши я не эти воспоминания, а повесть из жизни древнего Рима, или будь я художником, избравшим подобный сюжет, то образ гладиатора мне бы искать не пришлось. Он был передо мной. Всё сходилось в нём, до последней черточки.

Кастулин был невысок, но мощен и мускулист. Шею имел бычьей. Круглая голова и затылок составляли со спиной прямую линию. Лоб скалой нависал над глубокими глазами, из которых, словно орудия из бойниц, выглядывали до черноты карие, жёсткие глаза. Такими же жёсткими бы-

ли остальные черты туго обтянутого кожей лица: короткий, прямой, твёрдый нос, маленький, строгий рот и плотный, округлый подбородок. Голос — подстать. Резкий, чуть хрипловатый, чугунно-несгибаемый.

Каким виделся Кастулин другим, не знаю. Я ни с кем своими впечатлениями не делился. Но, судя по поведению жителей камеры, наши мнения совпадали. Во всяком случае, всё, что делал Кастулин, все его распоряжения, все, заведённые им, порядки и единоличные решения сопротивления не встречали. А если и встречали — ворчуны всегда находятся, то ничего изменить они не могли. Даже такие, что пытались голос повысить. Взглянет на наглеца Василий, нацелит на него свой убийственный взгляд, и — готово. А свирепствовал, распоряжался, ломал наши порядки Кастулин, как Пётр Великий — на Руси!

Ум мой тогда не выходил за пределы частных, кругозор был как у крота. Подняться до обобщения мне удалось намного позже. Лишь тогда сумел я разглядеть в бурях, взбаламутивших жизнь нашей камеры, их истинную суть.

Всё происходившее, всё, творимое Кастулиным, было насаждением до бесстыдства обнажённых советских порядков. На наших глазах и при нашем содействии создавалась миниатюрная модель тоталитарной системы. С её нравами, лицемерием, спекуляцией на высоких принципах и иезуитской изворотливостью.

Самым нелепым и гротескным было то, что Кастулин насаждал свои реформы среди людей отвергнутых, выброшенных за борт самой этой системой. Как если бы в воровской среде стали выделять честных, бесчестных, нравственных и безнравственных. Бессмыслица!

Но именно это и сделал Кастулин. Сделал так, как мог сделать только один он. С присущими ему одному твёрдостью и самоуверенностью.

Несколько дней жил он как сторонний наблюдатель. Присматривался, вживался в режим, наблюдал. Недолго наблюдал. По всему видел я, что не по душе Василию наши порядки. Но он пока молчал. Молчал и терпел. Мне было уже ясно, что готовится он к прыжку. И верно. Прыгнул. Как хищник ломает одним ударом хребет своей жертве, так одним броском сломал Кастулин главные устои нашего бытия.

Когда в очередной раз принесли бачок с баландой и мы выстроились со своими плевательницами (вместо мисок нам давали эмалированные плевательницы, но, конечно, без крышки-воронки), Кастулин вышел из очереди и направился к раздатчику. Он встал рядом с ним и, положив на его плечо гладиаторскую руку, заговорил своим хриловатым, чугунным голосом:

— Так дальше не будет. Отойди, друг, в сторонку. — Он взял из покорных рук раздатчика черпак и встал к бачку.

Если кто-то подумает, что раздатчик был хлюпиком легчайшего веса, то ошибётся. Им на ту пору был поляк Гребловский. Дитина гвардейской стати. Василий вполне под его подбородком умещался. Но замечу: ни раздатчик и никто другой не издали ни звука. Вроде ничего не случилось. Вроде так и надо, только того и ждали.

— Подходи, — скомандовал Василий. Первым у бачка стоял Андрей. Кастулин погрузил в бак своё оружие, зачерпнул с самого дна, прошёлся по лицу Андрея сверлящим взглядом и наполнил его посудину густой похлёбкой. Куски картошки так и засверкали в баландовом потоке. Единый вздох пронёсся по очереди. Словно пар из паровозного котла, вырвался дух из сотни грудей. И только!

А Василий и глазом не моргнул, лишь черпак перехватил поудобнее.

За Андреем стоял бухгалтер Чарнецкий. Коротенький, ворчливый толстячок. Недалёкий и всегда всем недовольный. До дна теперь Василий не добрался, но налил по-божески. Кое-что и бухгалтеру перепало. Не хуже, чем обычно. А может быть, и лучше. Во всяком случае, никто уже не ухал.

А третьим был Николай Петрович. Он подошёл, тяжело шаркая ногами, держа посудину двумя подрагивающими, иссушёнными руками. Лицо его ничего не выражало. Он даже не смотрел ни на бачок, ни на раздатчика. Он всегда к этой процедуре относился с полным равнодушием. И теперь лицо его было таким же отрешённым. Не изменилось оно даже, когда Василий, зачерпнув сверху, да ещё только пол черпака, выплеснул жидкость в посуду старика. И тут я не выдержал. Я отдавал себе отчёт в заведомой обречённости своего выступления. Видел всеобщую покорность. Понимал, на кого поднял руку. Но молчать я не мог и подбадривал себя, всё возвышая голос, который уже перешёл в крик.

— Что же вы делаете, Василий Осипович? Это ведь несправедливо! Мы тут все равны! К чёрту такой делёж! Или давайте всем поровну, или я отказываюсь от своей порции!

Я оглянулся, пытаюсь заручиться поддержкой товарищей, но наши взгляды не встретились. Нет, они не отвернулись, вроде даже были обращены ко мне, но нащупать их глаз я не смог.

И тут взорвался Кастулин.

— Справедливость? Что ты, шенок, понимаешь в справедливости? *Это*, по-твоему, справедливо, что мы, молодые советские люди, коммунисты, должны погибать от голода, а всякая нечисть, вроде этого попа, будет у нас изо рта кусок выдирать? Такая у тебя справедливость? А ты подумал, какие у него, который одной ногой уже там, и у тебя потребности? Поровну хочешь? Пойми, что, когда кончится этот бардак и всё пойдёт как следует, то мы будем нужны, а не попы! Короче, тебе и всем скажу! Дело так обстоит. Одних надо сохранить любой ценой, *наших* людей я в виду имею. Сохранить для народа, для партии, а всё прочее — побоку! Вот такая у нас справедливость! И хватит митинговать. Держи оружие! — закончил он и сунул в руку Гребловского черпак. — Давай, делай, как решили.

Вот она в действии, знакомая система. "Как решили". А кто решал? Нажал один, тот, кто сверху, и все промолчали. Против нет, значит, единогласно.

Сказать, что я такой уж отчаянный храбрец, я бы не посмел. И трусом выдающимся я не был. Но, услышав голос Кастулина и взглянув на его побледневшее лицо, я почувствовал, что готов поднять руки. И не я один ощутил такой унизительный зуд в руках. Это я тоже почувствовал.

Раздатчик растерянно озирается. Не поднимается у него рука на такое и послушаться Василия не может. Василий рядом. Мышцы у него забугрились, как у атлета, отрывающего от помоста многопудовую штангу, они всегда на виду — гимнастёрку Кастулин надевает редко, всегда в майке.

— Давай, работай! — покрикивает он и, взглянув на подошедшего очередного, командует.

— Набирай-ка поглубже! Видишь, кому?

Гребловский набирает черпак гуши и выливает в посуду Кодрянского, бывшего работника не то ЦК, не то Обкома, не помню точно. Знаю только, что был он большой шишкой. И, между прочим, раз к слову пришлось, он из тех, кто

больше всего о жизни своей семейной сокрушался. Ему Иуда Соломонович даже и того, что мне, не обещал.

С того дня так и пошло. При каждой раздаче рядом с бачком неизменно стоял Василий. Но раздатчик и сам был не промах. Новый порядок существенно повысил его престиж.

Всё шло по-кастулински, а если что не так, он сразу в рык:

— Кончай уравниловку! Давай, как договорились или валяй отсюда. Найдём другого.

Чёрт его знает! Так я и не разобрался, на чьей стороне правда. То, что говорил Василий, звучало убедительно. И, главное, привычно, по-большевистски. Может быть, и в самом деле не должно быть уравниловки? Ведь сам Маркс писал: "В равенстве уже заложена несправедливость!" И правда, если всем поровну, то какая же тут справедливость? У одного потребности меньше, у другого — больше, а им — поровну? Всё логично.

Ну, а с другой стороны? Как можно видеть и терпеть, когда рядом с тобой человек, на том же цементе, измученный допросами, сатанеет от голода и вместо какой ни на есть похлёбки получает воду?! Он, видите ли, не *наш* человек. А мне насыпают полную плевательницу гуши! Я — *наш*!

Логика — логикой, а с совестью как быть? Она никакой логики не признаёт! Хоть убей, не разберусь, кому и чему верить!

Что там народ ни чувствовал, а порядок, установленный Кастулиным, был принят. Первое время что-то ещё в воздухе носилось. В руки этого не возьмёшь, одним шестым чувством улавливалось. И то недолго. Наступил в сердцах покой. Худой, но всё же мир с собственной совестью.

Но за скалистым Кастулинским лбом — я-то это видел — покоя не было. Ведь не из-за баланды войну он затеял. Не в ней одной было дело, а в принципах! За новую идеологию борьбу повёл! А такая борьба не кончается на баланде.

Если, согласно этой идеологии, несправедлива уравниловка в распределении пищи, то такова она и в отношении всех прочих благ.

Почему, например, места в камере занимают по законам, действующим в преступном мире? Мы же не уголовники! Среди нас нет ни воров, ни грабителей. Как могли их звериные законы проникнуть в нашу среду? Нет, такого терпеть нельзя.

И снова Кастулин идёт в наступление. С местами дело именно так и обстояло. Незыблемый закон, введённый уголовниками в тюрьмах, гласил: новичок ложится у параша. Каждое пополнение смещало ряд и продвигало новичка в глубь камеры. Так что сразу видно, где старожилы, а где молодая поросль. Но "старички" пользовались известными привилегиями, и им всё же удавалось закрепиться на заслуженных местах. Против такого порядка никто не возражал. Никто. Кроме Кастулина.

— Слушай, народ, — сказал он однажды, приняв позу оратора и поглаживая своё скульптурное плечо. Такая у него привычка была — мышцы массировать. — Почему мы должны у всякого отребья перенимать законы? Мы же не уркаганы с вами! Что это за мода, когда такой человек, как Гороховский, главный инженер большого строительства, проходя в камеру, должен ложиться у параша? А какой-то Цариков, матёрый спекулянт, который и здесь целый сидер барахла успел на табак выменять, занимает красный угол? Нет, братцы, так дело не пойдёт!

С минуту он выжидал, хотя и не знаю, чего. На протесты вряд ли рассчитывал. Не тот был перед ним контингент, чтобы протестовать. Да и сам знал, на что шёл. Он из тех был, которые если бьют, то уже наверняка. Всё у него продумано было точно. И удар, который он нанёс, был тактически безупречен. Первой жертвой стал Цариков.

Ни одна душа, конечно, за Царикова не вступилась. Он и впрямь, как самый безжалостный ростовщик, подчинил себе полкамеры. Редкий человек не был у него в долгу. Настоящий Гобсек. Всё это Кастулин учёл. Так что, Цариков был переселён без всяких осложнений. Так же благополучно обошлись ещё две подобные акции. Но вслед за ними машина справедливости начала буксовать.

Одно дело, когда тебе картошки недодали в баланде или сунули кособокую пайку. Тут дело такое: не хочешь, не бери. А кто же не возьмёт? Другой ведь не получит? Поворчит, матюкнётся сквозь зубы, и все дела. А вот когда тебя с насиженного места, которое, к тому же, со всеми удобствами и в хорошей компании, сгоняют, тут уж никакие матюки не помогут. Вот камера и загудела, как переселяющийся пчелиный рой. Сначала гудение было невнятным и нечленораздельным. Потом стали, словно искры из костра, вырываться отдельные выкрики.

Плохое, очень плохое дело. Мне уже пришлось несколько раз видеть подобное. Ничем хорошим оно не кончалось. Не говоря уже о том, что шум мог повлечь за собой репрессии: лишение лавочки, ужесточение туалетного режима и даже заключение в карцер.

Не мог не понимать этого Кастулин. Не мог не видеть, что огонёк уже у самого взрывателя. Всё он должен был понимать и видеть. Куда труднее было понять его самого. Ведь один он был против всех! На чью поддержку мог рассчитывать? Даже мне его затея не по душе. Но ни спокойствие, ни решимость его не были поколеблены. Таким же твёрдым и упорным оставался взгляд его чёрных глаз, так же туго обтягивала кожа застывшие желваки. Нет, не отступит Василий. Лучше, конечно, было бы ему не начинать, но раз начал, то не отступит.

А камера уже не гудела, а ревела в полный голос. Странно, что за дверью было спокойно. Даже волчок не шевельнулся. Не иначе, как позасыпала наша охрана.

Что Кастулин верно оценивал ситуацию, я понял, когда на мгновение отвёл глаза. За эти считанные минуты он успел переместиться и теперь стоял спиной к стене, обеспечив себе тем самым безопасный тыл. Это не было отступлением. Он готовился к бою.

Оську некогда мучил вопрос: кто кого соборет, если схватятся кит со слоном. Передо мной такой вопрос не стоял. Если камеру считать китом, а Кастулина — слоном, то быть киту битым: так верил я в этого человека. В несокрушимость его тела и духа.

Я допускаю, что десяток человек совместными усилиями могли бы одолеть его тело. Но только тело. Ни десять, ни сто их не сломили бы его воли, не подавили бы его духа. Вот так я его воспринимал и, полагаю, в этом был не одинок. И запомнился он мне потому, что более не встречал я никого, кто даже приближался бы к Кастулину по своим силовым параметрам. И хотя то, что, казалось, Василий потерпел поражение, ничего для меня не меняет. Финал тоже был особым, невозможным ни для кого другого.

Одержжи Василий победу, никого бы она не удивила. Все приняли бы это как должное. Таким уж был этот человек — победителем по своей природе. Но он проиграл, и самым поразительным было то, что проигрыш его был триумфальным. Он выиграл своё поражение или проиграл свою победу. Уже не знаю, как будет вернее.

Между тем, события развивались стремительно. Думаю, что не обошлось без подстрекателей, до того взбесилась и озверела толпа. Но Кастулин вместо того, чтобы теснее прижаться к стене и приготовиться к бою, вдруг оторвался от неё и пошёл вперёд.

Я заметался в растерянности и страхе. Надо что-то делать! Сейчас свершится непоправимое! Нельзя, нельзя этого допустить! Не помня себя, я что-то кричал, кого-то хватал за руки, но легче было на бегу сдерживать буйвола, чем эту осатаневшую толпу.

А Василий двигался сквозь неё, рассекая на части, как ледокол в арктическом льду. Он дошёл до середины камеры и одним движением своих мощных рук раздвинул стоявших вокруг.

— Прекратить галдёж! Заткните глотки! — взревел он так, что, казалось, задрожали железные щиты на окнах. — Мне места не нужно, мне и возле параша неплохо, для вас, дурачье, хочу...

Ему не дали договорить. Новый шквал выкриков прогремел, как взрыв.

— А нам не надо! Нам и так хорошо! Хватит командовать, Кастулин! К чертям! К чёртовой матери! Оставьте людей в покое!

Господи, как они орали, какими ненавидящими были их глаза и отверстые, перекошенные рты!

Проход, который проделал в толпе Василий, теперь был закрыт. Кастулин был полностью окружён, и позиция его была совершенно безнадёжной. Но ни его поза, ни лицо не изменились. Он стоял неподвижно, и только мышцы его угрожающе подрагивали. Гладиатор! И не рядовой, которому, кроме пронзённого мечом живота, ничего предстоящий бой не сулит. Урождённый победитель!

— Так вам не надо? Вам и так хорошо? — продолжал он, когда народ поутих на мгновение. — Какой вы, хрен, коммунисты? Говнюки вы, чёрт бы побрал вашу свору! Стадо скотов, мать вашу... — Лицо его исказилось в презрительной гримасе.

И вдруг — я даже не успел заметить, как это произошло, — он исчез из поля моего зрения. Раздался какой-то первобытный звериный вопль и вслед за ним — глухой стук. За плотно стоящими людьми я ничего не видел. Расталкивая толпу, я бросился к тому месту, где только что высилась

круглая Кастулинская голова. Мне наконец удалось пробиться, и я увидел его.

Василий стоял на коленях, охватив лицо руками, и трясся всем телом, судорожно подёргивая головой. Он издавал какие-то непонятные звуки. Не то стонал, не то рыдал.

— Истерика, — тихо сказал кто-то.

— Нет, не истерика. Падучая. Сейчас он свалится. Я такое видел, — прошептал Чарнецкий.

— Припадок, истерика, к чему болтать? Чего стоите? Чего ждёте? Воды несите! Положить его надо! Несите на его место! И укрыть надо. Вишь! Знобит беднягу. Давай, пошевеливайся!

Реплики подавались со всех сторон. Одни давали советы, другие действовали, третьи не делали ни того, ни другого, но взволнованы, встревожены, испуганы были все. Я видел вокруг опечаленные, сочувственные, жалостливые лица. Всё недавнее было забыто. Исчезли обуревавшие людей чувства: не было ни злобы, ни возмущения, ни ненависти, словно были это другие люди.

Вот оно, победное поражение! Только-только видели они в этом человеке лютого врага. Готовы были уничтожить его, отстаивая жалкие крохи своего унижительного благополучия. Но при всём том сумели оценить величие этой необыкновенной личности, воздать должное его удивительной силе и редкостному обаянию.

Тысячами граней сверкает человеческая одарённость. Тут и гениальные мыслители, и выдающиеся музыканты, и замечательные живописцы, и изобретатели. Есть и такие умельцы, что гравировут на рисовых и даже маковых зёрнах.

Ничего такого Кастулин не умел. Не создавал, не изобретал, не гравировал. Если уж попытаться втиснуть его в этот ряд, то разве что — была у него необыкновенная память. Я слышал, как много вечеров подряд, слово в слово, воспроизводил он "Американскую трагедию". От начала до конца. Насчёт конца я его вперёд, авансом выдал — не было на него времени: как и всех других, однажды вызвали Кастулина на допрос и — не вернули обратно в камеру. Но что сумел бы он — не сомневаюсь. Всё, что читал, шло без запинки. Даже — не в обиду ему будь сказано — без знаков препинания.

Но не памятью он от всех прочих смертных отличался. Силой был он наделён нечеловеческой. Такой был ему ни-

спослан дар. Гранитная воля и мощь Самсона. В одном лице соединились на диво эти два свойства.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в исключительности Кастулинской личности, расскажу ещё об одном эпизоде.

Оставляю в стороне технические детали. О них — позже. Скажу лишь, что сумели мы организовать в камере шахматы. Любителей нашлось немало, и игра шла постоянно. Не в одном, так в другом углу, всегда можно было обнаружить группку вокруг двух склонённых над "доской" голов.

Надзиратели через волчок сразу засекали это дело. Засекли, хотя и молчали до поры до времени. Но вот однажды неожиданно ввалилась в камеру вся коридорная шайка с начальником во главе. Ввалилась в *свой* недобрый час: за шахматами сидели мы с Кастулиным.

Фигурки, конечно, исчезли мгновенно. Приём этот у нас отработан до виртуозности. Но в данном случае он был бесполезен. Шахматы были, и все это знали.

— Чем занимаетесь, граждане? — елеинным голосом спросил начальник. — Развлекаетесь? Клуб здесь устроили?

Мы, конечно, стушевались. Молчим.

— Так, как, граждане, будем шмонить или без шмона обойдёмся? — уже не елеино, а сгушая голос, спрашивает начальник. — Кто играл в шахматы?

И снова в ответ одно лишь словно подпольное шарудение. Кое-кто сантиметр за сантиметром сдвигается вглубь, за чужие спины.

И в этот момент из глубины людской массы, одним плечом вперёд, пробивается Кастулин.

— Шмона не требуется, гражданин начальник, — словно приказ отдавая, рубит он. — Вас интересует, кто играл? Я играл. Какие ещё будут вопросы? — Он стоит, низко опустив голову, и так, набычившись, буравит начальника своим пронзительным взглядом.

— Интересует, чтобы заключённые знали: в тюрьме игры запрещены. Понятно? Не по-ло-же-но! — Последнее слово звучит уже на самой высокой ноте. Лицо начальника наливаются кровью. — Сами, выходит, играли? Насколько мне известно, без партнёра в шахматы не играют.

— Не знаю, что вам, гражданин начальник, известно, но я играл сам. — В отличие от начальника, Василий бледнеет, и я знаю, что это означает. Очень хорошо знаю.

Тут стало мне уже невольно. Этого я тоже никогда себе не мог простить. Вот он, тот самый случай, который доныне со стыдом вспоминаю. Одно только вину мою смягчает, что речь о Кастулине шла. Что он и что я? И всё же, почему не я был первый? Ну что меня удержало? Ведь в школе всегда же я так. Набедокурим, нахулиганим, а как спросит учитель "кто?", так первый я всегда руку тянул. А вот здесь — сдрейфил. Струсил, попросту говоря. Кастулин был первым. Как всегда и во всём. А я уже только вторым. За его спиной.

— Я играл, гражданин начальник, — выхожу я вперёд и становлюсь рядом с Василием. — Вдвоём и играли.

Ох, каким убийственным взглядом хлестнул меня Василий. Хуже оплеухи. Весь мой пыл этим взглядом остудил.

— А знаете ли вы, игроки, что за это карцер положен? Суток на трое, — с удовольствием, снова уже голосом доброго дяди, говорит начальник. Он рад. Моё вмешательство упростило задачу. Но радость его была химерной и недолгой.

— Прежде, чем нас карцером пугать, гражданин начальник, вы нам покажите, где сказано, что шахматы запрещены, — неожиданно спокойно, но настойчиво говорит Василий. — Мы тоже не лаптем щи хлебали. Кое-что понимаем в ваших делах. Так что не будем бросаться пустыми словами. Покажите инструкцию, а тогда можно и о карцере потолковать.

Есть такие избалованные дети. Чуть им что не так, они в рёв, визжат и ногами топчут. Иные даже на спину падают и ногами дрыгают. Вот так и наш начальник — после Кастулинских слов.

— Молчать! — взвизгнул он. — Я вам инструкция! Я здесь распоряжаюсь! Учить меня вздумали? Я здесь и инструкция, и закон в моей тюрьме!

Ах, начальник, начальник. Что бы тебе прежде подумать, на кого ты замахнулся? Ты, конечно, всякого насмотрелся в своём заведении, но разве мог ты всё предвидеть? Ведь таких, как Кастулин, не только ты, а и вся Лукьяновка за историю свою долгую не встречала!

А Василий уже дозрел. Дошёл до самой точки. Даже нос у него словно обмороженный — побелел, как мрамор.

— Нет, гражданин начальник, — гроыхает он, и я вижу, как дрогнула вся шайка у двери. — Не вы, а власть советская распоряжается! И мы здесь тоже к этой власти от-

ношение имеем. В карцер за шахматы? Есть, гражданин начальник! Ведите в карцер! — Он уже поостыл, и тон у него мирный. — Иду в карцер по вашему приказанию! — И он, действительно, делает шаг вперёд, подходя вплотную к начальнику. — Я пойду, но если вы за мной отправите туда и этого юнца, — он кивает в мою сторону, — то я в своё время вас найду. Не здесь и не теперь. Но уж будьте спокойны. Найду. Придёт такой час. Я надеюсь, вы меня хорошо поняли? — переходя на зловещий шёпот, скандирует Василий и делает ещё один шаг вперёд, хотя дальше уже идти некуда. Они с начальником носами столкнулись бы, кабы не выпирало так брюхо начальническое.

И всё же он делает этот шаг, Василий, и даже второй, потому что и сам начальник, и те, что с ним, уступают ему дорогу, пятясь к двери.

Голову на отрез даю. Не было и не могло быть такого, чтобы заключённый спецкорпуса так с начальством обращался. Не когда-нибудь, во времена проклятого самодержавия, не при кровавом Николке, и даже не в советское время, когда тюрьмы ещё исправдомами стыдливо называли, а в грозные Сталинские годы, тридцатые.

Последними прозвучали Кастулинские слова. Конец. Не люди уже перед ним стояли, а безгласные и робкие существа. Только и хватило их, вместе с их начальником, на то, что, чтобы неторопливо, из последних сил пытаюсь сохранить достоинство, покинуть камеру. Но спины у них были очень выразительные.

Ни о шахматах, ни о карцере никто потом не вспомнил. Будто и речи о них не было. Будто и вообще ничего не было, и их в камере тоже.

А вот Кастулин был и есть. Здесь он, идёт к своему месту как ни в чём не бывало. Подзывает меня и на шинель свою укладывается. Партию прерванную, видите ли, закончить желает. Он и расстановку всю запомнил. Благо, что эндшпиль у нас был, и фигур осталось всего ничего. И ещё заметить хочу, что проигрывал он. Вполне мог не продолжать игру, на обстоятельства сославшись. Тоже деталь, штришок. Кастулин, одним словом!

Когда я читаю или слышу слово "сверхчеловек", "супермен", я всегда Василия вспоминаю. Им он и был. Не фантазией, не выдуманым, как какой-нибудь Заратустра, а настоящим, из живой плоти и горячей крови. Потому и посвя-

тил я ему целую главу и назвал её соответственно. Так просто и назвал его именем.

ГЛАВА 26

ВТОРОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЛОДИ БОЛОТИНА

Казалось, все действия администрации, все хитрости её и приёмы уже не могли нас ни удивить, ни испугать. Но то, что произошло в тот день, не колеблясь скажу — прекрасный день!, предугадать было невозможно.

Среди бела дня приказано нам было собраться с вещами. Всем до единого. Сразу мы засуетились, но оказалось — зря. Потом уже извелись, дожидаясь. Гадаем, гипотезы, конечно, строим. Что там они задумали? Чтобы камеру менять... вроде не с чего. Дезинфекцию затеяли? Так тоже нет. Знаем, как у них это делается. А вообще-то надо плюнуть на всё и ждать.

И дождались. Дверь настежь, звучит команда, и мы вываливаемся в коридор, как школьники после звонка.

Мать родная, что тут делается! Нас — куча немалая, а их, штурпаков — вдвое! И начальство в полном сборе! Вот честь нам какая! Сам начальник тюрьмы пожаловал.

Выстроили нас парами, в затылок, и дали каждой паре по два телохранителя. Справа и слева. Построились и пошли. И куда пошли!

К выходу нас повели! К воротам, что на вольный свет ведут! Дорожка знакомая. И, хотя через самые ворота мы чаще в карете нашей выезжаем, но всё равно то, что до ворот, изучить успели как нельзя лучше.

Только теперь не повели нас через ворота. Чёрт знает, куда нас привели! И десятка шагов не сделали, и, словно не в тюрьме, а на псарне очутились! Страшное дело! Куда ни глянешь — пёс! И все псы рычат, хрипят, лаем захлёбываются. И хозяева у них в таком же стиле. И рожами, и статью. Не наши, тюремные. Те по сравнению с ними — тьфу! Тютю! Ни строгости, ни осанки подобающей. А эти, со своим зверьём, — ух! Волкодавы!

Дёрнули поводки, команду подали, и вытянулся весь зверинец вдоль колонны. Пошли. Были, оказывается, ещё одни ворота. Подальше от глаз наших и поменьше. Прошли мы через них, и такой вот воющей, уродливой змеей ползёт наша колонна вдоль стены. Идём невесело, жмёмся друг к дру-

гу, чтобы подальше от собачьих морд, а в душе что-то всё же техкает. Какие-то нотки радостные там звучат. Хоть и в дурной компании, а всё же вольной дорогой идём. Кустики, чахлые и забитые, но как-никак — природа! Ветер в ноздри врывается — дух захватывает, и тоже вольный. Не очень он ласков — лето-то позади, но и он в радость. И он свободой пахнет.

Кончилась стена, ещё один поворот, и перед нами снова ворота. А над воротами — вывеска. Мы все сразу — головы кверху!, но прочесть не успеваем. Гонят нас окриками и лаем собачьим подстёгивают:

— Головы! Руки! Не ворочаться!

Чёрт с ними! Не стоит связываться. От этих: с собаками, всякого можно ожидать. Так и прошли сквозь ворота, глаз не поднимая. И уж тут они народ порадовали. Нас пропустили, а сами, провожатые наши, по ту сторону остались. Вместе со своим зверинцем.

А как захлопнулись ворота и прогремели засовы, кончилась их власть. Теперь ведут нас местные, туземцы, так сказать. Им сдали нас с рук на руки. Даже дышать стало легче. Вообще новым духом повеяло. И не понять сразу, чем он от прежнего отличается. Но отличается. Факт.

Уж во всяком случае штурпаки здесь другой породы. На наших, спецкорпусовских, не похожи. Разница между ними, как, к примеру, между племенным быком и волом, что под ярмом ходит. Ручной здесь штурпак. Всё ручное: лица, и голоса, и даже походка. Словами этого не скажешь, лишь чувством одним ухватываем. А оно у нас особое. Натаскано на такие дела.

И ведёт колонну ручная команда прямо к корпусу. Пересекаем двор. Обширный и великолепно, сказочно захламлённый. Куда ни глянь, кучи всякого металлолома, горы каких-то ящиков, досок, мотков проволоки и ещё, чёрт знает, подобного, самого разного добра. Мы потрясены, как Али Баба, забравшийся в пещеру разбойников.

А за пещерой — газон. И деревья — в полный рост, чуть-чуть уже охрой осенней прихваченные. Не двор — национальный парк! А земля! Что за земля под нашими ногами! Закачаешься! Чего только на ней нет! Стекла всех размеров, проволока, куски железа, гвозди даже попадают! Ведь с этим добром, да в умелых руках не то что камеру, завод оборудовать можно!

Пялимся, шарим жадными глазами, а кто-то уже не утерпел — нырнул и вынырнул с добычей. Мы даже головы в плечи втянули. Ждём. Раз совершенно преступление, должно быть и наказание.

И ждём напрасно. Нет наказания. Телохранители наши — тютю местные — ни-ни! Не поймёшь, видят — не видят или за грех не считают? А может быть, связываться не хотят? Или такая у них повадка лисья, что на ус мотают и своего часа ждут?

Но оказался народ наш рисковым. Теперь уже ныряют один за другим.

Нет, не могут они не видеть, штурпачки. Всё видят, но терпят. Воспитанный народ.

Дверь в корпус гостеприимно отворена, только что нет на ней — "Добро пожаловать!", а всё прочее — в лучшем виде. Поднимаемся на этаж, идём по коридору. Коридор — обыкновенный. В нашем корпусе — не лучше и не хуже. Такой же. И всё же... такой, да не совсем. Что до стен и пола, то тут разницы не видно. Но вот таких, празднотающихся, что в гражданской одежде повсюду шныряют, у нас не увидишь. Настоящего порядка здесь явно нет.

А эти... "вольноопределяющиеся" разглядывают нас, как каких-нибудь папуасов. Куда же мы всё-таки попали?

Но вот путь наш окончен. Стоим у двери нашего дома. Надзиратель долго возится с замком.

Мы переступаем порог. Камера — огромная и необыкновенно светлая, хотя лампа не включена. Не сразу соображаем, что свет — самым примитивным образом — льётся из окон! Дневной, вольный, небесный свет! Никаких козырьков!

Кроме того, что площадь — большая, камера ещё и двухэтажная. Вокруг, подковкой, у стен, встроены нары! Деревянные и с таким же полом на нижнем этаже. А на нарах — матрасы!

— Что-то здесь, братцы, не так, — с сомнением изрекает Болотин и покашливает. — Ошибка какая-то. Не по нас хоромы. Разве что временно, пока не подберут такие, какие нашему званию положены.

Похоже, прав Володя. Ничем мы такую милость не заслужили. С цемента да на матрас! И окна, и двор, и деревья!

Стоим, осматриваемся, прикидываем, где и как будем гнёзда вить. И тут из-под нар, как чёртик из коробочки, возникает совершенно чужеродная фигура. Сухонький, тонкий

паренёк, в пиджаке на голом теле. Густо татуированная белая грудь — нараспашку. Он настороженно поглядывает вокруг, как зверёк, высунувший мордочку из норки. Но на его скуластом лице уже вызрела нагловатая улыбочка.

— Ого-го! Прибыло нашего полку! С новосельем компанией! Я уже заждался!

Мы смотрим на парня с недоумением, словно он из другого мира. Впрочем, мы не так уж далеки от истины. А он, понимая наше недоумение, пускается в объяснения:

— Значит, не промахнулся я, мужики. Кое-кто мне, да и я некоторым — на хвост наступил. Не сошлись, как говорится, характерами. Вот я и решил общество сменить и, пока всё кодло на другую хазу уведут, захоронился. Часа два, как мыша, под полом тайлся. Ну, теперь уже с вами буду. Никуда теперь отсюда. Хаза эта — не хуже других. И начальник на коридоре — не такое мурло, как наверху. Их туда, — он вскинул голову на потолок, — на третий забрали! Ну, заживём теперь! — Он лихо хлопает себя по тощим ляжкам и раздражается жутковатым, хулиганским смехом.

Ну и типчик! Такой на всё способен. А уж жизнь нам укоротить — безусловно. Да что поделаешь? Как-нибудь перебьёмся. В конце концов, нас сколько, а он — сам один.

Короче, занялись мы своими новосёловскими делами: места выбираем, устраиваемся и разговоры свои ведём. А гость наш ходит туда-сюда, слушает, принимает и присматривается. Мы вроде его не замечаем, а сами каждое его движение фиксируем. Кто знает, что у такого на уме и за татуировкой, что до самого кадыка доходит.

Я тоже, честно говоря, обеспокоен был. И понимаю, что ничем он нам не опасен, а всё равно не по себе. Но, когда уже тревогу в себе преодолел, заметил я в парне какую-то перемену. Что-то такое, вижу, с ним происходит. И в лице, и даже во всей его вёрткой стати. Как меняются цвета на железе в кузнечном горне, так менялись они на его физиономии. Прямо на глазах стала физиономия красной, вслед за тем побелела, а затем — пожелтела. Лоб вспотел. Морщины на нём то сходились, то расходились, как зыбь по воде. Наконец, панический страх охватил всё его существо.

Какое-то короткое время он ещё боролся с собой, но было видно, что силы его на исходе. И вдруг парень метнулся к двери и, в два прыжка преодолев дистанцию, распластался на ней, как заблудившаяся бабочка на окне.

— Откройте, откройте, выпустите меня! — вопил он, колотя по двери всеми четырьмя конечностями. На его зов отклика не последовало, и парень совсем обезумел. — Откройте! Позовите начальника коридора! Выпустите меня! Начальника! — В голосе было такое отчаяние, словно гнались за ним волки и уже хватали его за ноги. Наконец дверь открылась.

— Чего разорался? Убивают тебя, што ли? — Надзиратель пытается зайти в камеру, но крикун, отпихнув его, бомбой вылетает в коридор.

— Там троцкисты! Меня к троцкистам посадили! — уже из-за стены доносится его истерический визг. — Пустите меня к своим! Не хочу с троцкистами! Нет такого права, чтобы человека с троцкистами сажать!

Надзиратель до того был ошеломлён, что побежал, забыв запереть дверь.

Да, не повезло парню. Крепко он просчитался. И что только у людей в головах делается? Ведь как этот подонок рассуждает! Он — человек, не просто какой-нибудь щипач или домушник, а человек, а мы — троцкисты. Не люди, значит. Он ещё и на *право* ссылается! Право на охрану своей персоны от губительного соприкосновения с нами — врагами народа!

Может быть, и не случайно, как нам показалось, не запер за собой дверь надзиратель. Не случайно потому, что, словно откликнувшись на отчаянный вопль парня, в камеру тут же вошёл начальник коридора, сопровождаемый надзирателем. Он представился самым корректным образом и сходу ошеломил нас, как в своё время прокурор, своими вопросами.

Начальник обвёл глазами помещение, осмотрел стены, потолок, пол и нас самих. Так обычно осматривает завхоз вверенный ему объект до или после ремонта.

— Ну как, устроились? — спросил он, закончив осмотр. — Не успели, вижу. Не беда, времени достаточно. Какие, граждане, будут у вас вопросы? Претензии? Пожелания?

Вот такой разговор повёл разговор новый наш начальник. Форменная комедия! Сейчас на очереди второе издание клопиной истории. Ну нет! Нас уже на мякине не проведёшь!

При всём нашем недоверии нельзя было не почувствовать, что новый начальник не чета прежним. И слова у него людские. И интонации непривычные. Давно мы таких не

слышали. "Вопросы", "пожелания" — неплохо звучит. Даже трогательно. И, всё же, лучше помалкивать. В этом вопросе у нас почти полное единство. Почти — потому что абсолютного единства нет. Опять вылезает вперёд Болотин со своей подленькой улыбочкой и похрюкиванием.

— Если позволите, гражданин начальник, есть у меня вопросы и пожелания.

— Конечно, конечно, — охотно откликается начальник и даже почти улыбается. — Давайте, не стесняйтесь!

— Значит, такой у меня будет вопрос, гражданин начальник. Если не секрет, хотелось бы знать, где мы находимся? И ещё некоторых интересует, какой для нас будет установлен режим?

Вопреки всем ожиданиям, начальника Володины вопросы не смутили.

— Находитесь вы в ИТК, иначе говоря, в исправительно-трудовой колонии, — охотно отвечает начальник. — А режим у вас будет обычный. Такой, как у всех. Никаких привилегий для вас не предусмотрено.

У нас глаза на лоб полезли. Что он такое говорит? "Привилегии!" Это же обалдеть можно! "Никаких привилегий!" Шутит он, что ли? И о каком "общем" режиме идёт речь? С кем он общий? Ну, чудеса! Даже Володя и тот растерялся. Но не похоже, чтобы начальник шутил. Улыбку свою хиленькую и ту убрал. Значит, всё без дураков.

— Мы никаких привилегий и не просим, — успокаивает Володя начальника. — Общий так общий. Выходит, мы и работать будем, гражданин начальник? Я вас правильно понял?

— Нет, работа вам не положена, — говорит начальник, и на лицо его набегает виноватая улыбка. — Подследственные у нас не работают. Вы же, если не ошибаюсь, подследственные?

С ума он нас сведёт! "Если не ошибаюсь!" Неужели он, действительно, не знает, кто перед ним?

А Володя уже всё прокрутил в своей жуликоватой голове и прёт вперёд, как танк.

— Тогда разрешите ещё такой вопрос, гражданин начальник? Какой у вас с лавочкой порядок? Мы уже и табачок свой скурили, и всё прочее израсходовали. Мыло и порошок, между прочим. В деньгах не нуждаемся, к вашему сведенью. Деньги есть.

Ну и ловкач наш Володя! Министерская голова! Не знаю, как начальнику, а нам его намёк прозрачнее бемского стекла.

— И ещё один, последний, вопрос, как насчёт побриться? Давненько уж не брился народ. — Он проводит рукой по подбородку и щекам.

Да, такой наглости мы от Володи не ожидали. Это же надо! "Давно не брились!" Такое выдать! Мы уже забыли, как бритва выглядит! Ну, сейчас начальник его побреет! Всеу есть какие-то границы.

— Значит, граждане, так, — говорит начальник с поразительным хладнокровием. — Лавочку дадим в ближайший день. А парикмахера можно организовать хоть сегодня, раз такое дело. Есть ещё вопросы?

Нет, вопросов больше нет. Кабы не Володя, у нас бы и этих не было.

Начальник уходит, а мы, как стояли, так и стоим. Только переглядываемся. И то потихоньку.

Первым приходит в себя Володя.

— Ну, братва, теперь не дрейфь! — звучит его торжествующий голос. — Вы поняли, что происходит? Нет? Тогда слушайте все сюда! И чтоб я не дожил своих детей увидеть, если вру! Вы не знаете, и я не знаю, чего нас сюда перевели. Может быть, просто туда пополнение прибыло и место наше потребовалось. Хрен его знает. Но этого фраера, который от нас дёру давал, видели? До меня ещё тогда всё дошло. Такое, значит, дело. Здесь никто нашего брата в глаза не видел. Тут сплошь одни блатняки, а они народ привилегированный. Я так думаю, что особых инструкций для нас администрации не дали, видимо, побоялись. В спецкорпусе всё шито-крыто, а тут — другой табак. Уголовники здесь, как на воле. И сроки у них такие, что сегодня здесь, а завтра там, и уже весь Киев будет знать, что нас сюда перевели. Нет, скажете?

Володина речь была прервана на полуслове. Открылась дверь, и надзиратель, не заходя, провозглашает:

— Которые желают побриться, выходи на коридор!

Что и говорить, воспитание мы получили серьёзное. На всю жизнь зайцами нас сделали. Казалось бы, какую опасность могло таить в себе такое приглашение? Да ещё после встречи с начальником. И после Болотинской речи!

А ведь никто с места не сдвинулся. Не шевельнулся. Стоит надзиратель у двери, ждёт, даже неловко смотреть.

Зато на сей раз я уж не сплеховал — самого Болотина опередил — вырвался вперёд, и в дверь. Первым вырвался!

Выскочил в коридор и обомлел. Глаза видят, а разум не принимает. Посередине коридора столик под белой простыней. На нём всякие баночки-сткляночки и даже, как ферзь среди пешек, — фуколка с одеколоном. А рядом — стул с подголовником. И при нём — фигура в белом халате с простышкой в руках. Его голова, понятно, в стрижке не нуждается. В одном мы с ним чине. Но поза заправская.

Подхожу, сажусь в кресло, и в миг один совершился во мне переворот. Другим себя человеком почувствовал.

— Что будем делать? — не то в насмешку, не то по профессиональной привычке склоняется надо мной парикмахер. Ну и я ему, конечно, в тон. Понимаем, мол, шутки. Потери здесь понёс, но юмора, слава богу, не лишился.

— Полечку попрошу, — отвечаю. Шутить так шутить. — Пополнее, особенно на затылке. И побрить. Одеколона не употребляю.

Он, в ответ, издаёт звуки, напоминающие пороссячий визг, но очень весёлые. И мне становится весело. И вообще мне хорошо. Так, как уже давно не было.

Парень берётся за дело, и я сразу вижу, что он мастер настоящий! Всё делает быстро и ловко.

— Как прикажете насчёт усов и бороды? — Он заглядывает мне в глаза, и я с изумлением вижу, что на сей раз это не шутка.

И снова я ему в тон. Теперь уже без шуток.

— Давайте и усы, и бороду. Баки и углы рта не выбривать.

Всё по высшему разряду. Со скидкой, конечно, на класс заведения. Шипит пульверизатор, нежно, словно в поцелуе, прикасается к лицу и шее пушистый комок ваты. Летит во все стороны пудра. Ах, до чего же хорошо! Конечно, будь это *там*, я бы не разрешил даже поблизости воздух отравлять мерзким одеколоном и дешёвой пудрой. Но теперь я с наслаждением вдыхаю их удушливый аромат. Он будит во мне горестно-сладкие воспоминания.

— Готово, прошу! — мастер освобождает меня от простыни и взмахивает ею передо мной, как матадор мулетой перед быком. На этом процедура ещё не кончается. Я уже позабыл финальную сцену ритуала, но мой матадор её помнит. Перед моими глазами возникает зеркало. Не бог весть какое, но всё же зеркало. Давно мы не встречались, гражда-

нин подследственный. Вот, значит, ты какой! Что ж, узнать можно. Усы и борода — не очень: волосу отроду не более недели, но рисунок есть. И будущее тоже. Всё ещё впереди.

Вот так появилось на моём лице это украшение, которого никогда больше не коснулась бритва. Уже не одно поколение вышло с того времени. Таких, что помнят меня бритым, осталось, увы, немного. А я помню. Моя борода, как мешочек с пеплом у груди, и он порой стучит в моё сердце.

ГЛАВА 27

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ

Сдержал своё слово начальник. На следующий же день лавочка была у нас. Хорошая лавчонка. Ничем она от обыкновенной, так сказать, торговой точки не отличалась. Разве что нормой выдачи. Норма была. Но была она не только в тюрьме. Мы и на воле никогда не имели желаемого, ни нужного качества, ни достаточного количества. Так что никаких претензий у нас к лавочке не было. Всё было по-человечески. Не высыпали на пол табак, не обламывали ручек у зубных щёток, не швыряли хлеб, как подачку псам, и даже выдали нам папиросы. Поганенькие, самые плебейские — "Раскучные", в мягкой упаковке, но всё же папиросы.

Видимо, начальство не понимало, какое добро столь легкомысленно отдавало нам в руки, что мундштук и бумажная пачка знаменовали собой наступление новой эры. Как открытие огня или изобретение книгопечатания.

Мундштук возродил в нашем обществе письменность и стал связующим звеном с внешним миром. И, более того, вооружил народ новым орудием против изнурительного безделья. К шашкам, шахматам и всяческому рукоделию прибавилась карточная игра.

Мы и прежде пытались посылать сигналы в большой мир. Но способы передачи были сложны и ненадёжны. Собственно говоря, способ был один. На платке, лоскутке, тряпичке вышивали короткие тексты. Например, "Я — ямярек — Нахожусь в Лукьяновке. Дело закончено. Жду приговора. Нашедшего умоляю передать по адресу..." или "Люся, мама, не ждите. Жизнь кончена. Целую всех". И такой же призыв с адресом.

Лоскутки носили при себе, пока не удавалось выбросить их по дороге на допрос. Большая часть, конечно, пропадала. Кто станет поднимать на проезжей части грязную тряпку? Но бывало, что попадали они по назначению. Находились добрые люди. Добрые и мужественные. Были и в то время такие.

Папиросный мундштук, да ещё здесь — в ИТК, вселял новые надежды. Появилась возможность перебросить листок с текстом при помощи уголовников. С ними мы встречались повсюду: в туалете, в коридорах, в бане.

Короче, папиросы были счастливым и неожиданным подарком судьбы. Дорогим и добрым подарком.

И карты, которые изготавливались нашими умельцами, тоже были желанным даром. Охотников до них оказалось больше, чем до шахмат. Я мог только порадоваться за своих товарищей. Сам я карт всю жизнь терпеть не мог.

Ах, какие карты ухитрялись создавать наши искусники — настоящие полиграфические шедевры! Какую при этом они проявляли изобретательность! Какой удивительный вкус! Неиссякаем творческий дух человеческий. Ведь из ничего создавали! Ну что такое папиросный окурок? Мусор, мразь! Есть ли что-нибудь бесполезнее его?

А в нашем, скажем "тюрьзнаке", пройдя сложный технологический путь, они обретали новый сверкающий облик.

Окурок прежде всего расправлялся и очищался. Затем несколько листов склеивались баландой. Высушенные и плотно спрессованные, они превращались в картон, звонкий, как бристоль. На него наши художники наносили рисунок.

Кисточка — дело простое. Волос хватало. С красками было посложнее. Негусто насчёт оттенков. Но и с этим справлялись, поскольку изображение было стилизовано и схематизировано предельно. Добывали краску, соскабливая побелку со стен и бордюрных линий. А вот красную получали из клопов.

Сперва пытались применить натуральную кровь, но она быстро бурела и только портила рисунок. Клопов же мы имели в избытке, и не знаю, что уж они с нашей кровью делали, но цвет свой она сохраняла навечно. Были у паразитов какие-то, на наше счастье, ферменты.

Готовую карту лакировали и — будьте любезны! Валяй, хоть в дурака, хоть в очко. Что до "верхних эшелонов", то здесь закатывались нескончаемые пульки. До рассвета дулись наши преферансисты.

Самым среди нас азартным Володя Кацнельсон был. Бывший член ЦК комсомола. Их трое у нас цековцев сидело. Володя, Саша Яковчук и третий ещё был. Не запомнил я его имени.

С Володей мы потом на воле встречались и домами дружили. Очень милая была у него семья. И жена красавица — Рая. Володя доцентом на кафедре философии был. В Умани, помнится.

Вот он и сколотил партию преферансистов, в которой ещё Гриша Гарин, Исаак Нодельман и Болотин состояли. Целые дни за картами. Только за баландой с нар спускались и то второпях.

Вот что такое папироса в хороших руках!

Что и говорить! Круто в гору пошла наша жизнь. Грех жаловаться. Повеселел народ. Зажил, как в Бетховенской песенке поётся: "Легко на сердце стало, забот как не бывало!" Какие у нас заботы? О воле никто не мечтал. Она — как сон, как мираж. Сидит, конечно, боль под сердцем, словно заноза под кожей. Пока не трогаешь, будто и нет её. А прикоснись, тронь, и схватит тебя так, что и свет не мил. Но мы старались не трогать.

Во всём прочем, давно утратив давние привычки и потребности, больших неудобств не испытывали. Говорить о делах, о следствии перестали. Такие разговоры считались бестактными, как разговоры о болезнях за Новогодним столом.

Иные теперь велись беседу. И по-иному: спокойно, оживлённо, с шуткой.

— Не умели мы, хлопцы, жить, — свесив длинные ноги, говорит Гриша Гарин с задумчивой и печальной улыбкой. Он всегда так улыбался — словно сожалел о чём-то.

А вообще-то был он человеком жизнерадостным и не без юмора. Они с Исачком Нодельманом и Болотиным вместе к нам пришли. Все были политотдельцами на железной дороге. В своё время призвала их партия транспорт налаживать. А теперь, видимо, передумала. Назад отозвала.

— Да, неправильно мы жили и вечно жаловались: того нет, этого нет, а главное — денег не хватает. Симочка моя вечно стонала. То надо, да сё, а где на всё денег набрать? Вот теперь сижу я тут и думаю: чего нам здесь недостаёт? Утром глаза продрал — получай баланду. Жратва, конечно, хреноватая. А чем плоха? Крупы в ней мало? Картошки, жира? Ну, а если всего добавить? Подбросить звёздочек,

картошки, жирку, даже лучок поджаренный, так, будете довольны?

Все вокруг энергично работают кадыками — глотают и выражают полное одобрение.

— Пойдём дальше, — продолжает Гарин. — Хлеба вам, говорите, не хватает, мала пайка? А сколько не мало? Килограмма хватит? Давай, получай! Целую буханку! Сахара мало? Бери вдвое, втрое, хоть вчетверо! Годится? Подведём черту. Имеете: баланды, хлеба и сахара — под завязку. Что вам ещё нужно для полного счастья? Ага, лавочку! Будет и лавочка. Забирай свой маргарин или даже масло. Не сто, а двести, триста граммов. Бери табака вволю да всякий там лук-чеснок. Теперь всё? Я, так, больше и придумать ничего не могу.

Минуту-другую все молчат. Думают, прикидывают. И впрямь, всё Гарин назвал. Нет, больше вроде нам ничего не нужно. Поднимается весёлый галдёж.

— Чересчур, Гарин, вы уж расщедрились! Три баланды таких, да целую буханку, да ещё масло и сахар? Обожрёмся, как пить дать, обожрёмся! Придётся, Григорий Ефимыч, тебе уже и на вторую парашу расщедриться, — гогочут все, хмелея от удовольствия.

А Гарин, вдруг посерьёзнев, останавливает веселье, поднимая руку.

— А знаете ли вы, — понизив голос, словно решил выдать тайну, говорит он, — сколько тратит государство в сутки на одного заключённого? Не знаете? А я знаю. Сидел у нас на восьмом один мужик. Сам он, не знаю кем, работал в тюрьме. Где-то возле конторы тёрся. Так он говорил, что по сорок семь копеек. Слышите? Сорок семь! Это — на всё! И на питание, и на содержание, и на оплату всего штата, включая начальство. Сорок семь! Как ни считай, а больше чем по двугривенному на нос не выходит. Ну пусть — три. Тридцать копеек на питание!

Снова короткая тишина. Все считают. Иные даже устремили глаза к потолку.

— Выходит девять целковых на месяц! — раздаются голоса. — Ну, а семья? А с семьёй как?

— Семью, конечно, тоже надо кормить. Считай, и на семью, — милостиво соглашается Гарин. — Как будем считать? Три? Четыре? Ладно, бери все шесть. Вместе с тёшей. Итого, значит, пятьдесят четыре. Если шесть! А вот ты сколько получал? — Тычет он в первого попавшегося.

— Сто восемьдесят, — смущается тот.

— А семья какая? Сколько всего кодла твоего?

— Ну, четверо. Мы с женой, дочка и теща. Четверо.

— Значит, всего тебе на прожить, кругло если, — сорок монет. — Гарин хитро шурит глаз и ухмыляется. — А ты же меня, друг сердечный, обманул! Жена-то у тебя работает!

— Да она как когда... — мнётся тот.

— Ну, а сотню всё же приносила? — не отстаёт Гарин.

— Сотню приносила. Чего уж! — Бедняга облегчённо вздыхает, словно допрашивает его фининспектор, которого он ловко провёл.

— Братцы! — паясничает Гарин, вскидывая руки. — Куда же этот баламут деньги девал? Полсотни ему — С головой, а он — две, да ещё с половиной имел! Признавайся, кубышку где зарыл?

— Верно вам, мужики, говорю. Если выйдем отсюда, жить будем, как сам Николашка — самодержец всяя великой и малой и белой и прочее. Эх, выйти бы только!

Вот такие пошли теперь разговоры! Без лишних слов скажу: с переходом в ИТК прыгнула наша жизнь вверх на два, а то и на три порядка.

Я тоже, конечно, со всеми вместе на эти порядки поднялся. Но так уж получилось, что не впрок мне пошла новая жизнь. Неотвязны и мучительны были мысли мои о родителях и о матери, в первую очередь.

Не волен человек в своих мыслях, сами по себе они рождаются. Бесконтрольно и неуправляемо. И никак они личность не характеризуют. Убеждён, что в головах у самых чистых теснятся самые грешные мысли о жене, осле и крови ближнего.

Гейне писал, что идеи, как вши, заводятся от бедности. А я на этот манер скажу: дурные мысли заводятся в мозгу, как скверные выделения в прекрасном теле.

Все эти абстрактные и, быть может, совершенно неуместные здесь рассуждения я завёл не зря. Привёл в оправдание своё. А оправдаться хочу. Перед собой.

Я очень любил свою мать. Все горести её, как свои, воспринимал. И жалел до боли душевной. И всё-таки в голову всякая скверность ползёт. Сама, помимо воли моей, как сказано, рождается.

Конечно, думаю, ей тяжело. Но при всём том она же на воле! *Свободна*. Спит в своей постели. Ест, как привыкла,

недурной обед, который по её заказу кухарка стряпает. И ванна к её услугам, и всё прочее. А я валяюсь в грязи, тупею от голода, мечтаю о куске дрянного хлеба и крупинке сахара. Ночами не сплю в страхе перед допросами. Почему, спрашивается, я должен ещё терзать себя думами о доме, о тех, кто на свободе? Разве мало выпало на мою долю?

Вот такие водятся мысли в джунглях моих извилин. Не мои это мысли. Клянусь! Извилины — мои, а мысли — нет! Но вспомнить их и теперь совестно!

Пока в спецкорпусе сидел и следователи надо мной измывались, молчала совесть. Прощал себе, сам себе грехи свои отпускал. Слишком уж тяжело было. Невозможно было воспоминаниям предаваться. Здесь же, в новом моём положении, навалилась на меня тоска со всей силой. И защититься от неё, как прежде, я уже не мог. Сносной была моя жизнь, хоть и за решёткой.

А тут, словно кара за преступления мои, перестал я получать денежные переводы. Деньги мне были не нужны. Счёт я уже имел солидный. Но переводы, регулярно поступавшие в первых числах месяца от родных, были равносильны привету, они удостоверяли, что обо мне помнят и сами здравствуют.

Особенно дорога была личная подпись на квитанции. Да и я возвращал её со своей, тем самым сообщая родным сразу и о благополучии и о месте пребывания.

И вот этой маленькой, да уж и не слишком маленькой!, радости я с переселением нашим лишился.

Первое время меня это не волновало. Считал, что отсутствие переводов — прямое следствие перемены адреса. Но тешился я этой мыслью недолго. Все мои товарищи получали свою "зарплату" с прежней регулярностью. Значит, не в адресе дело. Тут уж я встревожился не на шутку.

Моя тревога перешла в уверенность, когда в камеру стали поступать передачи. Наступило дождливое, холодное время года, и администрация разрешила передачу тёплых вещей.

Чуть не ежедневно кто-нибудь по вызову покидал камеру и возвращался объёмистым мешком и ликующей улыбкой.

Вскрытие производилось публично. А хозяин, взволнованный до судорог, любовно рассматривал каждую вещь, читал по ней ему одному понятную летопись семейной жизни. Читал, вздыхал и нередко проливал слезу.

Затем следовала примерка. Было это и весело, и грустно.

— О, моё зимнее пальто! Теперь живём! — освещался рыжей улыбкой *смертник* Алтер. Он разглаживает измятые полы, засовывает глубоко в карманы руки и охорашивается.

А мы только переглядываемся. Алтер потерял не менее половины своего тела. Пальто болтается на нём. Но мы, конечно, помалкиваем. Каждый понимает, что сам выглядит не лучше.

За короткое время передачи получили все из тех, кто могли их получить. Многие, особенно иногородние, давно потеряли связь с родными. Немало было таких, кто в вещах не нуждался. Имели полную полярную экипировку, поскольку арестованы были зимой. Тевий Израилевич был из таких. Два огромных мешка, набитых барахлом, таскал за собой.

Я же был первым среди претендентов на передачу. Самый безлошадный среди безлошадных. Будь здесь, с нами, Маренков, я бы вторым считался. Но не было Маренкова. Вот я и был первым. Только и имел, что летний костюм да туфельки модные, ну и, конечно, рубашку с трусами.

Мать, понятно, всё это знала. А передачи мне не было. И переводов тоже. Так что беспокоился я не зря. Все у меня основания были.

Советуюсь с товарищами. Не столько советуюсь, сколько жалуюсь. Какой можно тут дать совет? Спасибо хоть, что сочувствуют. Не сплю. Если к слову скажу, что и не ем, то совру. Ем, на аппетит не жалуюсь.

Ночи напролёт думаю. Чего только ни напридумывал! Самые дикие фантазии взвешивал и обсуждал сам с собой со всех сторон.

И вот одна из таких фантазий всё же приворожила меня. Там, в спецкорпусе, она показалась бы самоубийственным бредом. Но здесь, на "итековской" почве, моя идея стала набирать силу. Целые сутки маялся. Никак не решался, всё прикидывал. всю ночь глаз не сомкнул. Но к утру уже созрел. Как только мы из туалета вернулись, я — к надзирателю. Так, мол, и так, есть у меня просьба или требование — пусть уж он как хочет понимает — встретиться с начальником коридора.

Надзиратель долго рассматривает меня заспанными, мутными глазами.

— Не положено, — наконец выдавливают он. — Шо треба, ты мени скажи, а я начальнику перекажу. Не положено!

Нет, так мне не нужно. У меня план, где главное — личная встреча с начальником. Если, чёрт побери, и впрямь

есть у меня это самое обаяние, как мне говорили, то пора его в ход пускать. Только бы добраться до него, начальника!..

А это-то именно и не выходит. Уже всех надзирателей перебрал. Надеялся слабое звено нащупать, а его нет! Все в один голос: "Не положено!" Передать — пожалуйста! Вызвать — нет! К нему свести — тоже нет! Не положено!

ГЛАВА 28

ГОЛОДОВКА

Все в камере знают о моей затее. Знают и не одобряют. Не то чтобы очень против были. Просто считают её пустой.

— Хреновое дело ваше, молодой человек, — пренебрежительно бросает Чарнецкий. — Вложите сотню, грош вынете. Только нервы попортите.

А Красносельский откидывает свою ассирийскую голову, изящную, несмотря что стриженую, и цедит грассируя:

— В пгегние вгегмена такие вопгосы гегшались голодовками, мой милый. Можете и вы попггбовать, свои силы и хагактер испытать.

Все вокруг, конечно, смеются. Уж Красносельский скажет! Придёт же такое в голову! Голодовка! Это в наше-то время!

Все веселятся, а я стою, как жена Лота. Остолбенел, окаменел. Вот он, выход! Голодовка! Для Красносельского — шутка. Красное словцо. Бросил его и уже забыл. Но я-то не забыл. Вот только техники этого дела не знаю. Как её, голодовку, объявляют? Не просто же вдруг перестают есть?! Надо, чтобы узнали о ней официально. Есть же какие-то правила!

Придётся потревожить господина Красносельского. Я его мысленно всегда так величаю. Ведь и стрижен, и не брит, и зелен, как все мы, арестантской зелёностью, а всё равно смотрелся как граф или князь. Белой кости и голубой крови. Даром что еврей. И кровь у него соответствующая. Жаль, имя плохо помню. Но имя тоже правильное. Не то Ефим Давыдович, не то, наоборот, — Давыд Ефимович. Неважно. И так всё ясно.

А голову я его ассирийской назвал, потому что в воображении своём приделывал ему этакую ветхозаветную бороду. Очень бы она ему подошла к длинному лицу. И был бы

он точно как какой-нибудь Навуходоносор или Сарданопал с ассирийской фрески. Но бог с ней, с его бородой.

Честно говоря, шёл я к нему с сомнением. Сболтнуть красиво, на это он мастер. А знает ли дело? Оказывается — знает! Так всё выложил, словно только тем и занимался, что голодал. Не зря я к нему явился. Таких бы дров мог наломать! Но теперь я в курсе дела. Всю, так сказать, технологию усвоил и решение принял: утром сразу и начинаю. Сегодня ещё заряжусь как следует, благо, есть чем после лавочки, и — с Богом!

Сразу же и за дело берусь: готовлю кучу бутербродов — с маргарином, чесноком, сахаром. Когда я с ними расправился и ещё поверх кружку воды влил в себя, то о голодовке вспоминал с удовольствием.

Точно следуя указаниями Красносельского, утром разворачиваю свою акцию. Надзирателю передают хлебную пайку, коробок с сахаром и миску баланды. Раздатчик ставит его в известность, что заключённым объявлена голодовка, и он требует бумагу с карандашом.

Станным образом, надзиратель всё принимает с полным равнодушием, словно голодовка здесь — самое обычное дело. Мне, в конце концов, всё равно. Если дадут бумагу, значит, пошло дело как следует. Ну, а не дадут, так на то и голодовка! Буду голодать до победы. Меня не пост пугает. Ждать не могу. Терпение у меня, как у бульдога хвост. Одна видимость. Такой уж темперамент. Мне подай сейчас! Немедленно!

Но фортуна милостива ко мне. Никто в камере не ожидал такого. Люди ещё над баландой трудятся, а надзиратель уже снова здесь.

В моих руках рыжий лист обёрточной бумаги и карандашный огрызок. Выходит, одержана первая победа! И одержана без всяких потерь! Самые лютые скептики и те заколебались. А у некоторых появилось такое выражение в глазах, что я забеспокоился. Прецедент ведь! Что если все, кому не лень, начнут голодовки объявлять? Чёрт знает, что может получиться!

Сажусь писать. Только пристроился, а вокруг уже толчея. Всем интересно взглянуть на человека за давно не виданным занятием. Ну и всегда есть любители давать советы. Такая уж у людей потребность. А я в них не нуждаюсь.

Но совершенно неожиданно пользу я от непрошенных советчиков всё-таки извлекаю. Очень мне помогло одно, мимо-

ходом брошенное слово. А бросил его глуховатый дед Ерёмин. Говорили о нём, что был он в молодости ярым анархистом. Даже будто бы к самому Бакунину на поклон ездил. Дед долго прислушивался, заломив свои уши и ворочая головой, пока наконец не уловил суть дела. Тут его и потянуло на совет.

— Уж голодать, так смертельно. Чтобы и без воды. Оно вернее! — изрекает он своим затхлым скрипучим голосом и шамкает беззубым ртом.

У меня даже все жилочки задрожали. Всполошили меня дедовы слова. Смертельная голодовка! Вот она-то мне и нужна! А есть ли такая? Считается ли законной? Не трепнул ли Ерёмин? Он вообще-то вредный был старик!

Оказывается, всё так и есть. И консультанты мои подтверждают. Практикуется такая голодовка, и от неё уже отмахнуться никто не посмеет. Дело не шуточное.

Теперь всё.

Берусь за карандаш. Пишу на имя начальника коридора. Я, такой-то, при переводе меня в ИТК потерял связь с семьёй. Полагаю, что родителям местонахождение моё неизвестно. По этой, видимо, причине я лишён денежной помощи и, что самое важное, не могу получить тёплой одежды. Будучи арестован летом, одет очень легко и на прогулки мне выходить не в чем. В связи с изложенным требую, чтобы мне была предоставлена возможность связаться с родными, что может быть сделано по почте или телефону.

Вот такое я изготовил послание. Насчёт прогулки меня Красносельский настропалил. На неё есть законное право, и они обязаны обеспечить его выполнение.

В конце я написал, что объявляю смертельную голодовку и с сегодняшнего дня — 15 ноября 1938 года — отказываюсь от еды и питья до удовлетворения моих требований. Написал, подписал и вручил.

Дух мой "стоял" высоко. Так высоко, что, пропустив утреннюю баланду, я испытывал больше гордости, чем голода. Очень я собой гордился. Личность моя теперь была в центре всеобщего внимания. Ничего ещё не совершив, я уже ощущал аромат славы, витавшей над моим ложем. Господи, каким же я был мальчишкой!

Второй раз выставлена баланда. День подходил к концу. А коридор молчал. Не испугались, значит. А я-то на Вселенский хай надеялся. Но хая никакого нет. Даже самого обыкновенного.

Когда мне приходилось слышать или читать о голодовках, которые люди держат по несколько недель, я всегда восхищался их мужеством и стойкостью. Восхищался, но не понимал. Как могут они это вынести? Какие нечеловеческие надо иметь силы, чтобы так себя истязать?

Мой личный опыт скромнен. Более, чем скромнен. И, всё же, я теперь знаю: можно вынести. Всё можно, если знаешь, ради чего, если твёрд в стремлении добиться цели! Это своего рода особая, возвышенная форма упрямства. Упрямство — не добродетель, но сила в нём заложена немалая.

На третьи сутки моей голодовки я был так же твёрд и бодр, как в день её объявления.

Я, конечно, испытывал голод, но странным образом именно он поддерживал мой дух. Были часы, когда голод отступал. Не знаю, каков механизм этих физиологических пауз, но они вызывали у меня тревогу. Какую-то парадоксальную психологическую реакцию. И в этой реакции была известная логика. Я выдвинул требования, которые должен оплатить муками голода. И пока муки налицо, сделка совершается честно. Голода нет, я — банкрот. Без него нет у меня права требовать, моя кредитоспособность утрачена.

Я не уверен, что сумел точно выразить тогдашние свои чувства. Но в общих чертах, помнится, всё было именно так.

Что касается жажды, то появилась она много позже и особенных страданий — на первых порах — не причиняла. Терпеть можно.

А Красносельский меня удивил. Наведывался ко мне часто, держал себя, как подобает крёстному. По-хозяйски. И всё подбивал согрешить.

— Натё, ешьте, — шепчет он и сует мне в руку кусок рафинада. — Ешьте! Чего вы в благородство играете! Со сволочами дело имеете. Ешьте! Вам силы надо сохранить. Они ещё вам очень понадобятся.

Не будь он Красносельским, я просто послал бы его ко всем чертям и даже дальше. Но с ним я так не мог.

Взял я у него сахар. Не посмел не взять. Но есть не стал. Не по мне это. Пусть они там и сволочи. Так это же они! Я-то с какой стати должен совесть свою мать?

Пока смогу, буду голодать. Не потяну — всё! Брошу свою затею и буду есть в открытую.

Когда на четвёртый день меня вызвали в коридор, я вскочил и, не останови меня Красносельский — он рядом

случайно оказался, побежал бы вприпрыжку. Очень я вызову обрадовался.

— Лежите, лежите, чёрт подери! — зашипел он с непонятым озлоблением, вцепившись в моё плечо. — Голодающие не ходят, лежать им положено! Лежать! Не может голодающий идти, сильно ослаб! — кричит он надзирателю, хотя он-то вполне может подойти к двери и не орать на всю камеру. Мне даже совестно людям в глаза смотреть. Подумаешь, ослаб! А Красносельский не успокоился. — Пусть, гражданин надзиратель, кому нужно, потрудится сюда пройти.

Да ну его, для чего ему эта комедия? Начальник ведь тоже может свой гонор иметь. Плунет и не придёт. В конце концов это же мне нужно!

Я встаю и, изо всех сил стараясь походить на умирающего, бреду к двери.

Начальник уже ждёт меня. Я продолжаю свою игру. Сразу же прислоняюсь к стене и молча смотрю на него скорбным взглядом. Он долго рассматривает меня.

— Слушай, парень, брось дурака валять, — говорит он, помахивая моей бумагой. — Всю тюрьму взбаламутил. Ну, чего тебе надо?

Вот мучение, хоть бы голос повысил! Хоть бы съездил разок по физиономии! Всё бы мне тогда было нипочём! А если со мной по-доброму, то я сразу скисаю. Такой уж подлый у меня характер. Хорошее слово вмиг злость мою гасит. Вот ведь, враг передо мной. Если не враг, то противник, по крайней мере. С противником известно какой разговор. А я мудрствовать начинаю. В положение его вхожу. Шкуру его на себя примеряю.

И ещё, на беду мою, неплохой он, видно, дядька. Он ведь почему пришёл? Делать ему что-то надо, неприятность у него на работе вышла. Всё было тихо, спокойно. А тут какой-то болван затеял голодовку! По всему видать, здесь о таких вещах никто уже не слышал с самого пламенного семнадцатого. И чего устроил! Маму, видите ли, дитё потеряло! Маму ему подай! Наверно, так он об этом рассказывает сослуживцам, жене и, быть может, детям.

Гляжу на нас двоих со стороны, и нарастает во мне сомнение. Расплывается слабинка, как клякса чернильная на промокашке. Не дай мне Господь ещё одно доброе слово услышать!

— А что до прогулки, ты прав, — продолжает начальник. — На прогулку тебе надо. Значит, давай так мы с то-

бой. Выдам тебе шинель и фуражку. Хоть не положено, выдам, и будешь ты одет. Договорились? А это, — он подаёт мне бумагу, — брось, кончай дурить. Пожалей себя. Даром такое не проходит.

И тут начальник даёт маху. Теперь уже выходит: не я, а он просителем стал. Значит, ему моя голодовка тоже как уголёк за пазухой. Дойдёт до высокого начальства, и будет он на ковре стоять, как я сейчас перед ним. Явно промашку дал начальник. Теперь уже мой верх.

— Благодарю за заботу, гражданин начальник, — говорю я. — Мне не шинель нужна, а связь с родителями. Ищут они меня, беспокоятся. А одежду, надеюсь, свою стану носить, как только связь наладится. Пришлют мне всё, что нужно.

Он слушает, задумчиво глядя в сторону. Что-то про себя решает.

— Значит, не договорились. Сдуру ты упёрся. Тебе дело предлагают. А не хочешь, тебе виднее. Голодай на здоровье. — Он уже наладился уходить.

— Прошу доложить начальнику тюрьмы, — говорю я ему уже в спину и, боясь, что не услышит, повторяю криком: — Доложите начальнику колонии! Голодовку продолжаю!

Но начальник не оборачивается. Только подёргивает круглыми плечами. Слышит, значит.

На пятый день организм дал о себе знать. Не слишком. За горло не хватал. И потери были невелики. Я мог стоять, ходить, двигаться, говорить — да всё я мог. Как и до голодовки. Мог. Но не хотелось. Одно желание только и было: лежать. Не двигаться. Я и лежал. Ещё мушки какие-то стали перед глазами прыгать. Всё время мечутся. Хоть закрывай, хоть держи открытыми глаза. И звуки стали глухими, словно голова под подушкой или ватным одеялом закутана. Но меня это не пугало. Напротив. Я, как тот Аверченковский мальчик, который мечтал опухнуть от голода назло матери.

Прошёл и этот день. Никто мной не интересовался. И тут появилась жажда. Когда впервые зашла речь о смертельной голодовке, все камерные знатоки утверждали: без воды человек может прожить только четыре дня. Чепуха! Шестой уже пошёл, а ничего со мной не случилось. Жажда была лютая. Горело у меня внутри. От губ до самого пупа всё одубело. Но подобное бывало и после крепкой выпивки. И ещё на длинной дороге, когда в знойный день с рыбалки возвра-

шался. Тоже в таком же роде. Ну, не совсем так, но очень близко. Опять же, раз надо, можно и перетерпеть. Не в жажде главная беда. Мысли дрянные стали одолевать. Нет, о сдаче я не помышлял! Боже сохрани! Но если прежде на все лады я упивался предстоящей победой, то теперь в голове царило одно лишь смятение. Веры я ещё не утратил, но её было мало, а сомнений — невпроворот.

Самым опасным было чувство, возникшее тогда, в коридоре, когда я перед начальником стоял. Уже там хотелось мне всё со стороны на дело взглянуть. Оценить его в смысле справедливости. Правоты и неправоты. Сто раз прокручивал в голове наш разговор и слова начальника. Так миролюбиво, по-дружески они звучали: "Брось, парень, валять дурака!" "Валять дурака"... Не мог никак отвертеться от этих слов. Как от привязавшейся мелодии. Вертятся и вертятся, звенят в ушах. "Валять дурака". Тыфу, проклятие какое-то.

А может, и в самом деле валяю его, дурака? Сколько вокруг трагедий, сколько семей и жизней разрушенных! Каждый третий здесь кого-то потерял. Что они все знают о жёнах своих, о детях? И никто голодовок не объявляет. Несут свой крест безропотно и без шумихи. "Брось валять дурака!" А чтоб ты пропал! Никак не отвяжешься. Но я же, гражданин начальник, не дурака валяю! Мне мать надо успокоить! Ведь она там в страхе и отчаянии мечется! Не колечко, не серёжку, сына потеряла! Можете вы это понять? А мне тут каково? Вдруг беда с ней или с отцом приключилась? Должен же я знать! Забегали же всё-таки! Небось, прибежал ко мне начальник — уговаривать?

И ещё прибежишь! Поймёшь, что не дурака валяю, если уже шесть суток глотка воды в рот не взял.

Были и такие у меня взлёты. Но были и падения. Тяжкие минуты разочарования и неверия.

А на седьмой день меня позвали.

— Который тут голодающий? — шарит глазами по лицам надзиратель. — Давай, выходи!

Красносельского рядом нет. Никто меня не удерживает. Теперь бы я мог с полным правом не подниматься. Но Бог дал мне поистине железное здоровье. Мухи передо мной порхают, но ноги держат. Чуть подрагивают, подгибаются, но несут.

Иду за надзирателем. В коридоре, как тогда, никто меня не ждёт. Я бы спросил, но на беду попался мне самый вредный. Здесь всё больше молодые парни, тихие и не злые, а

этот — иной породы. Пожилой, животастый, с угрюмой, перекривленной мордой и на самые глаза надвинутыми серыми бровями. Команды он подаёт с неприкрытой злостью, будто весь свет ненавидит. Настоящий тюремщик. Бирюк, одним словом. Он — за спиной, мне не видно его лица, но невольно ёжусь под его взглядом. Такому ничего не стоит отвести душу и долбануть меня между лопаток. Но довёл меня бирюк вполне благополучно, и я стою перед табличкой: "Начальник ИТК". Вот куда попал. В последнюю инстанцию. Самую высокую. Выше уже только сам Бог. Меня начинает бить озноб. Отчего, не пойму. Не то инстанция такая знобливая, не то седьмой день о себе заявляет. Но бьёт меня крепко.

Начальник встречает меня, сидя на столе. Я не оговорился. Восседает на столешнице в самой непринуждённой позе. Народа вокруг — полно, весь синклит тут. Рассмотреть их не могу, мухи не дают. Они теперь тучей у меня перед глазами. Но начальник, уже потому, что не в кресле, не строит из себя Господа Бога, мне нравится. На стол забраться в служебное время, да ещё в присутствии подчинённых не каждому дано.

И на меня он смотрит не как на гада ползучего. По-человечески смотрит. Даже, я бы сказал, хорошо смотрит. Милостиво и с любопытством. Теперь бы только не промахнуться. Раз принимает в такой позе, значит, не без юмора человек. А это уже полдела, и я уже знаю, как вторую половину добывать.

— Читал я вашу ксиву, — обращается он ко мне, и я с удовлетворением отмечаю: "вашу ксиву". Не "твою". На "вы", значит, пойдёт разговор. — Я понял так, что у вас нет тёплой одежды, а вам хочется погулять на свежем воздухе. Верно?

Вот те раз! Смеётся он надо мной, что ли? Но, что с юмором у начальника всё в порядке, так это точно. Правильно я его понял сразу. Но как себя с ним повести? Тон какой с таким юмористом взять? И в этот миг, когда я уже лошадку выбрал, чтобы весь, без остатка капитал на неё поставить, пошла у меня голова кругом.

Всё внезапно пришло в движение. Казалось, что все предметы стоят не на обыкновенном полу, а на плоту, болтающемся на волнах. Влетает и проваливается начальник вместе со столом. И портреты в тёмных рамках заметались, словно решили выбраться из них, как тот Гоголевский старик.

Что-то, видимо, и во мне изменилось, отразились все эти чудеса на моём лице. Потому что начальник соскакивает со стола, и я слышу далёкий его, приглушённый голос.

— Вы садитесь. Дайте ему стул! — командует он и усаживает меня, растерянно заглядывая в глаза. — Доголодался, вояка.

— Благодарю вас, гражданин начальник, — шепчу я. — Простите, седьмой день сегодня. — Я на мгновение закрываю глаза: так, всё же, легче. Вообще на стуле я почувствовал себя увереннее. Только никак не могу вспомнить, о чём у нас шёл разговор. Ага, одежда и прогулка! Начальник коридора тоже о них говорил. И этот. Далась им эта прогулка. Нет, так не пойдёт. Надо собраться с силами и начинать сначала. Всё должно решиться сейчас. От того, как скажу, многое зависит. Или сейчас или никогда. Второго седьмого дня у меня не будет.

— Гражданин начальник, — напрягая горло, чтобы подняться над шёпотом, и туго ворочая языком, говорю я. — Не нужны мне ни вещи, ни прогулка. Только бы узнать, живы ли родители. Ведь и их могли, как меня и брата... — Я нарочно не договариваю. Если он *человек*, то и поймёт и посочувствует. — Простите мою вольность, — продолжаю я, — но вижу, что человек вы добрый. Поставьте себя на моё место. Ничего незаконного я ведь не добиваюсь. Дайте мне бумагу, перо и конверт. Пообещайте, что письмо будет отправлено. Вот всё, о чём я прошу.

Начальник слушает, низко свесив голову. Лицо его делается строгим и грустным. Но я вижу, что он тронут. Призыв к его доброте не прошёл мимо. И вообще глянулся я ему. Не скажу как, но чувствую. Значит, правильно всё я рассчитал.

Начальник соскакивает со стола.

— Договорились! А с этим ТЫ кончай! — Он брезгливо швыряет мне мою "ксиву" на стол. Вот только я радовался, услышав первое в этих стенах "вы". Но теперь, когда снова прозвучало "ты", я понял: победа!

— Люди, дайте человеку открытку, — размашисто, покупечески кричит начальник. — Кныш, дай из своих. У тебя запас, я знаю, большой!

Я Кныша не вижу. Вообще уже ничего не вижу. Я как фермопильский гонец. Добежал и пал. И я почти как тот герой. Но стул не даёт мне упасть. Стоял бы, непременно грохнулся бы. А стул держит. Вцепился в него до судорог.

— Воды, дайте сюда стакан, — слышу я сквозь вату, которая, кажется, теперь повсюду вместо воздуха.

Мне подают стакан. В голове одна муть, но в этой мути ещё теплится трезвая мысль. Нельзя воду, не положено мне, голодающему. Сначала пусть дадут написать. Нельзя воду. И я стискиваю зубы. И губы. И сердце.

— Открытку, вы обещали открытку, — раздвигаю я губы. Одни только губы.

— На, бери свою открытку, дурень упрямый, — цедит сквозь зубы начальник. — Ты что, никому не веришь? — Он уже прочно перешёл на "ты".

— Следователям не верю, гражданин начальник. Мы тут научены не верить им.

— Я же не следователь!

— Вам я верю, гражданин начальник.

— Ну если веришь, то давай. Пиши.

Меня усаживают к столу, и я пишу. Всё написал. А адрес... адреса не помню, забыл! Забыл свой адрес! Не помню ни улицы, ни номера дома. Хоть проси начальника узнать в канцелярии!

Но затмение проходит. Постепенно всё становится на место. Вспомнил!

Я встаю. Не просто мне оторваться от стула. Но всё же встаю.

— Так я буду надеяться, гражданин начальник? Большое вам спасибо. Всю жизнь помнить буду. Я свободен?

Начальник ухмыляется.

— Свободен. Сейчас вызову конвой.

Бирюк выводит меня в коридор и оставляет одного. Сам он возвращается, и они долго что-то обсуждают с начальником. Почему-то мне кажется, что разговор обо мне.

Я пытался прочесть что-нибудь на его физиономии, но она была такой же перековленной, как и обычно.

— Давай, пошёл! — подталкивает он меня в спину. — Нагулялся.

Мы поднимаемся на наш этаж, к моей камере. Я останавливаюсь у двери, но за спиной снова:

— Давай, давай!

Или начальник ему какое-то указание дал? А что если заведёт сейчас к себе и там со мной *побеседует* по душам? И точно. Идём в конец коридора, где берлога штурпачья помещается.

Не раз приходилось видеть, как они там крутятся. Выходят, заходят или стоят у двери и болтают между собой. Ну нет, не выйдет на сей раз. Слава богу, здесь не спецкорпус. Такой хай подниму, какого они сроду не слышали.

Бирюк возится с замком, а меня снова качает. Только этого мне не хватало, чтобы здесь брякнуться. Но стена спасает. Навалился на неё — не оторвать.

Дверь распахнута, и я вваливаюсь в комнату. Передо мной стул, и я падаю на него со страхом. Сейчас он мне врежет. В моём положении не садятся, да ещё без команды.

За спиной щёлкает замок. Я один! Оглядываю помещение. Вот такая у них резиденция. На вешалке шинели, фуражки. Шкап стоит обшарпанный, стулья поганенькие и стол. А на столе... Вот так так... Как это понимать? Не галлюцинация ли у меня? В моём состоянии вполне возможно. Но ведь вижу ясно! Миску вижу, а в ней похлёбка, густая, и лук жареный в кружочках жира плавает. И хлеба ломоть... Ложка к нему прислонена, словно томится в ожидании.

Прислушиваюсь, а кругом — тишина. Ни шороха, ни звука. Как же быть? Кому это предназначено? Если мне, то должен он был хоть намёк, знак какой-нибудь подать. А может быть, сам он отобедать собрался, да не успел? Зачем тогда меня сюда загнал?

Смотрю на миску, изнываю, а время идёт. Даже вижу и слышу его шаг, поскольку прямо передо мной висят и отчаянно колотятся ходики с гирей и каким-то болтом в придачу на ржавой цепи.

Я больше не могу! Очень страшно мне. Много раз читать приходилось о голодающих. Еда для них — яд смертельный. Тем более если сразу и много. Но и утерпеть сил нет. Как тут удержаться? Нет, не могу. Пусть яд. Не могу.

Сажусь за стол и глотаю ложка за ложкой. Хлеб сую в карман. Пригодится. Теперь всё пригодится. А похлёбка хороша! Уж до чего же хороша! Явно домашнего изготовления. Вот и перчик и листок лавровый. Тут такое не водится.

Обо всём я успел подумать. Но только теперь, когда так уютно и тепло стало в отяжелевшем животе, вспомнил я о надзирателе.

Вот как в жизни бывает. Такой, казалось, солдафон тупой, чучело бездушное, а каким оказался! Он ведь знать не знал, что кончится моя голодовка. Просто по-человечески пожалел, свой обед отдал. Без всякого умысла, по одной лишь доброте душевной. Вот он на самом деле какой! А я

как его понимал? Штурпак, и всё. Как жестоко и несправедливо можно ошибиться в человеке! В глаза ему теперь посмотреть совестно.

Милый ты мой Бирюк! Вечный я должник твой! Не за хлеб, не за похлёбку. За *веру*, которую во мне поддержал. Всю жизнь свою верил я, что добро в человеке — главная его суть. Пусть немало на свете негодяев, подлецов, скотов, а всё равно добра больше. А значит, и жить надо, на добро человеческое опираясь. Его, добро, прежде всего в расчёт принимать надо. Спасибо, что ещё раз правоту мою подтвердил.

Очистил я миску, последние капли в ложку слил, облил её и откинулся в истоме на спинку. Стул тоже для меня подарок. Давно уже не сидел так, как положено в культурном обществе. Вот только в кабинете у начальника, но там не до того было, чтобы о том, как сидишь, думать.

Откинулся, ноги под столом вытянул. И сразу меня в сон бросило. Но тут и хозяин вернулся. Взглянул на миску, хмыкнул что-то себе под нос и стал рыться в шкафу. Хоть бы глаза на меня поднял, *хоть* бы брови свои лохматые расправил, не говоря уже о *том*, чтобы улыбнулся. Каким был, таким и остался. Бирюк бирюком. Но я молчать не могу.

— Не знаю, как вас и благодарить, гражданин надзиратель. На всю жизнь задолжал. Кто знает, может быть, когда-нибудь и рассчитаюсь. Добрый вы человек! Спасибо вам от всей души!

Надзиратель молчит. Что думает и что чувствует, понять трудно. Лицо его ничего не выражает.

— Ладно, — наконец выдавливает он, — пошли.

Вот и это выпало на мою долю. Не всем такое выпадает. Не валяется оно на дороге. И мне ведь не просто досталось.

Между прочим (и это я тоже по сей день помню и простить себе не могу), ведь встретил я его как-то, уже на свободе. Шёл, если не ошибаюсь, по Владимирской, где она с Бульваром пересекается, и вижу: идёт мой Бирюк. Такой же хмурый, такой же пузатый, словно не расставались. В первый момент хотел броситься к нему, даже обнять. И потянуло — о прошлом с ним поговорить. Но не решился. Что-то удержало меня. Сам не пойму, что. Не бросился. Пошёл за ним, глаз не сводил с него и всё обдумывал: что скажу, как скажу и что затем делать буду. А думать в таких случаях — последнее дело. Тут так: или действуй по первому велению сердца или иди своей дорогой. Так и не подошёл. Дал ему

уйти и долго потом сожалел. А больше уже не встречал. Не случилось. Обидно. Очень даже обидно. И сейчас, когда вспоминаю о нём, такое у меня чувство — словно потерял я что-то дорогое. Да так оно и есть. Потерял.

А через неделю получил я перевод со знакомой подписью. А вслед за ним и передачу. Вскрыл я мешок, ткнулся в него лицом и замер — горло перехватило, словно я к родной груди прижался. Еле слёзы удержал.

Вдохнул запах дома своего, и такая на меня боль, такая тоска навалилась, такую тесноту в груди ощутил, что впору завывать.

Значит, не зря всё было. И начальник не подвёл. На высоте оказался. Верно я его с первого взгляда оценил, — думал я с умилением.

Что никакой откритки мать не получила, что и след мой не потеряла и никакой роли все мои подвиги не сыграли, я узнал, когда оказался на свободе.

Родители уже в то время в Киеве не жили. Мать приезжала лишь в редкие дни, когда подходил её день для отправки денег. Вот она со мной и разминулась. Приехала, а я уже на новой квартире, и день у меня для перевода денег другой. Всё просто, так, что и, верно, сваял я дурака. Даже вспомнить стыдно. И насчёт начальника уж и не знаю, на какой высоте он оказался. Может быть, никакой высоты и не было. Но и обижать его не хочу. Верю, что выполнил он своё обещание, но откритка попала в чужие и недобрые руки. Ведь в нашей квартире жили уже новые люди. Новые и, надо полагать, плохие. А может, я зря так. Не плохие. Просто обыкновенные "советикусы".

На высоте оказался один лишь мой ангел-хранитель — случай. В тот, по-видимому, день, когда я свою победу праздновал, мать уже из далёкого Чернигова мой мешок приволокла. Случай редкий по точности стечения обстоятельств. Везение! Сказочное, неповторимое везение! Но я его заслужил. Заплатил я за везение.

ГЛАВА 29

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Пусть обо мне подумают, что хотят. Пусть обвиняют в недомыслии, а я всё же скажу: хорошо жили мы в ИТК. Главное, что беззаботно. Ведь что было самым страшным в

спецкорпусе? Допросы. Жуткие ночи ожидания, когда тряслись мы в смертном ужасе, как евреи во время погрома. И после допроса было не лучше. У каждого, конечно, своё, но раны зализывать всем приходилось. Душевные и телесные. А в душе иной раз раны такие, что никакие телесные с ними не сравнить.

Ладно, не хочу вспоминать, раз уж всё это позади осталось. Перестали мы трястись. Никого и ничего теперь не боялись. Прежде, как загремят у двери ключи и надзиратель появится, у всех кровь вглубь откатывалась, как море во время отлива. Теперь, кроме любопытства, никаких чувств надзиратель не вызывал. И любопытство было такое, что ждали только хорошего.

Ну и, в самом деле, что может привести надзирателя в камеру? Мог извещение о передаче принести, или перевод денежный, или к парикмахеру пригласить, или о лавочке объявить, или... много всяких "или", и ни одного плохого. Одни лишь радости ожидали нас, поскольку ничего худшего, чем то, что мы уже испытали, с нами произойти не могло.

Впрочем, об одном "или" я умолчал. Было такое, что в один ряд с прочими его не поставишь. Бывало, что являлся надзиратель и вызывал кого-нибудь для объявления приговора.

В этом случае в коридоре заключённого ожидал... чёрт его знает, кто ожидал. Не знаю, кто в те времена исполнял такую обязанность. Не станешь же его спрашивать, кто ты да что? Короче, вручали вызванному бумагу с решением ОСО. Обсуждать приговор, понятно, не приходилось. Обжалованию он не подлежал. Так прямо на бумаге и было сказано. Значит, дело самое простое. Надо подписать, и все дела. Мы и подписывали, раз требовалось. И не слишком народ переживал. Лёгким румянцем на щеках, какой у девицы, услышавшей нехорошее слово, бывает, отделялись.

Времена, когда Военная Коллегия свирепствовала, в прошлом остались. Высшая мера никому не угрожала. Приговоры были однообразными. Кому пять, кому восемь, а кому и полная катушка — десять.

Но срок никого не пугал. Все твёрдо верили, что время, когда там разберутся, *приближается* с каждым часом.

Конечно, те, кому выпала самая полная мера, радовались меньше. А может быть, даже не радовались вообще. Но большинство принимало приговор спокойно. Что радовались, то это без всякого преувеличения. И почему бы не ра-

доваться? Что срок дадут, никто не сомневался. Каждый, получивший приговор, ясно видел, что у него позади и что впереди. Позади — следствие, а впереди — лагерь. И тут уж все были едины. Лагерь — это труд, какая ни на есть, а всё-таки свобода, жизнь вблизи природы, в соприкосновении с ней. Надо только суметь приспособиться, найти себе удобное место в лагерной трудовой жизни. Мы были убеждены, что всякий, что-то умеющий, что-то знающий, обязательно найдёт там возможность приложить свои умение и познания.

Наивность нашего мышления была поразительной. Я ещё раз мог убедиться, сколь мало люди склонны верить фактам и сколь неумённо их стремление к вере в ими же созданный образ. Но образ был создан. Он прочно застилал наши затуманенные надеждой глаза.

Надо полагать, что будущая жизнь каждому рисовалась по-своему. Иначе и быть не могло. Но вывод всеми был сделан один и тут уж никакому разночтению места не оставалось. Все сошлись на том, что наша задача вполне совпадает с историческим призывом: учиться, учиться и учиться. Надо овладеть знаниями, которые будут полезны там, в предстоящей нам жизни. Острым оставался лишь вопрос о том, чему именно следует учиться. И здесь — все врозь. Каждый гнул своё.

Спорили до хрипоты. Какие только ни обсуждались профессии! Смех один да и только!

Рабочий класс в дискуссиях не участвовал. Слесари, плотники и прочий мастеровой люд не сомневались, что их-то уже ждут тёплые местечки.

Ещё увереннее держали себя шофёры. Их всего было двое или трое, и смотрели они на всех свысока, а мы завидовали им самой чёрной завистью.

В конечном счёте, было принято общее решение — своего рода призыв: каждый умелый должен обучить неумелого. Таков святой долг перед людьми и своей совестью.

У Горького словосочетание "Мои университеты" мыслились, конечно, в кавычках. Но в нашей камере те же слова приобрели их истинное, бескавычное значение. У нас был поистине народный университет. Своего рода политехникум, с широким кругом изучаемых дисциплин.

Так, по крайней мере, было задумано.

Но очень скоро жизнь опрокинула наши планы.

Все организованные факультеты, не успев ещё развернуть своей деятельности, один за другим выпускали дух. И

только один, поглотив всю высвободившуюся массу слушателей, раздулся, как резиновый шар. Таким стал курс по освоению автодела.

Убеждение, что знание автомобиля гарантирует процветание, было всеобщим. Трудно объяснить этот массовый психоз, если учесть, что в те годы наш автотранспорт, если уже и не лежал в пелёнках, то во всяком случае на ногах ещё не стоял.

Но факт. Психоз был, и вокруг нашего инструктора по автоделу, некого Балабухи, собиралось практически всё население камеры. Замечу, что громкий успех определялся не только популярностью предмета. Немалую роль здесь сыграла и личность преподавателя. Именно она, а не автодело, сколь ни были мы увлечены им, побудила меня включить в свои воспоминания этот рассказ.

Нельзя мне умолчать об этом человеке, хотя, по совести говоря, очень я Балабуху этого невзлюбил. Но "взлюбил"- "невзлюбил" — это не разговор. Плутарх, надо полагать, тоже не всех, чьи жизни описал, любил. А описал. Была бы личность того достойна.

Вот и с Балабухой так. Терпеть я его не мог. Когда встречал, то отворачивался, чтобы настроение себе не портить. А описать обязан. Что другое, а это он заслужил.

Я ведь за что не любил его? Во-первых, морда у него поганая. Прямо скажу, гнусная морда. На такую посмотришь, и всё. Чувствуешь, лучше разминуться.

Во-вторых, хамом он был первостатейным. Нрав имел самый мерзкий. Придирчивый, брюзгливый и склочный. Вечно с соседями своими воевал. Всё ему не так. В камере тишина, а Балабухинский угол клокочет, как вулкан перед извержением.

Ещё невзлюбил я Балабуху за антисемитский душок, проскальзывавший в репликах. Прямым, так сказать, текстом он его выражать не рисковал. Евреи в камере составляли едва ли не большинство. Так что только самоубийца мог отважиться на конфликт с ними. Балабуха самоубийцей не был. Напротив, жизнелюбом был и мелочную грызню, видимо, тоже расценивал в качестве одной из жизненных радостей. Кстати, не угрожай всеобщему миру Балабухинский угол, мы бы его просто не знали. Никакого места в общественной жизни он не занимал. Ничем и никому интересен не был.

И вот этот ничтожный человек в момент наивысшего накала страстей выступает с самонадеянным дерзким предложением.

Трудно сказать, было ли так задумано или вышло случайно, только попал Балабуха в самую точку. Именно в этот момент, охваченная автомобильной горячкой, камера билась над неразрешимой задачей. Все жаждали стать автомобилями, а учить было некому. Те, кто знал автомобиль, не годились в преподаватели. Те, что годились в преподаватели, не знали автомобиля. А дело предстояло нелёгкое. Ведь всё на пальцах придётся показывать! Ни наглядных пособий, ни доски с мелом. За такое и опытный педагог не возьмётся. Но Балабуха заявляет категорическим образом, что всё берёт на себя. Кой-какой опыт у него имеется, и он готов начать хоть сейчас.

Должен сказать, что предложение было встречено более чем прохладно. Уж на что я Балабуху не любил, но и мне стало не по себе — зачем же так человека обижать?

Балабуха верно оценил обстановку. Все цензурные ограничения были им упразднены. Содержание его, исполненной негодования и презрительного высокомерия, речи я могу передать только в самом общем виде.

Балабуха ставил нас в известность, что он плюёт на нас и проделывает ещё многое другое, не менее порочашее, но вполне нами заслуженное. Он, мол, никому не навязывается, все наши дела ему "до одного места", он только хочет, чтобы люди знали: в своём Бахмаче (или Нежине, не помню точно) он преподавал в техникуме автодело. И не только его, вёл он и математику, и черчение, а когда совсем некому было, то даже биологию.

Балабуха, конечно, надеялся, что сообщение о его педагогических подвигах приведёт народ к раскаянию. Но ничего такого не произошло. Никто не бросился к нему с извинениями, никто не умолял занять вакантную должность, и он зверски рассвирепел. Ругался долго и вдохновенно, разбрызгивая вокруг ядовитую слюну. В заключение плюнул нам под ноги и отправился к себе, где улёгся, выставив зад самым хамским образом.

Здорово мы его, конечно, обидели. Но и нас можно было понять. Кроме противной рожи и скверного характера, доверие к нему, как к педагогу, подрывала его речь. Изъяснялся он на самом простонародном русско-украинском жаргоне, который в ходу у жителей окраин и крестьян пригородных

сёл. Нет, никак не тянул он на техникумовского преподавателя.

Между тем, кризис углублялся. Судьба нашего университета уже не висела даже на волоске. Не на чем ей было висеть. От высокой должности отказались все, имевшие отношение к автомобилю. Уговаривать их было бессмысленно — даже бывалые шофёры, ничем не могли нам помочь, имея в распоряжении один лишь язык.

Круг замкнулся. Пришлось нашим активистам, по возможности не роняя своего достоинства, идти на поклон к Балабухе. Я проследил почти весь их путь. "Почти", потому что не хотел лишних переживаний.

Но, сверх всякого ожидания, пережить пришлось лишь неожиданное и приятное удивление. Непонятный он человек, Балабуха. Я был уверен, что он потешится над побеждёнными вволю. Ждал, что вообще откажется от всяких переговоров. А всё вышло иначе. С явным удовольствием выслушал он делегатов и, нисколько не чванясь, тут же дал своё согласие. Будет он учить людей и надеется, что все останутся довольны, но приступить к делу сможет только завтра.

Поскольку было утро — весь день впереди — такое заявление показалось нам весьма странным. Была даже мысль, что Балабуха решил отомстить, и в переносе занятий скрыто что-то недоброе. Но он в своём обычном стиле рявкнул, что ему надо подготовиться и только последний дурень этого не понимает.

Мы только переглянулись. Пусть "пан профессор" готовится. Корчит из себя жлоб Нежинский чёрт знает что. Подумаешь, о моторе автомобильном рассказать — так ему, видите ли, готовиться нужно! Любой шоферюга сделает это не сходя с места.

Но никакого шоферюги у нас нет, а есть Балабуха.

И что же, вы думаете, делает Балабуха? Что творит этот мерзкий человек? Да такое никому бы и не померещилось!

Балабуха собирает котелки со всей камеры и выстраивает их кверху дном. Затем готовит раствор зубного порошка и покрывает им все котелки подряд. Мы следим за каждым его движением. Его затея остаётся пока совершенно таинственной. Трудно сказать, когда успел он всё это придумать, но делает он своё дело уверенно и ловко. Продумано оно до деталей.

Два десятка котелков выстроены, и кажется, что они до краёв наполнены молоком. Так ровны и белы их поверхности.

Балабуха вытирает о штаны перепачканные руки и самодовольно оглядывает результат своего труда.

— От, завтра и почнём, — изрекает он. — И щоб ни одна душа не торкнулася. Идите себе подальше от лиха.

Зря, выходит, мы злопыхательствовали. Что будет дальше, увидим, но подготовиться ему, действительно, было нужно. И сделал он это мастерски.

А на следующий день состоялось первое занятие. Я говорю — "занятие". Другого подходящего сюда слова не подберу. Но и оно здесь не годится, потому что не занятие мы увидели, а чудо! На наших глазах совершалось подлинное чудо!

Много мне потом пришлось слышать лекций, докладов, бесед. Как правило, они сопровождались рисунками, которые лектор вычерчивал мелом на доске. Был у нас в Медицинском профессор Шахов. Цветными мелками он по ходу лекции изображал ткани и органы, клетки и их тонкие структуры. И очень недурно рисовал. Прославился своими лекциями. Но что рисунки Шахова по сравнению с тем, что творил Балабуха! Нечего было сравнивать. Какое может быть сравнение между пением соловья и воробыным чириканьем!

— Итак, мотор... поговорим за мотор, — растягивая слова, говорит Балабуха, и рука его парит над котелком. Длится это мгновения. С неуловимой быстротой остро наточенной палочкой он наносит на молочную поверхность чертёж. Он отводит руку, и все издают единый возглас изумления. То, что перед нами, — непостижимо! Какая поразительная чёткость и верность линий! И какое изящество! Тут положена тень, там сделана штриховка. Мотор дан в двух проекциях: сбоку и спереди. Изображение объёмно, хоть в руки возьми. Словно страница из учебника! Фантастика!

Балабуха даёт пояснения. Их немного. Мотор как мотор. Главное — внутри. И на следующем котелке перед нами мотор в разрезе. Со всеми подробностями. Места разреза покрыты штриховкой. Если не видеть своими глазами, то нельзя поверить, что сделано всё без линейки. Немыслимо такое! Но оно существует. Штриховка редкая, штриховка густая, точечная... Наваждение какое-то!

Рассказ продолжается. Появляются отдельные части мотора. Каждая — во всех проекциях, и всё — в том же стиле: тени, полутени, штриховка широкая, штриховка узкая... Не чертёж, а произведение искусства!

Мы сидим неподвижно. Глаз не сводим. Следим за каждым движением Балабуховских рук, словно перед нами иллюзионист, и мы хотим разгадать, раскрыть секреты его фокусов.

Но никакого фокуса нет. И секретов тоже. Есть талант, совершенное мастерство, сверкающая одарённость! Есть человек!

К концу часа с исчерпывающей полнотой на котелках предстаёт мотор со всеми деталями. Со всех сторон. Во всех проекциях. Даже пояснений не требуется, так последовательно и разумно выстроен ряд.

Балабуха не только искусный художник, но и такой же педагог. Описав все детали в отдельности, он возвращается к началу ряда и повторяет всё, что было изложено прежде. Язык тот же — корявый, простецкий язык простолюдина, но чёткость и ясность рассказа искупают всё.

— От, зараз можете взять свои плювальницы и делайте что хотите, — заканчивает он и расталкивает посудный ряд с величественным пренебрежением. Но десятки рук в едином порыве бросаются спасать его творение.

— Не трогайте! Не портьте! Мы будем потом учить по рисункам! — шумит народ. Но Балабуха презрительно улыбается. Без всякой рисовки пинает он ногой ближайший котелок и, по-лошадиному широко зевая, отправляется к себе.

Мы смотрим ему вслед. Смотрим по-новому. В наших взглядах восхищение, уважительное удивление и смущение. Вот так Балабуха! И кто мог подумать? А ведь чуть не потеряли его! Могли и не узнать, какой был нам ниспослан дар! "Всё, что золото — не блеснит" — такую я встретил сентенцию. Если не ошибаюсь, то у Ницше. Вот оно нам и попало. Всё верно. И золото полноценное и блеска никакого. Ни малейшего намёка на блеск.

На долгие годы запечатлелись в моей памяти Балабуховы уроки. Автомобильный мотор я представлял себе так же чётко, как анатомию рака и рыбы, которые через много лет бессчётное число раз описывал студентам.

И, сознаюсь, описывал, невольно подражая Балабухе — непревзойдённому мастеру, виртуозу нелёгкого нашего педагогического искусства.

Собрав под своё знамя весь народ, задушил Балабуха программу нашего университета в самом зародыше. Пламя просвещения теперь согревало один лишь его факультет. Правда, неподалеку тлел ещё один огонёк. Он освещал уродца, который состоял из двух учителей и одного единственного слушателя. Этим слушателем был я.

Профессор Кофман и Тевий Израйлевич готовили меня в клинические лаборанты. Буду справедлив. Мои учителя были мне глубоко симпатичны. Речь их была безукоризненна. Оба были интеллигентами до последней жилочки. Но искра Божья обошла их и нашла себе приют в мужлане и хаме Балабухе.

Но дело от этого не страдало. Они добросовестно и с полным знанием дела посвящали меня во все премудрости лаборантского ремесла. И усваивал я их весьма успешно. Даже экзамены сдавал по всем правилам. Всё, как положено студенту. И забывал я всё тоже по-студенчески. Очень скоро забывал.

А вот мотор автомобильный помнил. Долго помнил, хоть было это ни к чему. А вообще-то всё было ни к чему. Никто из нас в лагерь так и не попал. Опоздали мы. Даже к шапочному разбору не успели. Но, попади мы в лагерь, было бы нам не до моторов и не до анализов. К счастью, не пришлось нам на своей шкуре узнать, чему следовало учиться, отправляясь туда. В этом нам повезло. В отличие от тех, которые это узнали. Много было таких. Вовка мой тоже был в их числе. Всё они узнали, но своего опыта передать уже не смогли. Никогда и никому.

ГЛАВА 30

ИСПЫТАНИЕ САХАРОМ

Прекрасным выдался этот осенний день. Солнечные потоки рвались к нам через решётки, и небо было таким синим, как лепестки у ранних фиалок. Теперь мы всё это видели, хоть и в клеточку. Козырьков, слава Богу, ИТК не знала.

И начался день чудесно. Уже с утренней баландой пришло известие: идём в баню. А баню ценили почти так же, как лавочку. Других ведь радостей у нас не было.

Вернулись в камеру блаженно истомлённые и раскинулись на своих местах. Ох, до чего же хорошо вот так пова-

ляться, ощущая сладкую немощь распаренного, выскобленного тела!

В общем, славно начался день. Только начался, потому что все последующие события по внезапности своей и драматичности напоминали железнодорожную катастрофу. Вот только спокойно катился состав, мерно постукивая колёсами. Стояли в дверях проводники, мелькали в окнах детские головки... И вдруг грохот... опрокинувшиеся вагоны, скрежет металла, вопли изувеченных...

Таким неожиданным кошмаром обрушился на нас звериный вой, мигом поднявший всю камеру. Как ни дик он был, мы сразу же узнали в нём голос Цебенко.

Крики истязуемых ни для кого не были новостью, составляли часть нашего быта, как кровь на войне. Но вопль товарища здесь, в камере, нельзя было слышать без содрогания. И это при том, что Цебенко мы дружно презирали. Презирали за жадность, за неуживчивость и беспросветное хамство. Не было ни одного среди нас, кто бы относился к нему по-дружески. Но и не было ни одного, кто бы ему не прощал его пороков. Прощали, потому что жалели. А жалели потому, что, кроме плохого характера, было у него и плохое здоровье. Цебенко страдал эпилепсией. Что с такого возьмёшь, припадочного?

Вот он, Цебенко, и ошеломил нас своим неистовым рёвом. Когда наконец удалось переключить его вопли на членораздельную речь, то выяснилось, что были у него для отчаяния основания.

Большая беда свалилась на человека. Три килограмма рафинада, которые Цебенко принёс из дома и берег для этапа, исчезли. Ещё сегодня мы любовались искрящимися голубоватыми глыбками. Он всегда выкладывал их перед баней, готовя к стирке сидерок, в котором хранил своё сокровище.

И вот этого сахара теперь не стало. Сидерок был, а сахара не было. Горе Цебенко было нам понятно и близко, хотя никто другой не стал бы так реветь. Посовестился бы. Но на то Цебенко и эпилептик, больной человек.

В наше прозаическое время, как известно, чудес не бывает. Не мог сахар ни испариться, ни раствориться. Должен он быть в камере. Перекачивал из Цебенковского сидерка в иное место.

Что это за место, полагаю, догадывались все. Но высказываться и тем более предпринимать что-нибудь желающих не было. Не такой здесь собрался народ. Все только неволь-

но устремляли взгляды к тёмному углу под нарами у самой стены. Угол этот занимали молодые парни — уголовники. Урки, попросту говоря.

Их было трое, а нас в ту пору — семьдесят шесть.

Но ни смешения, ни растворения не происходило. Слово были они правоверными среди язычников. На нас было клеймо врагов народа. Они считали себя обыкновенными во-рами, хотя и было это печальным заблуждением. К нам парни испытывали смешанные чувства, где переплетались неосознанный страх и уважение.

Отличались они и своим видом. Одежду, включая носки, все трое успели кому-то проиграть и выменять на табак. Весь их гардероб теперь состоял из белья, в котором они и щеголяли.

Непонятным образом бельё сохранило свой первозданный цвет и придавало им экзотический вид. Казались они мне поначалу выходцами из какой-то тропической страны, и только стриженные головы да нездоровая бледность выдавали их истинное происхождение.

Все трое были молоды и неистребимо жизнерадостны. Самому юному среди них, Женьке, носившему загадочно-романтическую фамилию Борзио, было восемнадцать. Его неразлучному другу Кольке Христичу — двадцать, а старшему, не только по возрасту, но и по положению, Петьке Легуну — двадцать четыре.

К своей судьбе урки относились с профессиональным спокойствием и детской беззаботностью. Осужденные за воровство, уже здесь, в колонии, схлопотали они себе грозную 54-ю. Плохо осознавая трагическое значение этого события, они, гыгыкая, в полный голос пересказывали анекдоты, которые определили их нынешний статус. Следствие, уже без шуток, оценило их забавы по пункту десятому. Теперь мы были с ними на равных. Правда, став такими же, как и мы, врагами народа, они всё же имели перед нами известное преимущество. Воровского звания их никто не лишал.

По молодости лет и в силу особой их психики новое положение не вызывало у них ни малейшего беспокойства и жили они сегодняшним днём, сосредоточив свои интересы на еде, табаке и азартной игре.

От нас все трое старались держаться подальше. Мы для них были троцкистами. Так они нас называли, хотя смысл этого слова был им непонятен, как непонятен был Гоголевскому Аммосу Фёдоровичу смысл слова "моветон". Не то

мошенник, не то и что-либо похуже. Конечно, мы были в их глазах преступниками, но суть нашей преступной деятельности они осмыслить не умели. И такая неясность внушала им страх.

Из своего угла парни выползали лишь при раздаче пищи. Шлёпая босыми ногами, становились в очередь, провожая алчными взглядами каждую выданную порцию, как это делает собака у обеденного стола. Получив свою, они уничтожали её на ходу, орудуя ложкой с ловкостью жонглёров. Через минуту они уже заползали в свою берлогу, и вновь звучали их нескончаемые рассказы о былых делах. В общем, жили они беспечно и бесхлопотно.

Вот такие были у нас соседи. Ясное дело: никто, кроме них, сахара взять не мог. Тем более, что в баню с нами они не ходили, и камера оставалась в их распоряжении целых два часа.

— Значит, так, — первым подал свой голос Лозинский. — Никуда из камеры сахар деться не мог. Надо искать.

Лозинский был на воле не то судьёй, не то прокурором и во всех удобных случаях стремился занять командные посты.

— Искать так искать, — поддержал его Эвманьяки, чёрный, горбоносый, сухой, как мумия, грек. — Давайте, Чарнецкий, будем искать с вами. И Цебенко, конечно, как потерпевший. Сразу от окна и начнём.

Поиски длились до вечерней баланды. Перетряхнули всё и всех. Сахара не было.

— Плохо искали, — сказал Эвманьяки, присаживаясь и скрестив по своему обыкновению ноги.

— Чепуха это всё! — прикрикнул на грека Лозинский. — Не нужно никакого обыска. Кроме наших соседей, — он кивнул в сторону урока, — некому было сахар увести. Только они и взяли, когда в камере оставались. Конечно, это улика косвенная, но в создавшихся условиях она равносильна прямой.

— Так-то оно так, — с сомнением процедил Чарнецкий, — но сахара у них нет!

— Сожрали они мой сахар, чтоб им пузо разорвало, — заскулил Цебенко, — ворюги проклятые!

— Глупости болтаете, Цебенко, — набрасывается на него грек. — Если бы съели, то уже не слезали бы с параша. Шутка ли, заглотать целый килограмм сахара! Соображаете?

Эвманьяки и невдомёк было, какую его слова вызовут бурю. Что тут поднялось! Словно стадо потревоженных гусей загототала вся камера.

— Верно, никто бы такого не выдержал! — кричат одни.

— Херня! — орут другие. — Дайте нам по два кило! Сплотнём одним духом!

— Трепачи, — голоса третьи, — полкило сожрёшь и загнёшься! Два кило он сожрёт, трепло!

— Заткнитесь все! — рассвирепел Гнедой. — Хватит плотки драть! Пусть наши медики скажут. Дадим им слово!

— Резонно! — поддакнул Лозинский. — Просим, товарищи эксперты! — Он раздвинул толпу, освобождая место нашим врачам.

Увы, эксперты оказались не на высоте. С первых же слов стало ясно, что мнений ровно столько, сколько членов высокой комиссии. Свою неуверенность они прикрывали тем же туманным научным языком, каким пользовались персонажи Мольеровских комедий.

Дискуссия загнала нас в тупик. Все растерялись, и уж не знаю, как бы развивались дальше события, если бы не вырвался вперёд Бугров.

Этот приземистый, коренастый человек, с жёстким бровастым лицом, на воле был замполитом дивизии. Характер его тюрьма не изменила, и он сохранил прежние замашки. Озлобленность его была неистовой. Сидел он уже более года, и не один следователь успел испытать на нём свои силы. Но Бугров оставался твёрд. Своё дело он продолжал считать случайным недоразумением. Нас же всех рассматривал как подлинных врагов и держал себя соответственно.

И, вот, в минуту всеобщей растерянности, словно сорвавшийся с цепи пёс, бросается на нас Бугров и обрушивает свой замполитовский бас:

— Дерьмо вы все! Трусые и болтуны! Насквозь я вас всех вижу! Ах, где сахар? Куда мог деться сахар? Ах, как можно съесть кило сахара! — издевательски гримасничает он.

А мы стояли, не смея поднять глаз. И что мы могли сказать? Прав он был, Бугров. Всё так и есть. И трусы и болтуны. Вся эта возня с обыском и экспертами была сплошной комедией. Все прекрасно понимали: есть сахар или нет, а взяли его урки. И, если нет его, значит, сожрали. Было наше молчание трусостью? В какой-то мере, может быть, и было. Но наша трусость была доброй. "Лучше быть страдающим в

правом деле, чем побеждающим в неправом". Эта мысль принадлежит Цицерону, и я разделяю её. Пропавши он пропадом, сахар, если из-за него я должен стать соучастником зверства. А дело шло к тому, если уж власть взял в свои руки Бугров.

— Хватит митинговать, пинкертоны! — хрипит Бугров, рассекая воздух молотоподобным кулаком. — Вам нужны воры! Сейчас получите! — Он расталкивает народ и, нырнув под нары, выволакивает оттуда Петьку, который лежал там в своих белых подштанниках и безмятежно посасывал уже обжигавший пальцы окурочок. — А вот вам и второй, — Бугров ныряет снова и извлекает, ухватив за ворот сорочки, Кольку. — Держите! — Он швыряет парня прямо нам под ноги.

Нужно отдать должное нервам и самообладанию этих хлопцев. Все вокруг стоят бледные, с трясущимися губами, а Петька даже окурочка своего не бросил, хотя и бросать уже там было нечего. Женька вылез тоже и присоединился к своим друзьям. Теперь все трое уставились на нас с наглыми усмешками. Смотрят прямо в глаза, вроде всё, что здесь происходит, не имеет к ним ни малейшего касательства. Немая сцена была недолгой. Петька вдруг гневно извергает густой плевок, швыряет нам под ноги свой бычок и делает короткий, но твёрдый шаг вперёд.

— Что ты, гад троцкистский, к нам пристал? — люто поигрывая сухими желваками, шипит он зловещим шёпотом, приблизив своё лицо к самому Бугровскому носу. — Ты видел, что я сахар брал? Враги народные, пусть кто видел, выйдет и скажет! Кто видел? Молчите?

Мы молчали. Все. И Бугров тоже. Это была капитуляция, и противник перешёл в наступление.

— Слышь, Петро, — вроде бы ему одному шепчет Колька, — им стыдно, что инженеры и начальники по сидерам шуруют, так они на нас. Мы же — шпана, уркаганы, на нас вали, никто не заступится. Некому! Говоря это, Колька страдальчески морщится, и даже глаза у него поблескивают. Вот-вот прослезится.

— А я вам так скажу, граждане троцкисты, — доверительно, примирительным тоном изрекает сидящий на полу Женька. — Мы воры, блатные, но у нас закон такой: где живём, там не срём.

Хорошо он это сказал. И вовремя. Все после его слов поверили, что парни невиновны. Всякий интеллигент не сво-

боден от иллюзий о благородстве преступного мира. Так что Женька, сам того не сознавая, одним ударом вышиб за черту всю фигуру.

И в этот светлый миг снова хлестнул нас истерический вопль Цебенко. Душа его требовала возмездия. Если нет сахара, то пусть будет он возмещён кровью.

— Бей их, сволочуг! — с надрывным, срывающимся визгом бросился он к парням. — Они взяли мой сахар, бандюги! Что вы их слушаете? Чего стоите? Убить их, паразитов! Уби-и-ить!

Словно бык, рванулся он к Петьке, с низко опущенной головой. Никто не успел даже пошевелинуться, а Петька уже лежал с залитым кровью лицом. А через мгновение рухнул на пол и сам Цебенко. Лицо его исказилось, весь он как-то ненатурально скрючился, и на губах запузырилась желтоватая пена.

— Отойдите все, — отрезвляющим, докторским голосом сказал профессор Кофман, — и дайте мне платок почище.

Толпа есть толпа. У неё свои законы. Она может быть безрассудно доброй и до беспамятства злой. Теперь она была именно такой. Петькина кровь и припадок Цебенко взорвали её. Десятки голосов по-звериному, остервенело ревели:

— Бей их, ворюг! Отбить им душу, чтобы на всю жизнь запомнили! На коридор их! Вон из камеры! Пусть их там поучат! На коридор! К чёрту! Никаких коридоров! Сами разделаемся!

Орали все, но желающих пачкать руки нашлось не так уж много. И первым среди них, конечно, оказался Бугров. За ним Чарнецкий. Они схватили Петьку, который едва успел подняться и сидел на полу, зажимая нос окровавленными пальцами. Грек набросился на Женьку.

— На коридор? Нет, братцы, хватит с нас их правосудия! — приговаривал Бугров. — Сами мы судьи. И приговоры сами исполним. В лучшем виде сделаем!

Я смотрел на его хищную, налитую кровью физиономию, на перекошенный яростью рот и, словно во сне замер, скованный бессильным ужасом. Я ничего не соображал тогда. Всё пережитое здесь, в этих стенах, все страхи и боль, казалось, сейчас найдут своё, ещё не ведомое мне завершение, выплеснутся, как гной из лопнувшего нарыва. Я чувствовал, что не перенесу того, что сотворят эти озверевшие люди. Пусть меня, пусть всё будет со мной, только бы не стать

свидетелем того, чего вынести я не в состоянии. Если увижу, то что-то со мной произойдёт непоправимое.

Да, чего-то очень важного я был лишён. Вот, будь сейчас со мной Кастулин, он бы знал, что делать, и секунды бы не думал! А я, конечно, был бы с ним рядом. Вторым. Но Кастулина не было. Значит, теперь всё. Сейчас свершится.

Но не свершилось. Есть, значит, Бог над нами. Как отвёл он руку Авраама, занесённую над сыном, так отвёл он беду и теперь от этих несчастных. Тогда он послал ангела. Сейчас это был человек.

Спрыгнув с нар, раздвинув круг, вырвался вперёд Озерянский. Он с неожиданной силой оттолкнул Бугрова, лягнул коленом Чарнецкого и заслонил собой Петьку.

Он стоял между ними, маленький, по-мальчишески щуплый, раскачиваясь на кривых ногах кавалериста, одетых в армейские шаровары и шерстяные носки.

— Хватит, Бугров! — произнёс он сдержанным, но твёрдым голосом. — Что же вы делаете? Нас здесь семьдесят человек, интеллигентных, образованных, коммунистов, наконец, чёрт вас побери! И за короткое время они, — он кивнул в сторону парней, — подчинили всех своим законам! Вы же, командир, Бугров, воспитатель! Что же вы в палачи подались? И всё за несколько кусков паршивого сахара? Мне стыдно перед этими пацанами! Что же вы за люди? — Он произнёс это с такой тоской в голосе, что на моих глазах выступили слёзы.

Я не знаю, что испытывали другие. Мне было тогда чуть больше двадцати, но меня до боли взволновал этот человек. Маленький и кривоногий, с белёсыми глазами и красноватыми веками, он казался мне мужественным и прекрасным. Слушая, глядя на его удивительное лицо, я вдруг в этой ужасной камере понял, ради чего и как стоит жить.

— Вы чего же от нас хотите, Григорий Афанасьевич? По головке нам воров гладить? — Это пишит Чарнецкий. Сам он, по природе своей, толстяк, а голос, как у кастрата. Он ещё не остыл. У него ещё чешутся руки, душонка требует крови.

— Я хочу, чтобы вы снова стали людьми, если ими когда-то были, — по-прежнему спокойно парирует выпад Озерянский. — Говорят, тюрьма портит. Войдёшь человеком, выйдешь преступником. Враньё! Если был человеком, то им и останешься. Этим парням повезло. Они пришли сюда во-

рами, а попали не к вора́м, а к нам. Значит, сделать из воров людей выпало нам.

— Оставьте демагогию, Озерянский, — перебивает его Гнедой. — Вор он и есть вор. Красивыми речами его не переделаешь.

Озерянский побагровел, и на потемневшем лице по-новому, зло выступили его белёсые, немигающие глаза.

— Скажи, ты ведь директором был, школой командовал, если не ошибаюсь? Так вот, давай честно, — он схватил Гнедого за лацканы пиджака, — было у тебя хоть раз желание стащить у соседа хлеб? Или табак? Говори, но честно. Было?

— Ну, было, — криво усмехнулся Гнедой, пытаюсь высвободить свой пиджак.

— Спасибо, брат, за правду, — грустно улыбнулся Озерянский. — Значит, совесть ещё при тебе. А табака ты всё же не взял. А знаешь, почему?

— Ну-ну, почему же? Объясни, раз уж ты нас учить взялся.

— Объясню. Да и сам ты знаешь. Тебе с пелёнок вдальбывали: воровать грешно. Не воруй! Ещё, наверно, и через мягкое место внушали. Вот и выучили! А у них всё наоборот. Ты спроси у Женьки! Он тебе скажет: что не украсть — глупо. Мог и не украл, значит, дурак. Украл хлеб, нажрался и сыт. Быть сытым — хорошо. Вот и вся их мораль. А ты знаешь, как в их годы жрать надо?

— Что вы этим хотите сказать, Озерянский? — снова верещит Чарнецкий. Мы их кормить, что ли, должны? Они — воровать, а мы их — кормить? В благодарность, значит?

— Вот теперь ты дело говоришь, главбух, — хлопает его по плечу Озерянский. — Именно так и предлагаю. Накормить, показать им, как у людей ведётся порядочных. Пусть на всю жизнь запомнят.

Ух, какой поднялся гвалт! Уши в пору затыкать.

— Вот это так загнул! Псих этот Озерянский! Это чтобы мы их кормили?! Сдохнуть им, ворюгам! Ишь, какой Христос выискался! Пусть кормит из своей пайки!

До того разъярился народ, что и о ворах позабыл. Вот, кажется, сейчас разорвут Озерянского на клочки. А он стоит и смотрит на крикунов недоумённо и печально, слегка раскачиваясь на необутых кривых ногах.

— Как могут до такой степени потерять разум и совесть люди? — морщась, словно от зубной боли, тихо говорит

Озерянский. — Ложку баланды пожалеть! Ведь по одной ложке дай, и хлопцы будут сыты. По одной только ложке!

Но люди не унимаются. Бушует стихия.

— Всё, — рубит рукой Озерянский. — Хрен с вами! Слышь, Николай, будешь у меня брать полбаланды. Ты утром, Женька вечером.

Я не слышал, что ответил Колька. Как тогда, при Кастулине, я сделал шаг и, судорожно вздохнув, стал подле Озерянского.

— Петька, будешь брать половину моей, — сказал я, с трудом преодолевая дрожь и идиотский спазм в горле.

Озерянский обнял меня одной рукой, но мне показалось, что его объятие охватило меня целиком. Со всех сторон. Я стоял рядом с этим человеком, и его близость наполняла мою грудь самозабвенной преданностью. Если бы он стоял не здесь, на холодном цементном полу, а на раскалённых углях, я так же твёрдо и с таким же трепетом взошёл бы на них.

— Я тоже даю, — не поднимая глаз, сказал Иуда Соломонович и сделал робкий шаг в нашу сторону.

И тогда шумно вырвался вперёд Бугров. Он схватил руку Озерянского и потряс её так, что тот едва устоял на ногах.

— Спасибо тебе, Григорий Афанасьевич! — горячо воскликнул он. — Спасибо! Прости уж меня, если можешь. А всё жизнь наша каторжная. А впрочем, — он с отчаянием махнул рукой, — жизнь не при чём. Человеком надо быть, хоть какая ни есть жизнь.

— Эй, вы, волки, — вскричал он, — к чертям собачьим прения! По черпаку баланды даём уркам! Из котла! Без частных пожертвований! Все даём! Не попухнете, оглоеды!

Пока Бугров каялся, в камере стояла тишина. В мозгах, конечно, бурлило, но было это бурление бесшумным. Теперь грохнул взрыв.

— Принято! — заревели десятки глоток. — Принято! Пусть жрут, ворюги! Везёт же бандюгам! Сахара нажрались, а теперь им ещё и баланда! Давайте, Озерянский, нас тоже воспитывайте! Все в урки подадимся! Все согласны! — веселились и гоготали все вокруг.

Огромное счастье подарил мне этот маленький, отважный человек. И хватило его на всех. На всех семьдесят и на всю жизнь.

А я снова был вторым. И при Озерянском, и при Кастулине. Это уже как Бог даёт. Одним — золото, в другом — серебро или даже бронзу. Мне, выходит, серебро.

Когда народ малость поуспокоился, Лозинский подошёл к Петьке и, положив ему на плечо руку, коротко спросил, глядя в упор:

— Сахар где?

И получил такой же короткий ответ:

— Сожрали.

— Животы-то в порядке?

— Так ведь всего-то по килу пришлось, — развёл руками Петька. — На троих же!

С Григорием Афанасьевичем Озерянским мы встретились потом уже на свободе. Бывал я у него и дома, познакомился с женой и дочкой. В драповом пальто, с пушистым кенгуровым воротником, и дорогой меховой шапке он выглядел так, как и все ответственные советские товарищи. В таком виде он не вызывал у меня прежних романтических чувств, хотя я узнал, что в гражданскую он был лихим ординарцем у самого Котовского. Мне было грустно, словно я потерял что-то очень нужное и дорогое. Оно жило там, питалось той почвой. Здесь, думаю, ему уже места не было. Был какой-то высокий смысл в пережитом нами страшном времени и в ужасах войны. Муки и страдания остаются в прошлом, но что-то светлое, чего не встретишь в обыденной, благополучной жизни, рождается. Рождается и продолжает жить.

Так, из чёрной, неприглядной руды выплавляется и сверкает зеркальной гладью маленькое озеро чистого металла.

Скверное и страшное место тюрьма. Особенно тюрьма тридцатых годов, но, как и война, она создаёт героев. Конечно, число их не велико. Общий итог — не в их пользу. Но на то они и герои. Мерзости хватает и без тюрьмы и без войны. А вот героев там поболее. И я счастлив, что побывал там, что увидел людей такими, какими их видели немногие. А я видел. Всяких. Плохих и хороших, но запомнил хороших. Навсегда запомнил.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД, ТОВАРИЩ!

Лишённые какой-либо информации — ведь и "параша" в ИТК не работала, поскольку на допросы никто не ездил — мы не имели понятия о том, что происходило за пределами камеры. Только косвенно, по поведению надзирателей, по лавочному ассортименту, по частоте визитов всяких собирателей жалоб мы могли судить о бурлящих за тюремными стенами процессах.

В том, что такие процессы происходят, мы окончательно убедились, когда однажды нам объявили о переводе в новое помещение.

В тот день, разбив на группы по пятнадцать-двадцать человек, развели народ по камерам. Мы не очень удивились и не слишком обрадовались, когда увидели в них кровати. Быстро прикинув их число, мы поняли, что быть нашим ломам двуспальными. Конечно, кровати с сетками и матрасами, даже такими, как эти слежавшиеся и засаленные, были всё же атрибутами цивилизации. Однако свободой мы дорожили куда больше. А на полу и даже на нарах было просторно и привольно. Но и в нашей доброй ИТК права выбора мы не имели. Дали кровать, значит, ложись и будь доволен.

На пары разбились быстро. Мне выбирать особенно не пришлось. Все мои друзья оказались в других камерах, и устроился я на койке с Володей Болотиным.

Наших урок тоже разбросали, и нам достался Женька Борзио. Сразу же выяснилось, что составляем мы нечётное число, и Женьке, конечно, пары не нашлось. Он возлежал на кровати в гордом одиночестве, и это было большой удачей. И для него, и для нас. Так, по крайней мере, думали все, и Женька, конечно, тоже. Но, как ни странно, вскоре мы поняли, что парень Женька очень приятный. Оторванный от своих дружков, он оказался дружелюбным, услужливым и весьма занятым.

Между прочим, болтая о том о сём, мы узнали, что отец Женьки — известный машинист-орденоносец. Более того. Будучи политотдельцем дороги, Болотин прекрасно знал его, был одним из тех, кто вручал ему орден.

А ещё Володя вспомнил о слухах, ходивших по поводу семьи орденоносца. Говорили, что один из сыновей его связан с дурной компанией и не то ушёл из дома, не то был

изгнан отцом. Были даже тогда у руководства сомнения насчёт присвоения ордена. Но дали всё же. И вот этот блудный сын оказался здесь, с нами.

Теперь Женька постоянно торчал возле нашего ложа и обсуждал с Володей историю знатной своей семьи.

Кроме доброго нрава, обнаружился у Женьки незаурядный талант. Лирическим верным тенорком он трогательно исполнял песни лагерного и прочего блатного фольклора. Репертуар его был неисчерпаем. Скрестив ноги и раскачиваясь, как китайский божок, он часами мог распевать творения мастеров уголовной поэзии. Пел Женька с надрывом, и трагическая гримаса, искажавшая его лицо, хорошо гармонировала с содержанием песен, сентиментальных и жестоких одновременно.

В общем, Женька пришёлся к нашему двору. Мы все полюбили его и нежно опекали. Наши кошельки в лавочные дни были открыты для него, и он принимал наши дары с благодарностью, но с достоинством. А поскольку кошельков было много, а Женька один, то между ними возникала скрытая конкуренция. И, хотя эти чувства были бескорыстны и чисты, их тщательно прятали от чужих глаз. И тогда, и потом я много раз задумывался над этим удивительным свойством человеческой природы. Почему люди стыдятся быть добрыми? Для себя я на этот вопрос нашёл ответ, когда заметил: скрывают свои добрые дела и чувства в большинстве своём *добрые* люди. И в этом есть своя логика. Они боятся, что их заподозрят в неискренности или корысти. Ведь добро иной раз творят и недобрые люди и из недобрых побуждений.

Женька был, конечно, благодарным объектом, удобной точкой приложения всякого добросердечия. Но дело было не только в нём как таковом.

За время пребывания в ИТК нравы наши смягчились. Лёжа на кроватях, рядом с сидером, набитым всяческим добром, мы уже и вообразить себе не могли недавней жизни. Так уж устроен человек. Ещё только месяц тому назад мы валялись на липком, сыром цементе впритирку, задыхаясь от вони, в постоянном ожидании и страхе. Допрос, туалет, баланда, лавочка. Вокруг них вращались наши мысли. Теперь всё было позабыто, и образовавшийся вакуум заполнили самые высокие человеческие чувства. Мы были добры, внимательны и безгранично преданы друг другу. Разговоры теперь, в основном, были посвящены воспоминаниям. Ничего не

скрывалось. Делились самым сокровенным. Если верно, что счастье — это когда тебя понимают (есть и такое определение среди множества других), то мы были счастливы.

О том, что наступили новые времена и уже *там* начали *разбираться*, мы, по сути, ничего не знали. Но множество неуволимых мелочей и какой-то особый дух, проникавший бог весть откуда в наши камеры, порождал благодущие.

— Хлопцы! — вдруг посреди разговора вскрикивает Володя. — Хочу услышать запах жареного лука! Ничего не хочу, только понюхать! Жрать не буду, ей-богу, только нюхать! Ой, мама, до чего хочу!

Мы вполне его понимали, но никому в голову не могло прийти, что подобное может быть осуществлено. Мало ли, чего мы хотим и о чём мечтаем!

Но Володя был человеком решительных действий.

— Хлопцы, я буду жарить лук! — весело потирая руки, объявляет он.

— Люди, измерьте человеку температуру и плесните на него холодной водой! — иронизирует Кодрянский, хотя лицо его сохраняет мрачное выражение. Улыбка на его лице появляется редко.

— Вы таки с ума сошли, Болотин! В чём жарить? Не собираетесь ли вы одолжить у штурпаков примус? — потешаются вокруг.

— Ша! Всё увидите, — лукаво улыбается Володя. — Имейте терпение.

Да, на такое способен только Болотин. Он всё предусмотрел и обдумал. Вот только нарезать лук оказалось непросто. Но через короткое время все трудности преодолены. Под котелком уже пылают хлебные палочки весёлым огоньком. Слишком даже весёлым.

— Ой, братцы, горячее на исходе! Спасайте! — плачется он. — Помогите! Дайте хоть папирос! Пожалейте человека!

Володя не курит, и ему наших папирос, конечно, не жаль. Но при всём нынешнем благодущии на такую жертву мы не способны.

— Где-то я читал, что если сахар смешать с углём, то он горит, — вспоминаю я.

— Правда? — зажигается Болотин. — Чёрт с ним, с сахаром! Сейчас мы это дело проверим!

Сахара нам не жалко. Это не табак. Всё верно. Натёртые угольком куски рафинада вспыхнули синим огоньком и

вскоре опьяняющий домашний аромат врывается в наши носы.

— Кончайте с вашей кухней, Болотин, — ворчит Кодрянский. — Сейчас сюда прибежит сам начальник колонии.

Действительно, запах уже заполнил камеру и, конечно, должен был проникнуть и в коридор.

— Сейчас, сейчас, уже кончаю, — суетится Болотин, гася огонь каблуком. Он усаживается, удобно прислонясь к спинке кровати и ставит котелок себе на колени.

— Давай, братва, подходи! — призывает он. — Каждому даётся право макнуть сюда свой кусок хлеба. Я не жадный, мне абы понюхать.

Все бросаются к своим сидерам, и вот уже перед Володей — очередь. Ох, и молодец же он! Какое чудо ведь сотворил!

Мы быстро расправляемся с этим чудом и подумываем, не сотворить ли его вторично? И, надо думать, сотворили бы. Но, видимо, Кодрянский таки накаркал, и запах сделал своё дело. Гремят ключи, и в камеру входят начальник коридора с дежурным надзирателем. Они принимают и морщат носы, как кролики, получившие капустный лист. Они нюхают, а мы, наоборот, сдерживаем дыхание. Ждём, до чего они донюхаются и чем это для нас кончится. Всякого ожидали, только не того, что здесь произошло.

— Кто здесь Владимир Борисович? — глядя в бумажку, спрашивает начальник.

— Я, Кацнельсон, — поднимается с койки второй наш Володя, бывший член ЦК комсомола.

— Собирайтесь, товарищ Кацнельсон, с вещами и на выход.

— Как вы сказали? — срывающимся голосом переспрашивает Володя. — Товарищ Кацнельсон? Это я? Это вы мне?

— Вам, вам, если вы Кацнельсон, — бросает начальник на ходу и покидает камеру.

Мы, словно по команде "тревога!", сорвались с коек и бросились к Володе. Молча, потрясённые и растерянные, стоим мы перед ним. Слов не находим. И нет таких слов. Вихрем мчатся в головах мысли, колотятся взбудораженные сердца. Мы слишком взвинчены, чтобы осмыслить происшедшее. Всё заслоняет одно неохватное чувство: свершилось! Дождались! Выстояли! Словно испорченная пластинка, бесконечно звучат, повторяясь, слова: "Собирайтесь с

вещами, *товарищ* Кацнельсон!" "*Товарищ!*" Ещё, оказывается, есть такое слово. Не забыто!

Ну и жук, этот Болотин! Как он ухитряется всегда вылезать первым? Мы ещё не оправились, ещё не стряхнули с себя оцепенения, а он уже действует. Выглядит это как схватка борцов, так стискивает он Кацнельсона в мощном объятии.

— Поздравляю, тёзка! Тебе достался великий почин! — торжественно провозглашает Болотин. — Пусть тебе будет всякое добро. Пусть порадуется твоя семья, чтоб была она мне здорова. Первым из нас ты идёшь на волю. А знаешь ли ты, что тебе надо сделать прежде всего?

На Кацнельсоновском лице — вопросительный знак, и мы тоже заинтригованы. Нам это тоже небезынтересно. Надеемся, что пригодится.

— Тебе надо запомнить один адрес, — говорит Болотин посерьёзнев и без улыбки. — Улица Коминтерна, бывшая Безаковская, номер семь, квартира двенадцать. Запомнил? Дом семь, квартира двенадцать? Сразу, как поцелуешь своих Раечку и Лёню, пойдёшь туда. Голову тебе забивать не буду. Что там сказать, сам сообразишь. Лады?

Вот так. Первую делянку застолбил Болотин. А нам что осталось? Сколько адресов может запомнить Володя?

В камере есть только один карандашный огрызок, и к его владельцу — Гарину выстраивается очередь. Только бы успеть! Слава богу, папиросные мундштуки есть у каждого. Лишь бы не опоздать!

Но дверь безжалостно распахивается. Значит, не повезло. Мы рады за товарища. Но что греха таить? Радеем всей душой и завидуем так же — душой! Тут уж ничего не поделаешь.

Володя, конечно же, счастлив, но вид у него невесёлый. Виноватый вид. И я его понимаю. Даже очень понимаю. Совесть ему. Быть счастливым можно среди счастливых. А он уже не наш. Он — товарищ, а мы — граждане. Мы — на разных берегах. Нет, не так. Он — на берегу, а мы барахтаемся в мутном потоке. Можно его понять.

Хотел бы я быть на его месте? Да, хотел бы. А ещё лучше быть и на своём. Со всеми вместе. На обоих стульях. Крепко связала нас Лукьяновка.

Лязгнула дверь. Ушёл Володя. Мы расплзаемся по своим местам. Говорить не хочется. Каждый думает о своём. И только в одном мы едины. В оценке событий. Никаких сом-

нений. Дело, наконец, попало в *его* руки. Справедливые, добрые и твёрдые. Уж ОН-то не подведёт. Разберётся, раз уж взялся. Теперь недолго нам ждать.

Счастья тебе, товарищ Кацнельсон!

ГЛАВА 32

ПОСЛЕДНИЙ БАРЬЕР

Правильно сказал Болотин. Великий почин состоялся. Вызовы с вещами теперь следовали один за другим. По камерам гулял ветер свободы.

Но были и вызовы без вещей. Обыкновенные, привычные вызовы на допрос. Страшного в этом ничего не было. Там разбирались. По всем правилам, с вещами вызывали тех, чьи дела остались без приговора. Ну не сумели следователи *дожать* обвиняемого. Попросту говоря, на свободу уходили *неподписанты*. С ними при пересмотре дел трудностей не возникало. Всё было ясно. Посадили человека, а материала у следствия — нуль. Или и того меньше. А сам он, хоть его на молекулы разбирай, одно только твердит: "нет" да "нет". Что с таким делать? Одна у него дорога — на волю.

Хуже было с теми, кто в дело попал групповое. Поди теперь разберись! Негде и уколупнуть. Всё гладенько. Один завербовал, другой шпионил, третий вредил и связь поддерживал. На очной ставке — полное согласие. Всё подтверждено и подписано. Как такое распутать? Беда с такими делами!

Но и в таких скверных делах возможны, как говорится, варианты. Если все участники — налицо, так ещё полбеды. А вот если их нет? Если уже кого-то утнали или того хуже? Как и чем доказать, что всё дело — липа, от начала и до конца?

И новые следователи хватались за головы. Всё ложь, всё один сплошной кровавый бред. Только одно не ложь и не бред. Из трёх или четырёх членов "организации" налицо один. Нет этих людей. Их нет, а дело есть. Прав был тот следователь, что поучал простачка Красомского. Дело — это главное. Человек может быть или не быть, а дело состоится. Была группа и нет её. Теперь один, чудом оставшийся в живых, намертво привязанный к ней, барахтается, как зверь, угодивший в трясину.

Так или иначе, но вызванные на допрос несли в своём сердце не страх, а надежду. И надежду вполне оправданную. Допрос теперь, как та ручка в фотоаппарате, что плёнку мотает, крутит только в одну сторону. Только в одну. В сторону свободы.

Непривычно стало в камере. Каждый владел койкой единолично, и были даже свободные. Шли бесконечные переселения. Рвались старые дружеские связи и завязывались новые. И, конечно, новые друзья хотели быть рядом.

Не стало и других проблем. Еды и курева хватало. Те, что уходили, всё оставляли нам, те, кого уже трясла дорожная лихорадка, меньше всего думали о еде. Их порции доставались нам, то есть тем, кто пока лишь надеялся и ждал, но, как говорится, "не состоял и не участвовал".

Я как раз был из таких. Меня не вызывали, обо мне не вспоминали. Уж в моём-то деле разобраться ничего не стоило. А вот почему-то не разбирались.

Самые дурацкие мысли приходили в голову. Почему-то мне всё казалось, что утеряно моё дело. Могло же быть и такое! Дел-то вон сколько! На квитанциях, что приходили с переводами, стояли уже пятизначные номера! Мне даже запомнились первые три цифры моего номера: 156... Вот последних двух не помню. Но что тысяч было пятнадцать, это точно. Значит, столько и дел. Долго ли утерять сотню-другую?

Отыскался след Тарасов. Никуда моё дело не утерялось. Настал и мой день. Скверный день. Очень скверный. Самый, пожалуй, скверный из всех. Был день, отнявший у меня свободу. Он тоже был не из лучших. Теперь настал тот, что вернул мне её. Но я бы никому такого не пожелал. Дорого мне досталась свобода. Впрочем, я не жалею. Ни о чём не жалею.

Началось всё, как всегда и у всех. Хорошо началось. Вызвали с вещами, дали время на сборы, дали попрощаться. Теперь всё делалось без суеты. Готовились мы уже заранее и опыт накопили, глядя на других. Пораждал я всё, что имел. И хлеб, и сахар, и всё прочее. Только папирос себе немного на дорогу оставил. Мало ли что! В общем, отдал я все концы, какие были, и с грудью, готовой лопнуть от напора самых разных но, в основном, хороших чувств, вышел в коридор. Так вышел, как никогда прежде. Рука в кармане, голова поднята, глаза — вперёд, а в теле — такая лёгкость, что

впору взлететь. Не иду, лечу. Лечу за надзирателем в неведомые края. Не он за мной, а я за ним. Это тоже чего-то стоит, кто понимает. Вот так и идём. Куда, не знаю. Никогда там не был и быть не мог. Место такое, что нашему брату тут делать нечего. В контору меня приводят. Есть, оказывается, в тюрьме и контора. Такая себе обыкновенная, задрипанная канцелярия. Мебелишка дрянненькая, стены обшарпанные и люди такие. Тусклые, чахлые, серые, как приютские воспитанники. Один такой "воспитанник", в классических, чёрных нарукавниках, всем распоряжается. Для чего эти нарукавники, не поймёшь. Пиджачишко на нём давно в утиль просится.

Спросил он у меня фамилию и стал рыться в своих книгах. А их в шкафах, как в публичной библиотеке. Ну, думаю, чёрта с два он меня там найдёт. На день тут работы, не меньше. Ан, нет. Нашёл. Знает своё дело.

Переспросил ещё раз фамилию и что-то стал писать. Меня всё это мало интересует. Я — как воздушный шарик на ниточке. Отпустит ниточка, он и взлетит. Знаю, что одна у меня теперь дорога: на свободу. Некуда больше.

— Зайдите сюда, за загородку, — приглашает тот, что в нарукавниках, — вот здесь распишитесь.

Захожу и расписываюсь. В чём расписываюсь, не знаю. Да мне это всё равно. Значит, такой порядок, когда отпускают. Не протокол допроса подписываю.

Ах, вот он что, денежки мне выдают! У меня ведь счёт солидный. Сбережения, так сказать. Это хорошо. Даже очень хорошо. Теперь, надеюсь, буду расплачиваться наличными.

Моё тело погружается в счастье, как Архимед — в свою ванну. И вес я теряю по его закону. Боже, до чего мне хорошо! Словами такое не выразишь. Богат, конечно, наш язык и могуч, но не для такого случая. Не слова здесь нужны. Одна только музыка. Да и музыка особая.

Воля! Воля! Воля! Сейчас выйду отсюда и могу всё! Всё! Куда хочу и с кем хочу. Домой, к друзьям, к девчонкам, на Крещатик! Господи, удержи меня на родной земле или я сейчас поднимусь к тебе в заоблачные дали! Дай мне силы! Я ведь столько вынес, столько терпел, что теперь я изнемогаю от счастья! Дай же мне силы вынести и это!

Выдали мне деньги. Вот они, у меня в руке. Обыкновенные, казалось бы, десятки и пятёрки. Но для меня это не

просто деньги. Символ! Овеществлённая независимость. Пропуск в прекрасное прошлое.

Меня ведут на "вокзал". Он пуст, как школьный класс в воскресный день. Ни души! А жаль. Счастье — нелёгкий груз. В одиночку с ним не так-то и просто. Хорошо бы хоть часть на кого-нибудь переложить! А не на кого. И деньги хочется показать. Да некому. А до чего же хочется!

Уж если не везёт, так не везёт. Воронок так же пуст, как и "вокзал". Высокая честь оказана мне. Один в четырёх каретах! Гордей Торцов только грозился, а я вот еду! И вся команда тоже для меня одного.

Ох, какой же длинной кажется мне дорога! Всё тело зудит. Снаружи и внутри. Не пойму даже где. А в голове, словно пульс, бьётся: "воля!", "воля!" И нет сил вынести эти зуд и биение. Воля, воля!

Насчёт сил это я так, к слову. На то, чтобы до тюремных ворот доползти, сил хватит. Даже если их и нет. А пока что иду знакомой дорогой. Не просто знакомой, а прямо-таки родной, потому что ведут меня в кабинет следователя. В тот самый, в первый. С которого всё начинал в далёкий июньский день.

И ведь какая странная вещь получается. Казалось бы, перед этой дверью должен я содрогнуться, затрепетать былым трепетом, былым страхом. Так нет же. Ни трепета, ни страха не испытываю. Напротив. Какое-то ностальгическое томление ползёт по закоулкам души. Чёрт знает, что! Смотрю на эту дверь, как на родной дом после долгой разлуки. И такая, оказывается, бывает ностальгия.

А в доме, между прочим, ничего не изменилось. Тот же стол, тот же шкаф, с той же самой проклятой лампой и мой гарнитурчик у стены на прежнем месте. И, что самое удивительное, так и хозяин тот же. В полной форме и со знакомой мерзкой усмешечкой, меня встречает Меерзон.

— А-а, студент! Ну вот и встретились! Заходи, заходи, присаживайся. — Он суетливо потирает руки, щедро обнажает зубы и щурится. Изучает.

— О, да ты совсем как Марл Какс! — восклицает он и вдруг меняется в лице. Улыбка сбегает с него. Он даже побледнел. — Ты что? — растерянно шепчет следователь. — Я про бороду твою...

— Я так и понял, товарищ следователь, — говорю я и замираю.

Меерзон остолбенело смотрит на меня. Долго и настороженно. Наконец встряхивается, как собака после купания, и идёт к своему месту.

Промолчал! Прошёл мой "товарищ"! А он, "товарищ", мне — как библейский голубь, которого наш прародитель в разведку посылал.

— Да ты садись, вот сюда, — указывает он на стул, потому что я по привычке иду к моему столику. — Садись, побеседуем. — он с опаской поглядывает на меня. Никак не может оправиться — ждёт моей реакции на "Марла Какса". А что? Мог бы быть в моих руках. Но не те у меня руки. А будь те, то вполне. На таком деле можно и погореть. Это же надо! Марл Какс! Готовая 54, п. 10!

— Ты с сидером? Собрался куда или у вас в Лукьяновке новая мода такая — на допрос с сидерами ездить? — Он уже порозовел и обрёл всегдашнюю уверенность. Понимает, что меня ему опасаться не приходится. "Куда собрался"... Будто не он меня сюда вызывал. И какое право он имеет насмехаться? Ведь я вроде уже не гражданин, не враг народа, а *товарищ*.

Моё возмущение справедливо, но цена ему — грош. Порченный я. Все мы порченные. Как дремлющий очаг инфекции, навеки поселился в нас страх. Страх и неистребимое сознание своей бесправности.

Ведь ясно же, что приготовили меня к освобождению. С тюрьмой рассчитали, деньги выдали, с вещами привезли, да ещё — "голубь", которого я так благополучно запустил. Если следовательно — товарищ, значит, и я ведь тоже!

Всё так, а стоило следователю одно недоброе слово сказать, и всё. А что если это ошибка? Вызвали на допрос, а в тюрьме что-то напутали? Господи, неужели зря я так возрадовался? Как же мне теперь назад, когда я уже весь — на свободе, дома? И телом, и духом. Нет, нет, не должно этого быть! Слишком было бы жестоко и несправедливо.

— Ты что такой неразговорчивый? Не домой ли собрался, с сидером? Рановато, зря торопишься. Можешь просчитаться. У нас, сам знаешь, учреждение серьёзное. — Он говорит всё это, не глядя на меня. Будто сам с собой.

— Я тут дело твоё смотрел, — произносит следователь и раскрывает знакомую папку. — Не много сумели мои товарищи из тебя выжать. Мы бы с тобой сработали лучше. Нет, скажешь?

Я продолжал молчать, всё ждал, что он снова улыбнётся и заговорит по-человечески. Но лицо его оставалось неподвижным, а глаза излучали пронизывающий холод, как в первые дни нашего знакомства. Этот холод пробирает меня до костей.

Я молчу, но злость во мне уже поднимает голову. Какого чёрта мы играем в прятки? Чего я боюсь? Что будет хуже? Не будет!

— Я вот что хочу вам сказать, гражданин следователь, — говорю я с предательской дрожью в голосе, — мне выдали деньги и привезли сюда с вещами. Если это недоразумение, то отправьте меня назад в камеру. Если вызвали на допрос, то ведите допрос. Не надо меня пугать. Уже пугали.

— Ишь, как ты заговорил! С каких пор ты такой храбрый? — Он забрасывает обе руки за спинку стула и вперяет в меня свой наглый насмешливый взгляд. — Ладно, не надо нервничать. Так, говоришь, на волю тебя собрали? Что ж, это неплохо. И кто тебя там ждёт, на воле? Девчонка? — Он скалит зубы и по-дурацки гогочет. А у меня всё кипит внутри. Но он вдруг снова меняется в лице. Оно у него теперь строгое и деловое.

— А что, если я и в самом деле тебя отпущу? Опять за старое возьмёшься? Клеветать на Органы и шуры-муры с зарубежными врагами?

Я смотрю на него, слушаю и еле сдерживаю слёзы. Стыдно сознаться, но они уже у самых ресниц. Обыкновенные ребячьи слёзы. И горло сдавлено, как нога в тесном сапоге. Был бы один, разреvelся бы, как в далёком детстве. Какой же он всё-таки гад, Меерзон!

— Вы же знаете, гражданин следователь, — хриплым шёпотом говорю я, боясь расплескать слёзы, — что ничего этого не было. Прошу вас, отправьте меня назад в камеру.

По совести говоря, про камеру я с сугубо провокационной целью. Вопреки всему, сидит во мне где-то уверенность, что в Лукьяновку уже не вернусь. Как ни крути, а вещи и деньги при мне.

— Значит, хочешь в камеру? Очень хочешь? Пусть потвоему. — Рука его тянется к телефону. — Сорок, уведите заключённого, — бросает он в трубку.

Вот и всё. Вот тебе вещи и деньги. Не судьба, значит. "Уведите". А куда? Назад в Лукьяновку? Как же всё-таки могло такое случиться? Ведь скомандовал кто-то, чтобы меня рассчитать?

За мной уже пришли. Меерзон уставился в бумаги. Вроде меня и не видит. Да, сюда я шёл не так. Иду теперь как положено, только руки за спину заложить не могу. Сидер мешает. И одна у меня мечта: в камеру бы поскорей. Из всех казней самая страшная — одиночество. Скорей бы уж на нашу с Володей койку, скорей бы увидеться с упрямым Кодряньским и с Женькой!

Но не в тюрьму лежит моя дорога. Ещё поворот, ещё этаж, и я уже в будке на "междугородке". Замкнулся круг. Здесь начинал, сюда вернулся.

В будке темно и тепло. Усаживаюсь на табурет, и такое меня охватывает спокойствие, такое ко всему на свете безразличие, что, объяви они мне "Ты свободен!", с места не сдвинусь. Ничего не хочу! Ничего! Ни на свободу, ни в камеру.

А время бежит. По всем признакам, дело идёт к вечеру. Чувствую я себя так, как мог бы себя чувствовать сноп, измолоченный цепями. Всё тело болит. Я уже и сидел, и стоял, и лежал. Лежал, это громко сказано. Какое может быть лежание, если всего площади — один квадратный метр? Просто как-то боком упирался, не стоял и не сидел. Как это назвать? В общем, сноп, и этим всё сказано, так что, когда открывается дверь и называется моё имя, мне уже безразлично, куда и зачем меня ведут.

Не ведут меня, а везут. Едем в Лукьяновку. Уж эту дорогу я знаю, хоть в воронке темно, как на дне морском.

Вокзал снова пуст, но теперь я этому рад. Кроме скамьи, на которой я могу наконец вытянуться, меня ничто не интересует.

Поднимает меня наш начальник коридора. Он входит и молча стоит в дверях.

— Почему не ведут в камеру, гражданин начальник? Я ведь не ел с вчера! — наступаю я на него. Но он продолжает молчать.

— О чём с вами говорил следователь? — вдруг спрашивает начальник. — Почему вас вернули сюда?

Любопытный вопрос задаёт начальник. Значит, и ему непонятно, что происходит. Ведь проводил он меня, снял с доверья, сдал, а теперь — на тебе — явился снова! Что же ему ответить?

— Следователь? Сам не пойму, — пожимаю я плечами, стараясь выглядеть простачком. — О свободе говорил. Спра-

шивал о доме, о том, что делать буду, когда выйду. — Вот так я ему. Не если, а *когда* выйду.

— Хрен их знает! Путают что-то, сами не знают. Морочат людям голову. — С минуту он ещё стоит, задумчиво разглядывая свои сапоги и решительно направляется к двери.

Ну, а у меня в голове снова постукивает. Не грохочет, как утром, дух уже не тот, но стучит: "воля!", "воля!" А начальника всё нет. Висит, наверное, на телефоне. Он ведь не знает, что со мной делать. Я же "списанный", а такого в камеру уже нельзя. Непорядок. И как я забыл про еду спросить! Теперь придётся терпеть до утра!

Я снова укладываюсь на лавку, устраиваюсь поудобнее. Только было закрыл глаза, так нет же.

— Собирайтесь! Зовут туда, пропади оно всё пропадом! — с порога кричит начальник.

На сторонний взгляд, так, не стоило тратить столько слов на описание этого дня. Ничего, казалось бы, необыкновенного тогда не произошло.

На сторонний взгляд, всё было незначительно и буднично. О чём ведь речь? Ну, поехал, приехал. Ну, поголодал, поскучал, потосковал. Ну, перекинулся парой слов со следователем. Обыкновенных парой слов. Ничего в них примечательного не было.

Но это на сторонний. Не на мой. А для меня он как Судный, этот день. У самого края бытия. День великого испытания.

Итак, снова я в будке. Теперь уже сидеть мне в ней всю ночь, да ещё подтянув живот.

Так и просидел. Остался позади и этот день. Бесконечно длинный, как смола, тягучий, чёрный день.

И снова кажется, что обо мне забыли. Ничему опыт не учит. Знаю, что здесь ничего не забывают. Слышу, как сменяется караул, значит, кончился день. Сидеть мне теперь до утра.

Тысячу раз прокрутил я в голове события последних часов. Ничего не смог понять. Для чего меня здесь держат, чего добиваются? Одно только решил твёрдо. Если опять к Меерзону, то никаких уступок. Сразу в наступление. Криком буду кричать. Так, мол, и так, хватит играть! Меня выписали, и я теперь свободный человек! Пусть отпускают, нет у меня с ними никаких дел. Вот так и только так! Лишь бы сил хватило!

Но, когда через какое-то время — какое, не знаю, я не только счёт часам, разум уже потерял — попадаю к следователю, все мои решения летят к чертям.

— Ты ещё здесь? — с глумливым изумлением вскидывает он брови. — Я уж думал, ты давно по Крещатику шатаешься! Ну-ну, не психуй! — вскидывает он руку, словно обороняясь. Понял по лицу, что со мной делается.

— Сегодня всё кончим. Сиди, не дёргайся, — примирительно говорит он. — Пойдёшь на волю. Грехи за тобой, конечно, имеются, но парень ты, в общем, неплохой, — голос звучит дружески. А я и слышу и не слышу. Ничего не сообщаю. Не доходят его слова до моего сознания. Совсем обалдел. — Наш парень, советский, — доносится до меня. — Надеюсь, кое-что ты здесь понял? Видел, сколько врагов у нашего государства? Рук и глаз не хватает всю нечисть к рукам прибрать! — Следователь делает паузу и выжидающе посматривает на меня. А я — молчу. Зубы сцепил и молчу. Злость душит, а голова не варит. И хватает же наглости! Мне, проводшему больше полугода среди этих "врагов", такое плести! Но я — ни звука. Пусть болтает. Главное я слышал: иду на волю. Враги не враги, сам разберусь. А следователь всё говорит, говорит, сыплются его слова назойливо, как стрекотанье швейной машинки.

— Так вот, повторяю, решили мы, что здесь держать тебя не стоит. Пойдёшь на свободу. Жизнь у нас тут не сладкая, но и не совсем бесполезная. Врагов наших ты теперь повидал. Познакомился самолично.

Для чего он это говорит, осмыслить не могу. Но чувство у меня такое, что болтает он не зря. За многословием этим у него есть цель.

— Врага теперь, думаю, за версту почуешь. Верно говорю? — Он угодливо заглядывает мне в глаза и улыбается. Но я — ни звука.

— Что же ты, верно я говорю? Сумеешь врага распознать? — Он уже не улыбается. Вмиг лицо его изменилось. Это не болтовня. Мне задан вопрос, и надо отвечать. Я почувствовал, как вдруг изменилась атмосфера. Шутки кончились.

— Врага, — говорю я с нажимом, — врага распознаю, если, конечно, встречу.

— Вот я ж и говорю, что кой-чему ты у нас научился. Значит, распознаешь врага? Ну, а дальше что? Делать что будешь, конфетку дашь, по головке погладишь? — Он опять

смеётся своим противным, булькающим смехом. — Так, как? Гладить будешь или сообщишь нам?

— Если встречу и буду уверен, что действительно враг, то уж найду, что делать. — Я говорю совершенно искренне. Но — не знаю, откуда, — у меня такое чувство, что ведёт следователь какую-то игру. Весь наш разговор кажется мне каким-то нечистым. Говорим одно, а думаем другое. По крайней мере, он так. А я искренен. Враги мне здесь не попадались. Но встретить я настоящего шпиона или диверсанта, то мимо бы не прошёл. На том мы все стояли тогда. Даже втайне мечтали встретить, распознать, разоблачить и лично участвовать. Таким нам героизм представлялся в те подлые годы.

— Правильно говоришь! — одобрительно кивает головой следователь.

— Значит, не ошиблись мы, можно тебе верить. Я так полковнику и сказал, когда он засомневался. Поручился за тебя. Что ж, собирайся, можешь считать себя свободным. Вот обрадуются твои старики! У тебя кто, отец, мать?

И куда только подевались голод и сонливость?

Странно всё-таки у меня получается. Жизнь прожил, и никто дураком не считал. А вот сейчас пишу и диву даюсь. Ну точно я как тот петушок, которого лиса на горошку выманивала. Уж столько раз обжигался, а всё не впрок. Одно доброе слово, и я готов. Такое простодушие, такая щенячья доверчивость! Это про меня сказано, что простота хуже воровства.

Слушаю Меерзона и обо всём забываю. Даже правило наше золотое. *Верю* следователю, вопреки всему. Стыдно вспомнить, как я тогда слюни распустил.

— И отец, и мать. Конечно, обрадуются! — Захлёбываюсь я своей радостью. — Они ведь меня не ждут, думают, что со мной так же будет, как с братом.

— Вот и прекрасно. Сейчас и пойдёшь! — Следователь на миг задумывается, но я ловлю его косой, блудливый взгляд. Значит, ломает комедию. А чего ради?

— Стой-ка, вот мы так с тобой. Как ты сказал? Увидишь врага и нам сообщишь?

— Ну, так, — говорю. Я уже поднялся и сидер ухватил поудобнее. Зуд нетерпения снова терзает меня, но я всё же решил уточнить. — Если буду уверен, то так и сделаю. А куда сообщать?

— Куда, я тебе сейчас скажу. А ещё лучше, если ты запишешь. — Меерзон достаёт лист бумаги и перо. Он даже обмакивает его в чернильницу и вроде бы задумывается, а по глазам вижу, что игра продолжается. — Нет, мы сделаем иначе. Садись! — Он встаёт и освобождает мне место.

— Что же писать?

— Я всё скажу. Бери ручку и пиши. — Я сижу, а он стоит за моей спиной, и я чувствую на затылке его дыхание. Не нравится мне вся эта возня. — Пиши, пиши, — командует он, и мне кажется, что вернулось старое, когда я сидел там, у двери. — Я, такой-то и такой-то, имя, фамилию свою поставь, выходя на волю, обязуюсь, встретившись с лицами, действия которых направлены против советского государства, информировать...

Не знаю, с чем сравнить то, что я испытал, когда прозвучало это слово. В бытность мою техником трамвайного депо, случалось, бил меня ток. 550 вольт. Вот разве что с этим. Перо выпало из моих рук. Жар, холод, озноб — всё сразу прокатилось по всем членам. Какое страшное слово произнёс этот человек! *Информировать!* Вот для чего была вся его болтовня и все фокусы, которые он тут проделывал! *Информировать!*

— Ты чего, чудак, перепугался? — деланно хохочет он, мгновенно и верно оценив моё состояние. — Тебе так не нравится? Ты же сам всё сказал! Я ничего от себя не прибавил! Хочешь иначе, пиши, как знаешь. Уточняю. Ты говорил, что если встретишь врага, то сообщишь нам? Говорил. А я тебе что продиктовал?

— Да, говорил, но... информировать, — лепечу я, клацая зубами и обливаясь душным потом.

— Не нравится слово, — перебивает он меня, — пиши другое. Хер с тобой, пиши, как знаешь, — дёргается следователь. — Что сказал, то и пиши. Грамотный. Ишь, перепугался! А говоришь, что уже пуганный!

Действительно, что я привязался к слову? Сам же обещал в случае чего сообщить куда следует. Так и есть. Не стану я молчать, покрывать диверсанта или вредителя! Нет, всё верно.

— Ну что, будем писать?

— Буду, сейчас напишу. — Я пришёл в себя. В конце концов, я от своих слов не отказываюсь. То, что мне продиктовал Меерзон, в общем, верно. Если бы не это — "ин-

формировать"! Скверное слово. Пусть только без него, а со всем прочим я согласен.

А следовательно все мысли читает, прямо с извилин моих текст снимает.

— Слова сам подбирай. Пиши, как нравится. Суть важна: встретишь врага — сообщишь.

Что ж, против такого и возразить нечего. Я уже полностью успокоился. Даже вроде подсох. Вот только уши горят. Терпеть этого не могу.

Беру перо, обмакиваю. Меерзон подсовывает чистый лист. Пишу всё сначала: "Я, такой-то, обещаю в случае, если встречу с действиями, направленными против интересов советского государства, сообщить о них органам НКВД. — Ставлю подпись и протягиваю лист следователю. Он читает, хмурится и швыряет его мне в лицо.

— Херню пишешь. Что значит — "если встречу"? И как понимать это — "сообщить"? Ты видел, сколько у нас врагов? "Если встречу", — передразнивает он. — Обязательно встретишь! Не можешь не встретить! И не *сообщить*, а *сообщать*! Чувствуешь разницу? Всегда сообщать! Советский ты человек или нет? Если нет, так сиди здесь, падло, нечего тебе на воле делать! А если советский, то так и действуй: постоянно *сообщать* о любых, противных нашему государству действиях! Понял? Всегда быть настороже и сообщать! Вот так и пиши. — Теперь голос его сух, и каждое слово, как шелчок ружейного затвора. — Собрался на волю, а сам тянешь резину. Может, ты передумал насчёт дома? Нет? Ну если не передумал, так давай пиши! "Я, такой-то и такой-то, выходя из заключения, — диктует следователь тем же грозным тоном, — обязуюсь сообщать органам НКВД о всех враждебных действиях..."

Я бросаю перо, сминаю лист и рву его. Руки мои дрожат, и тело содрогается в ознобе. Слава тебе, Господи! Успел всё-таки. Хоть и у самого края, но успел. Надо же быть таким идиотом! Затмение какое-то на меня нашло, совсем разума лишился! Из-за слов торгуюсь — "сообщить - сообщать", "обещаю-обязуюсь", "информировать"! Чего стоят слова? Ведь не в словах дело! Час битый морочит меня следователь. К чему эти слова, когда смысл всего, что здесь происходит, — один: *в стукачи меня вербуют!* Волей манят и вербуют! Вопрос, значит, стоит так. Давай в стукачи и валяй на все четыре стороны. Не хочешь, сиди здесь и жри баланду.

Теперь мне всё понятно. И для чего манежат здесь, и зачем гоняют туда-сюда вторые сутки без сна, и голодом зачем морят. Так, меня к этому часу готовили. Чтоб уже сил у меня не стало брыкаться.

— Ты чего так распахивался? — свирепеет следователь. — Совсем сдурил, студент недоделанный?

— Не буду ничего писать! Ничего! Ни сам, ни под вашу диктовку! Не буду! Не буду! — кричу я, не владея собой. Наверно, так начинается истерический припадок. Ну и пусть! Пусть, пусть видит! — Не буду писать! Не буду! Оставьте меня! Ничего пи... — Следователь бросается ко мне и зажимает мне рот. Его руки пахнут дешёвым мылом.

— Заткни хайло, щенок паршивый! — шипит он, стискивая мне щёки и губы. — Чего разорался?

— Ничего не буду писать, — шепчу я, когда он освобождает мой рот. — Отпустите меня. Я всё равно ничего не напишу!

Таким я ещё моего следователя не видел. Казалось, он тоже на грани припадка, до того обескровилось его лицо. Глаза выпучились, и в углах рта запузырилась пена, как было у нашего эпилептика Цебенко.

— Поздно! Поздно хватился, недоумок блядский! — орёт он, задыхаясь от ярости и стучит кулаком по столу. — Нет тебе хода назад! Поздно! Мы с тобой не в цурки-палки играем! Или забыл, где находишься? Понимаешь ты, дурья голова, что тебе теперь государственная тайна известна? Что мне с тобой делать, куда девать? Один выход — упрятать тебя так, что сам Бог тебе уже не поможет. Сгною заживо, ити твою мать! Шлёпнуть тебя, суку, надо! На свободу захотел! Не хочешь, не пиши. Ещё у меня проситься будешь, фраер зачуханный!

Следователь хватает трубку так, словно вызывает "скорую" или пожарную команду.

— Сорок! — рычит он. — Сорок! Уведите! Стань туда, к двери! — Это уже мне.

А у меня голова идёт кругом. Всё плывёт перед глазами, как тогда, в кабинете начальника ИТК. Конвоир уже в дверях.

— Пока я ещё здесь, можешь подумать! — кричит мне Меерзон вслед, но я не оборачиваюсь.

Теперь я даже рад, что снова в будке. "Можешь подумать!" Легко сказать! Да я дышать не могу, жить не могу! Думать! О чём мне думать? О будущем? Нет его у меня, бу-

душего. Одно прошлое осталось, и оно мне кажется сном. И не очень даже плохим сном. Камера, товарищи, баня, лавочка. Не понимал я, как было тогда хорошо. А главное, была надежда! Вон сколько уже после Кацнельсона народа ушло от нас. И я был у самого порога. Вот и деньги здесь. И сидер рядом. Теперь всё это ни к чему. Да и жизнь тоже.

Меерзон меня, конечно, пугал, очень ему хотелось, чтобы я эту подлую бумагу написал. Но про место, куда меня могут упрятать, думаю, что не врал. Здесь точно в цурки-палки не играют. Так уже получилось, что узнал я то, чего никто знать не должен. Куда им теперь меня девать? Вполне могут на долгие годы захоронить в какой-нибудь дальней тюрьме или ещё где-нибудь и похуже. Так и просижу всю жизнь, как Железная маска.

Чем больше думаю, тем страшнее. И за что мне такое? Сколько товарищей моих на свободе! Иные ухитрились уже привет нам передать. Почему они меня выбрали? Чем я лучше или хуже других? На допросах был сговорчив? Так нет же! Уж во всяком случае не более многих оказался.

А что если написать ему эту бумагу? Что в ней такого особенного, в конце концов? Ну, напишу, что дам знать о враге, если встречу. Но могу же и не встретить! До сих пор ведь не встречал! А не встречу, так и сообщать не придётся. Вот не буду сообщать, что они мне сделают? Не встретились мне ни шпионы, ни вредители. Кто докажет, что я их скрыл?

Не знаю, чего я так раскис. Надо решать, пока не поздно. О жизни и смерти речь идёт. Он, конечно, ждёт, Меерзон, но не бесконечно. Пока ещё есть время, надо постучать, пусть отведут к следователю. Напишу эту бумагу. Пусть подавится ею, а меня — домой! К обеду как раз и поспею. А вечером — к ребятам моим. Очень по ним соскучился. Всю компанию соберу.

А дома! Уж и не придумают, где меня посадить, чем накормить-напоить, где уложить. Но первым делом — ванна! Одну всё чистое, глаженое, усядусь в бабушкино кресло и...

Я окунаюсь в эти сладкие мечты, окутанный блаженным теплом от головы до самых пяток. Но длится моё блаженство недолго. Тепло внезапно сменяется обжигающим холодом. Бумага! Всё, о чём размышлялся, возможно. Всё так и будет... если подписать эту гнусную бумажонку. Всё будет. И товарищи, и бабушкино кресло. И буду я, сидя в нём, рассказывать обо всём, что видел, слышал, пережил. Всё им по-

ведаю. Всё, что накопилось, выложу... кроме одного. Никогда и никому не смогу раскрыть моей тайны. Незачем себя обманывать. Если следователь с таким упорством добивается этой бумаги, значит, она им нужна. Они-то знают, что с ней делать. Вызовут и скажут, к примеру: нам, мол, стало известно, что твои друзья ведут антисоветские разговоры, анекдоты про наших руководителей рассказывают. Ты про обязательство своё не забыл? Если забыл, то напомним, а если не забыл, так действуй. Что тогда? Куда деваться? Ребятам сказать, так ведь дойдёт до *них*! Рано или поздно дознаются, а со мной расправятся и правы будут. Нечего и нашим, и вашим.

Мысли — одна страшнее другой. Голова раскалывается. И в камеру уже не хочется. С кем могу я своей бедой поделиться? И что мне можно посоветовать? Снова старая, знакомая история. Одни скажут: "Подпиши, пожалей себя!" Другие: "Стой насмерть! Не губи душу!" Кого слушать? А вообще пустой это разговор. Никаких советов не будет. Нельзя мне о разговоре со следователем никому рассказывать. Мало ли, а вдруг в камере стукач? Кому-то, как мне предложили, а он согласился? Я не первый и не последний. Вот такой стукнет, и всё. Тогда уже точно конец. Не пощадят. А жить так хочется! Неужто загублю свою жизнь в самом начале?

Может, всё-таки подписать? Стукачи... они же как-то живут! Работают, едят, пьют, любят... всё у них, как у людей. Вон сколько провокаторов знает история русской революции! Легион! К тому же, были они истинными врагами своего народа. Ненавистному режиму царскому служили. А наши стукачи, выходит, и не враги вовсе! Друзья они наши, родную советскую власть оберегают! Вот оно как получается! А я, если помогать нашим энкаведешникам отказываюсь, уже не друг народу, а совсем наоборот. Чертовщина какая-то! Я же, по совести говоря, всей душой за нашу советскую власть! Что же это со мной происходит? И до какой чуши можно додуматься с отчаяния!

Бред это всё. Самый что ни на есть собачий бред! Стукач он всегда подлец, какая бы ни была власть! Хоть советская, хоть какая другая. Как жить, сознавая, что ты свой народ предаёшь?

Не буду я ничего подписывать. Главное — моя совесть. Одно только может быть решение. Пусть сгноят, пусть ог-

нём жгут. Так меня и отец учил: делай, как велит тебе совесть, и будь что будет. Всё. Никаких подписей!

Решил и успокоился. Даже о желудке вспомнил, так под ложечкой защемило. Да и в туалет не помешало бы.

Только наладился посигналить, как дверь — по щучьему велению!

— Давай, выходи! — Надзиратель уже другой, значит, вечер наступил. В будке не узнаешь. Здесь всегда вечер.

Меерзон смотрит на меня исподлобья. Взгляд у него недобрый. Сучит губами, не то жуёт, не то просто так. Нервничает.

— Ну так как, надумал?

— Я ничего писать не буду, — говорю и ставлю на пол свой сидер.

— Ты хорошо подумал? Не пожалеешь? Назад проситься не будешь?

— Писать ничего не буду, — повторяю я, глядя в пол.

— Что ты, твою мать, заладил! Не буду, не буду! Я тебе последний шанс даю... — он собирается продолжать, но телефон прерывает его. — Я. Слушаю тебя, — по лицу его разливается милая улыбка. — Ну, ну, давай в двух словах. Так, так. Ага, молодец. Нет, по телефону не стоит. Приходи, пропуск закажу. А твои дела как? Порядок? Мы друзей наших не забываем. — Он искоса поглядывает на меня и подмигивает. Слушай, мол, и мотай на ус. — Ну, ну, приходи, потолкуем. Вот видишь, — обращается он ко мне, — твой, так сказать, коллега, только поумнее тебя. Он нам помогает, мы ему.

— Что значит — "коллега"? Студент?

— Студент, студент, из твоего университета. Не помог бы я ему, не видать хлопцу университета, как своих ушей. А вот... он нам услугу, и мы в долгу не остались. Учится.

— Вы ему тоже давали подписать? Значит, он у вас работает? Информатором?

— Ну ты скажешь! Работает! Такое заслужить надо. Просто помогает, как и должен каждый честный советский человек. И где ты слово такое подобрал? Информатор! Помощник он наш. У нас таких много — добровольцев.

— В университете много?

— И в университете, и в других местах. А ты как думал? Народ с нами! — Взгляд его выражает одновременно торжество и пренебрежение. Вот, мол, каков ты. Не с народом. — А с тобой, значит, будем кончать. Сволочью ты сюда при-

шёл, сволочью и остался. Теперь просись, не доверю. Не нужны нам такие. Иди сюда!

Я с опаской, медленно иду к столу. От Меерзона всего можно ожидать.

— Держи, — бросает он мне лист с печатным текстом, — читай, потом подпишешь.

— Я же сказал, ничего подписывать не буду, — говорю и весь сжимаюсь.

Ух, что с Меерзоном сделалось! Побагровел, ногами затопал, руками замахал.

— Подписывай, сволочь, мать твою... Подписывай, падло! — истошно вопит он, — подписывай и катись отсюда, гад недобитый, мать твою... Бери, читай!

Осторожно протягиваю руку к бумаге. Читаю: "Я, — следует моё имя, вписанное каллиграфическим почерком, — будучи освобождён из заключения в связи с прекращением дела, настоящим обязуюсь не разглашать ничего из моего разговора со следователем — капитаном Меерзоном, а также хранить в тайне всё виденное и слышанное в местах заключения. Нарушение обязательства карается по статье... как разглашение тайны и нанесение ущерба советскому государству".

За точность не ручаюсь. Но смысл верен.

Дважды прочёл я бумагу. Но ничего подозрительного не нашёл. Можно и подписать. В особенности первую часть. Что до второй, то я ещё подумаю. Не смогу я молчать.

Следователь берёт из моих рук бумагу, рассматривает подпись, потом меня и снова подпись. Он тоже, кажется, опасается подвоха. Всё ещё уставясь в бумагу, нащупывает трубку.

— Сорок. Да, ко мне! Сидер, вижу, с тобой, — спокойно, по-деловому обращается он ко мне, будто не бесновался минуту назад. — Деньги получил? Так, значит, рассчитался. Ну, вали отсюда. Что подписал, не забыл? Смотри!

— Постараюсь! — бодро киваю я и в который раз подхватываю сидер.

Меерзон что-то шёпотом втолковывает конвойному, но я не очень прислушиваюсь. Делаю вид, что мне это неинтересно. Да так оно и есть. Мне Меерзоновского "вали!" вполне достаточно. Окидываю взглядом кабинет. Надеюсь, в последний раз.

Иду с конвоиром. Не впереди. Рядом иду. Я теперь свободный человек. Как хочу, так и иду. Конвойный не возражает. Значит, всё правильно.

Идём к выходу, пересекаем двор, и вот мы уже у ворот. Из будки выходит постовой. Мой провожатый вручает ему какую-то бумагу и что-то говорит. Бренчит запор, и ворота приоткрываются. Чуть-чуть. Я протискиваюсь в щель, спытыкаюсь о порог и, едва удержавшись на ногах, вываливаюсь на "вольную" сторону. Символично! Уж и не скажешь, что вырвался на свободу — не вырвался, а вылез через шелку. Не так я себе этот миг представлял. Впрочем, не всё ли равно? Воля есть воля, как в неё ни попади. Я — вот так. Коленкой под зад. И, хоть уже на свободе, а на душе скверно. Нет, чтобы извиниться, сказать пару добрых слов...

На дворе темно. Лениво кружатся чахлые снежинки. Тускло горят фонари. На улице пусто. Не слишком любит народ в этих местах разгуливать. А уж если приходится, то норовит прошмыгнуть поживее. Но я не тороплюсь. Все грозные учреждения мне теперь не страшны. Я, подобно перенесшему инфекционное заболевание, приобрёл иммунитет. Второй раз уже не заболею. По крайней мере, не сейчас.

Я сказал, что не тороплюсь. И верно. Не спешу. Там, в тюрьме, мне, да и всем нам казалось, что задохнёмся мы от радости, выйдя на волю, что бросимся немедленно исполнять свои желания, так долго подавляемые.

Ничего такого я не испытывал. Не было у меня желаний. Никаких. Я шёл по бульвару, по-зимнему унылому, шёл опустошённый и бесконечно равнодушный. Ко всему. Возле ларька, что на углу Институтской, я всё же остановился. Мне ничего тут не нужно, но я так долго был лишён этой маленькой, жалкой радости: выбрать, купить, заплатить наличными! Как мы мечтали дожить до этого дня! С каким упоением говорили, давясь своей слюной, что будем есть, пить и как наслаждаться!

И вот сбылась мечта. Всё теперь в моих руках, но не хочется мне ни есть, ни пить, ни даже закурить настоящую толстую папиросу. До чего же обидно!

Но всё же что-нибудь надо купить. Долг свой я обязан выполнить.

Разглядываю жалкий набор товаров. Какие-то дрянненькие конфетки, дешёвенькое печенье, выложенное вперемешку с крошками на тарелку, папирасы. Нет, не прельщает меня здесь ничего.

Купить папиросы я просто заставляю себя. И то больше ради коробки. Давненько в руках не держал. Закуриваю, но без всякого удовольствия. Привык к дешёвому крепкому табаку. А эта "Наша марка" что солома. Не то куришь, не то соску сосёшь. Бросил бы, да совести не хватает. Привык добро беречь.

Бреду дальше, сворачиваю за угол и иду вниз по Александровской, родной улице, где дом мой, где всё такое близкое, грустно-прекрасное, как всё в прошлом. Вот и стадион. Был он, помнится, имени Балицкого, наркома энкаведешного. Теперь просто стадион "Динамо", ничейного имени. А напротив — мой дом. Вот и длиннющий наш балкон. Мы с Вовкой совсем, казалось, недавно раскатывали по нему на велосипедаке.

Я стою и смотрю на наши окна. Они освещены, все пять. Там, за ними, мои родные. Хочу представить себе, что они сейчас делают, чем заняты, о чём думают, и не могу. Уж, во всяком случае, меня сейчас не ждут. Отец, вернее всего, сидит сгорбившись за столом над своим любимым Фейхтвангером. А мать... даже не придумаю. Возится, наверное, на кухне или просто прикорнула на диване. Странно только, что свет во всех окнах. Никогда у нас такого не бывало. Разве что в праздники, когда гостей полон дом. Но чтобы просто так?.. И свет-то какой! Не было в нашем доме этих тряпичных абажуров, такой розово-голубой безвкусицы. Нет, что-то тут не так. Не мой это дом.

Я топчусь под окнами, с трудом сдерживаю нарастающее беспокойство. Неужто не кончились наши беды? Между прочим, получил я на днях перевод, и подпись мать на нём поставила, значит, жива-здора. Что же могло произойти?

Одно ясно. В дом идти незачем. Если и ждут меня, то не здесь. Я бросаю последний взгляд на родной дом и бреду дальше. Куда, ещё не знаю.

ГЛАВА 33

ГОРЬКИЕ РАДОСТИ

Снежинки пляшут перед моими глазами, умирают на лице. Я получил свободу, но что с ней делать, не знаю.

Прохожу до конца переулка и натыкаюсь на телефонную будку. И как же я сразу не подумал? Позвоню Шурке, пусть

за меня думает. Уж он-то будет знать, что мне делать. Как раз и монетка есть. Недаром, всё же, "Нашу марку" покупал.

Кручусь у будки, а всё занято и занято. Ну да ладно. В конце концов, мне, не к спеху. Больше ждал. Погуляю по родному городу.

Беру курс на Крещатик. Очень хочется на него взглянуть. И до чего же мы любили его! Весь, от Купеческого до Бессарабки, был он нами изучен, как парта, на которой просидели все школьные года. Каждую зазубрину, каждую кляксу перед глазами держали.

Но до Крещатика не добрался. На пути какая-то заварушка. Народ толпится, голоса — громкие, плач мальчишеский, что-то там происходит.

У подъезда стоит машина — чёрная "эмка". Других в то время почти и не было. Стоит "эмка", а рядом — два мужика. Лица — злобные, распалённые.

— Ты чего ко мне пристал? — Хрипло скандирует мордатый краснорожий тип в засаленном ватнике и облезлой шапчонке. — Они мне машину ломать, а я на них смотреть?

Он, значит, хозяин "эмки", шофёр.

— А кто дал право детей бить? Сказать нельзя? Гляди, что с мальчишкой сделал! — кричат из толпы.

Тут же и мальчишка. Потерпевший, так сказать. Он громко всхлипывает, икает и пускает носом красные пузыри.

— Зачем же ребёнка бить? Негодяй! — Это его противник. Солидный, в драповом пальто, с котиковым, шалевым воротником, и такой же шапке. Сразу видно — интеллигент. И по одежде, и по лицу, и по тому, как дрожит весь.

— А за машину кто в ответе? Жив будет твой пацан, не убудет от него, а хулиганить теперь уже не станет! — Шофёр трусливо озирается. Кричит он не столько, чтобы устроить, сколько ради своего успокоения. Чувствует всеобщую враждебность.

— Нет таких прав, чтобы ребёнка бить! А вот мы тебя сейчас научим, как с детьми обращаться! Машину ему пацан поломал! Где он тебе её поломал, покажи, где поломал? — Толпа угрожающе наступает, и шофёр явно сдаёт свои позиции. Он зябко ёжится и норовит втянуть голову поглубже, хоть и некуда её втягивать. Не такой у ватника ворот, чтобы в него спрятаться.

— Вот я вас сейчас в милицию отправлю, там вам объяснят, как с детьми обращаться! — с новыми силами идёт в бой тот, что в котиках, чувствуя поддержку толпы.

Лицо шофёра вдруг проясняется. Глаза его нагледуют. В их прищуре уже нет страха. Взгляд язвителен и угрожающ.

— Как, как ты сказал? А ну-ка, повтори. В *полицию* ты меня отведёшь? Какая тебе тут полиция? Граждане, вы слышали? В полицию он меня, слышали? Ишь, полицией меня пугает! Вы слышали, граждане? Вот я сам тебя сейчас в милицию сдам! Ты кто же такой? Сейчас милиционера приведу, и ты ему про полицию расскажешь!

Интеллигент меняется на глазах. Лицо становится длинным, а рост, напротив, укорачивается. Даже мех на шапке взлохматился...

— Какая "полиция"? Я совершенно ясно сказал: *милиция*! — скандирует он прерывающимся, шатким голосом. — Граждане, товарищи, вы все слышали? Я же сказал, что отправлю его в ми-ли-ци-ю! Что же это такое? Надеюсь, вы подтвердите? — Он попеременно бледнеет, краснеет, щёки его набрякают, а глаза часто моргают.

Мне становится не по себе. Уж кто-кто, а я его понимаю. И, надо полагать, не я один. Толпа у машины тает. Вот уже осталось нас пятеро. Двое спорящих, я и две старушонки. Они тоже уже наладились улепетнуть. Так что я оказываюсь единственным свидетелем. А какой из меня свидетель? Что я вообще в настоящий момент? Ни вида, ни документа приличного. Одна лишь чахлая бумажонка, где сказано, что был *там* и освобождён в связи с прекращением дела. Куда с такой в свидетели?

Интеллигент ещё петушится. Он готов бороться до победы.

— Иди ты к... матери, — выдаёт мордатый напоследок и вразвалочку идёт к машине. Спина у него победная, торжествующая.

Но мне давно пора к автомату. Уйму времени потерял и настроения не улучшил. Так и стоит перед глазами поганая морда. Ух, сволочь какая!

Тыфу, чуть про полицию в трубку не брякнул.

— Ты, Шурик? — сразу узнаю я голос. Я его узнал, а он меня — нет. Неужто и голос у меня другим стал?

— Я это, — говорю, — Доська. Я, Шурка. Неужто не узнаёшь?

— Ух, Доська, ты?

— Ну, я. Кому же быть?

— Ты откуда?

— Да вот, — говорю, — пришёл домой, а окна мне чужими показались. Решил сначала к тебе. Что у меня дома? Родители где, здесь, в Киеве?

— Иди ко мне. Не стоит по телефону. Придёшь, всё объясню. Не волнуйся. Живы они и здоровы. Давай поскорее!

Самое, конечно, главное, что живы и здоровы.

Иду к Шурке, такой знакомой, милой дорогой. Ох, до чего же хорошо снова шагать по этим улочкам, где знаешь каждый камень, каждое дерево, каждую рытвину на тротуаре.

Вот и Шуркин дом. Архитектурный шедевр эпохи великих пятилеток. Снаружи — без излишеств, а внутри — очень даже недурно.

Шагаю через ступеньку, добираюсь до двери, а она — нараспашку, и уже мнут меня, тискают, прямо-таки ломают кости мои дорогие мальчишки. Наконец, отпускают и, не дав ни опомниться, ни раздеться, тащат к дивану. Самое здесь почётное и уютное место.

А я... не знаю как и сказать... Короче, место уютное, а мне на нём — совсем наоборот. И не пойму толком, почему. Не то, чтобы я грязный был или — не дай Господи — вшивый. Но всё равно не гожусь я для этого места. Не в свои сани сел. Вроде бы все во фраках и смокингах, а я в косоворотке ситцевой. Дурость, конечно, но факт. Так всё и было. Диван карельской берёзы, стулья, кресла такие же, одного гарнитура, и я среди них, с сидером. Его я по привычке, не подумавши, сюда притащил.

Дверной звонок работает в полную силу, и вот уже комната полна. Все в сборе. Всех обзвонил Шурка. Тогда ведь не так, как ныне, что все живут у чёрта на куличиках. Все на одном пяточке, в центре, хоть перекликайся!

Вроде бы уже собрались, но вижу, кого-то ещё ждут. Очень ждут, даже нервничают. Наконец, ещё раз тренькнул звонок, и все облегчённо вздыхают.

А за дверью — метушня. Что-то там обсуждают, чем-то шуршат, стучат, о чём-то приглушённо спорят. Я даже не сразу соображаю, что всё это означает. Но вот уже, всё, чем шуршали, стучали, о чём спорили, здесь.

Боже, что эти люди со мной делают! Даже смотреть больно. В наши дни, когда социализм уже так развился, что дальше некуда, такого не увидишь. Чего только тут нет! Икра чёрная, икра красная, ветчина розовая, с белой окантовочкой, колбасы разные, сыр янтарный, дырявый, со слёз-

ками, батоны белюсенькие, бутылочки с жидкостью прозрачной и головками белыми. А какие счастливые лица вокруг! И смотрят все на меня так нежно, так умильно, что в горле тесно, а в глазах — мокро. И вот ведь, что странно, прямо-таки чудовищно странно: не хочется мне ничего! Ни икры, ни ветчины, ни сыра с дырочками, ну, ничего, решительно ничего. Не хочется, и только. Я, конечно, ребят не обижу, всё попробую и физиономию сострою, какую нужно, но душа не лежит. Скучно мне, ох, до чего же мне скучно! Не могу я ребятам объяснить, что не гожусь я ещё для такого, что не перерезана ещё пуповина, которая меня с прошлым связывает. Да и не прошлое. Самое оно для меня настоящее.

А им и впрямь радостно. И радость их настоящая, искренняя и неподдельная. Мне она недоступна. Что-то во мне испортилось. Какие-то детали повреждены в моей машине. Ко всему надо привыкнуть и к свободе тоже. Водолаза и то не вдруг из морских глубин на простор воздушный поднимают.

И ещё я заметил, что рядом со мной никто не садится. Может быть, показалось мне, и просто мнительность разыграла, но воспринял я это так, словно брезгают мной мои мальчишки. Души наши впритирку, тут сомнений нет, а тела — врозь. Им тоже как-то не по себе.

Мне потом, много позже, Шурка признался, что и, правда, была между нами необъяснимая физическая отчуждённость. Слова подходящего он подобрать не сумел, а так, в общих чертах, чувства свои обрисовал. Что-то среднее между брезгливостью и жалостью. Как возле умирающего. Дорогой, казалось бы, человек, а вот рядом с ним как-то неприятно. Жутковато даже порой.

В общем, сумел я его понять, особенно когда в зеркало заглянул. Подробно я тогда себя рассмотрел. Лицо подпухшее, жёлтое, с зеленоватым оттенком, а борода на этом фоне словно приклеенная, чужая. И ещё у самых скул щёки дёргаются. Правая чаще, левая — пореже. Вот уж не думал, что может со мною такое сделаться. И с каких же это пор? Не иначе, как со вчерашнего дня, когда я, уже при деньгах и при сидере, с Меерзоном воевал. Будь такое раньше, мне бы товарищи сказали. А не сказали. Значит, ничего и не было.

Как бы там ни было, в тот вечер вот так, в стеснении неизъяснимом, посидел я за хорошей рюмкой и отменной закуской. До сих пор понять не могу своей холодности к тог-

дашнему столу. Не пошли у меня тогда ни ветчина, ни сыр швейцарский. И водка тоже. В сон меня вогнала, а веселья не добыл. А почему, не пойму. Но было так, хоть и жаль. Ведь такой вечер только один раз в жизни и бывает. Единственный. Первый день свободы! Он же как первый выход в космос.

Вот ведь многие летают. И герои они все, спорить не приходится. А всё же первый на все века — Гагарин. Какой ни на есть, а он.

И вечер вот такой. Один, неповторимый и незабвенный. Многие мои "коллеги", между прочим, этот день, как именинный, праздновали. А у меня не получился он таким, о каком мечтал и в снах видел.

О родителях моих вот что мне ребята рассказали. Вскоре после моего ареста дали им, как тогда это называлось, минус двадцать. Смысл такого минуса состоял в том, что вся родная страна, которая и широка, и много имеет рек, лесов и полей, в полном их распоряжении. Могут они в ней дышать так вольно, как нигде. Кроме двадцати городов. Они им для дыхания противопоказаны. Среди них и наш.

Пришлось родителям моим перебраться. Так оказались они в Чернигове и, надо прямо сказать, устроились в нём весьма недурно. Я бы даже сказал, отлично устроились, всем врагам назло. Директор фельдшерской школы, той самой, где герой гражданской Шорс гуманитарную науку постигал, оказался человеком смелым и не побоялся взять родителей на должность преподавателей. И с квартирой всё устроилось наилучшим образом. Поселились они в доме на две семьи, где соседом оказался сам председатель Горисполкома.

Побывал я у родителей. Их потешил, сам потешился и вернулся в Киев, не имея уже ни кола, ни двора. Стал моим теперь Шуркин дом на Костельной. Поселился я в нём и вскоре почувствовал себя членом их семьи. Хорошо мы зажили. Хотел воздать им должное и здоровья пожелать, но, увы, нет уже родных Шуркиных. И Шурки тоже. Только любовь и благодарность мои остались. Они уже со мной проживут столько, сколько мне самому суждено.

Вот так и началась моя вольная жизнь.

Отдохнул я день-другой и взялся свои дела налаживать. К удивлению моему, встречен я был в университете весьма сочувственно. Без всяких проволочек оформили моё возвращение, восстановили во всех правах, и потекла моя студенческая жизнь так, вроде ничего и не было.

Профессора и преподаватели симпатий своих ко мне не скрывали. Все были любезны, даже предупредительны, так что теперь уже я — и с большим основанием — мог сказать, с кем народ. Врал Меерзон. С нами был народ. Не с ними.

Но при всём том учиться было мне не под силу. Сяду, возьму в руки книгу, прочту страницу-другую, и всё, сплю как младенец. Хоть сидя, хоть стоя. Ничего с собой поделаться не могу. Экзамены уже вот-вот, а я — пень пнём. Стерилен, как хирургическая игла. Не работает голова. Так вроде всё в норме. И отёчность спала, и дёргаться перестал, и всё прочее, слава Богу, в порядке, а голова... что есть, что нет.

И быть бы мне второгодником, не подставь своё плечо наша профессура. Их никого уже в живых нет, но вечно живы они, мои учителя, в благодарной моей памяти.

Кой-кому и кое-что я на экзаменах всё же отвечал, но кой-кому и вовсе ничего. Возьму билет, посмотрю на него застывшим от ужаса взором и иду сдавать. Не в смысле отвечать, а в прямом — билет сдавать, поскольку это единственная возможность сохранить свою репутацию.

А профессор взглянет мне в глаза с необходимой доброй тоской и впишет в зачётку "государственную" оценку (так у нас трояк принято было называть). Даже сам академик Палладин, Александр Владимирович, который к нам чуть ли не с самого Олимпа спускался.

Но самую памятную зарубку на моём сердце оставила доцент Пименова, сморщенная, как сухофрукт, старая дева, что у нас курс палеозоологии вела. Не в пример прочим, она меня даже спрашивать не стала. Посадила против себя, упёрла в меня постный, стародевичий взгляд и тихеньким просящим голосом вопрос задаёт:

— Удалось вам, коллега, классификацию одолеть?

И я ей тоже в тон, тихо, тихо:

— Нет, не удалось. Память у меня расстроена, и вообще трудно.

— Ну, потом выучите, — говорит и к зачётке руку протягивает. И улыбнулась, чтобы мне её дар принять было можно, чтобы взял его не стыдясь. — Восстановится память, и всё будет хорошо.

Умница была, хоть и старая дева. А может, и не старая дева, просто жизнь не сложилась.

Потом раскрыла мою зачѣтку и поставила трояк. Ни минуты не думая, без колебаний. Спасибо ей.

И так она меня проняла, что уже через год, когда вернулся ко мне и разум и память, вы зубрил я всю ископаемую премудрость и пришѣл к ней. Не за отметкой пришѣл. Просто в благодарность. И ещё чтоб совесть её в соответствии с благородством душевным привести. И не жалею. Лихо я ей тогда всё выложил. А она мне руку пожала и большое будущее пророчила. Голову хвалила и приход мой оценила так, что я весь краской залился. И на прощание ещё раз руку пожала, да так крепко, что я новыми глазами её увидел. Вот так сухофрукт! Я её удивил, но и она в долгу не осталась.

* * *

Какая железная это штука, жизнь! Какая могучая, всепобеждающая сила заложена в ней! Вот, казалось бы, навеки изуродовала война землю. Изранила снарядами и бомбами, изборозила окопами, захлामीла руинами, разметала безжалостно всё, что росло и цвело. И кажется, что это уже надолго, навсегда. Ан, нет!

И года не пройдет, а уже не узнать этих мест. Конечно, следы сохранились. Что-то от окопов осталось, что-то от воронок снарядных, что-то и от домов разрушенных. Есть следы. Но жизнь уже захлестнула, зачеркнула, укрыла от глаз наших шрамы, рубцы и оспины. Ушли в почву руины, зазеленели, запестрели цветущими травами воронки и брустверы, пробились из пней свежие побеги. И птицы щебечут, и кузнечики трещат, и мотыльки порхают, будто не было на этой земле ни смерти, ни тлена, ни буйства злобных сил.

Вот и у меня так. Всё встало на свои места. Конечно, кой-какие следы остались. А в общем, грех жаловаться — сухим из большой воды вышел, что касается тела.

Но, кроме тела, есть у человека душа. Её, конечно, никому видеть не дано. Что с ней происходит, какие изменения она претерпевает, ни простым глазом, ни рентгеном не обнаружить. Даже сам её обладатель не ведаёт. В полном неведении находится до поры до времени.

Казалось бы, освободили человека, вернулся он к прежней своей жизни, здоровье сохранил, чего ещё? Что пережил много, перестрадал? Так что с того — ведь пере-жил! Всё позади осталось! А время всё залечит. Уйдёт плохое, позабудутся страхи, и останется в памяти даже немало и хоро-

шего. Со времён царя Соломона каждый знает, что всё проходит. Всё.

Вот только у тех, кто *там* побывал, кто видел, слышал и на себе испытал, не проходит. Никогда. Это как заложенный в хромосомах недуг, как скрытая в укромном месте мина. Их никто не видит, никто о них не ведаёт. Но наступает грозный час, когда объявляются они, и тогда — как сказано — горе побеждённым!

Такую коварную хромосому, такую предательскую мину носим мы в наших душах. И, когда говорят, что в здоровом теле здоровый дух, я не спорю. За этой сентенцией — века. Но я знаю, что она неверна.

Давно минули страшные годы. Всё улеглось, утихло, позабылось. Но в душах наших ждёт своего часа однажды поселившийся страх. Память о том, когда свободный, уважаемый, сильный, уверенный в себе человек мигом превращается в ничто, в нуль, в отрицательную величину, неистребима. Всё можно забыть, только не это.

Такова она уже, природа советского человека. Такой была и будет до конца его дней. Гомо советикус, одним словом.

Меня, конечно же, тревожит вопрос: что всё-таки станет с этим, далеко не малочисленным племенем? Ведь я себя тоже к нему причисляю, хоть и с оговорками.

Думается, что нынешний ход событий даёт на этот вопрос ответ. Не стало системы, породившей советского человека, а значит, и воспроизводство его прекратилось. Нынешние поколения его свойств не унаследовали, и, следовательно, уход в небытие Гомо советикуса — дело времени. И весьма недолгого.

Не помню, к сожалению, кому принадлежит мысль о том, что новые идеи не побеждают. Просто те, которые прижизнились старых, вымирают.

Так что прозрение, если оно и происходит, существенной роли в развитии общества не играет. Прозревшие, как и незревшие, обречены на вымирание. Они — последние могикане, и вряд ли стоит об этом жалеть. Ничего хорошего это племя человечеству не принесло. А если и принесло, то не благодаря уродливой его природе, а вопреки ей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Выпуская в свет вторую часть моей книги "Становление", я должен просить прощения у читателей. Я дважды провинился перед ними. Первый раз, когда пообещал, что книга выйдет в ближайшее время. Увы, этого не произошло.

Второй раз я провинился, когда в своём предисловии к первой книге пообещал показать, как советский человек, чистокровный "гомо советикус", приходит к отрицанию и даже ненависти к воспитавшей его системе.

Не удалось мне выполнить и этого обещания. Не удалось потому, что всё пережитое мною в годы тридцатые, существенного влияния на мои убеждения не оказало. Напротив, я вышел на волю преисполненный уважения к мужественным людям, с их твёрдой верой в коммунистические идеалы. Незабываемые мои друзья, упомянутые в книге, Григорий Гарин, Исаак Нодельман, Григорий Озерянский, дядя мой Моисей Сименовский, Владимир Болотин, с которыми мы встречались на протяжении ряда последующих лет, оставались верными своим убеждениям.

Не скажу, что были они ортодоксами, что всё принимали и всё одобряли. Отнюдь. Многие критиковали и осуждали. Но ничего по существу, в главном, не отрицали и не отвергали.

Огромную, быть может, даже решающую роль сыграла наша Победа, хотя и здесь возникали сомнения и разночтения.

Помню, как с пеной у рта пытался я убедить друзей моих в том, что никакой роли советская идеология в победе не сыграла. Что в Отечественной 1812 были та же преданность народа своей родине и те же жертвенность и героизм. Значит, не в Партии и коммунистической идее дело. Но мне пришлось с п о р и т ь. Многим позиция моя пришлась не по душе. Особенно дяде Сименовскому, генералу, увешанному орденами и прошедшему всю войну. И всё же на долгие послевоенные годы наши сомнения утратили свою разрушительную силу. Как говорили: война всё спишет. Она и списывала. Потому, что факты есть факты. Это они, как мы считали, партия и правительство, с тем же Сталиным во главе, сумели создать военную промышленность на краю света и оружие первоклассное и, главное, разгромить мощнейшую за всю историю человечества армию. Что тут можно было

возразить? Нечего. Гордиться надо, а не возражать. Вот мы и гордились.

Так всё шло до самой "оттепели". Подорвала она, "оттепель", символ веры советского человека? Наступил наконец перелом в душах людей? Увы, не наступил. Конечно, глаза и слух ласкали смелые речи. Конечно, очень было приятно встречать на страницах журналов рассказы Солженицына, очерки Дьякова о пережитом и прочее. Всё так, но не более того.

Весьма узок был круг читателей "сам" и "там" издана. И процессы судебные над диссидентами задевали всё те же немногочисленные круги общества. И я бы даже рискнул сказать, что многие из тех, кого они задевали, оставались при тех же "гомосоветиковских" убеждениях. Более того, диссидентские идеи нередко вызывали неприязнь. Даже прогрессивная часть интеллигенции далеко не всегда принимала их, тем более, что она нашла своё и весьма удобное место в ниспровергаемой системе. Критика, недовольство, осуждение ещё очень далеки от ниспровержения. Супруги частенько ссорятся, ругаются и даже дерутся, но бежать в ЗАГС отнюдь не торопятся. Ссоры, ругань и побои нередко вполне уживаются с брачным союзом. Так и в стране и в народе нашем советском. Критиковали, негодовали, возмущались и при всём том убеждений своих не меняли. "Лишь бы не было войны", любили говорить по всякому поводу люди.

Взгляды мои стали существенно изменяться лишь с конца шестидесятых годов. Решающую роль в этом сыграли западные радиостанции, которые я стал слушать регулярно с 1967 года. Пристрастился я к передачам "Свободы" и лондонской БиБиСи. До сих пор звучит в моих ушах голос незабываемого Анатолия Максимовича Гольдберга. С них, "забугорных" голосов, началось моё прозрение. Я наконец в полной мере осознал: всю жизнь мы получали вместо информации одну лишь бессовестную и бесстыдную ложь.

Особенно впечатлили меня трансляции из зала заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в дни израильско-арабской войны. Я и прежде, конечно, допускал, что каждая из сторон может излагать события с известной тенденциозностью. Что-то преувеличить, что-то скрыть. Но, чтобы всё сплошь, все факты поставить с ног на голову? Подобное даже не приходило мне в голову.

И всё же, при всём том, я ещё оставался советским человеком. Костяк моих убеждений был прежним. Имена

Маркса, Энгельса, Ленина, вера в справедливость марксистской теории и идей Октябрьской революции, героизм тех, кто сражался на фронтах Гражданской, продолжали храниться в моём сознании в качестве вечных нетленных ценностей. Переворот в душе ещё не совершился. И это при том, что были уже мною прочтены или прослушаны по "голосам" "Архипелаг" Солженицына, "Зияющие высоты" Зиновьева, "Номенклатура" М.Васленского, романы Орвела и многое другое.

Революции в моём сознании я обязан человеку, безграничное уважение к которому я храню по сей день. Имя его — Виталий Алексеевич Коротич. Его "Огонёк" зажёл то пламя, которое испепелило всю систему моих прежних убеждений. "Огонёк" был единственным журналом, последовательно разоблачавшим порочность тоталитарного Сталинского режима. И делал это убедительно, корректно, в лучших публицистических традициях. Известную роль сыграло здесь то, что знакомство моё с Виталием Алексеевичем было давним. Язык не повернётся назвать его моим учеником. То, что он был студентом в руководимой мной группе (незаурядным, кстати, студентом), не даёт мне такого права. Я не был его Учителем в высоком значении этого слова. Но событие это привело меня к очень важной мысли, которую в виде афоризма я высказал в одной из передач филладельфийской радиопрограммы "Меридиан". Звучала она так: "Старшим очень важно не упустить того момента, когда им следует перестать учить молодых и начать учиться у них".

Создавая этот афоризм, я думал о бывшем студенте моём Вите Коротиче. Ему я и обязан своим окончательным прозрением. Очень запоздалым.

Конечно, читатель вправе спросить: для чего же было огород городить? Главное-то — как прозрение произошло — не показано! И будет такой читатель прав. Оправданием может мне послужить лишь встретившаяся однажды мудрая мысль: "Учёного, — сказано в ней, — надо оценивать не по тому, чего он не сделал, а по тому, что он дал науке".

Хотелось бы, чтобы и мой труд был оценен так. Да, я прозрения не показал. Но то, что стоит в заглавии книги, думаю, вполне оправдано. В каждой главе, строке, странице я старался показать природу советского человека и пути, которыми шло его развитие. Как она возникала, формировалась, созревала. И думаю, что тут меня упрекнуть не в чем.

Это я сделал. А чего не сделал, пусть уж простится мне. Для того я и сослался на выше приведенные слова.

В заключение хочу напомнить читателю, что от описанных в книге событий меня отделяет более полустолетия. И писалась книга по памяти. Никаких записей в те далёкие годы я не делал. Естественно, что ни хронология событий, ни имена моих героев точностью не отличаются.

Многие имена память сохранила полностью, в верности иных я могу усомниться. Наконец часть имён ушла из памяти навсегда. Такие пришлось заменить вымышленными.

Пишу об этом, дабы никого не вводить в заблуждение. Не хочу никого обидеть и никому не дать права на присвоение чужих заслуг. Дело в конце концов не в именах.

СОДЕРЖАНИЕ:

Глава первая	5
Глава вторая	15
Глава третья	20
Глава четвертая	45
Глава пятая	52
Глава шестая	63
Глава седьмая	83
Глава восьмая	91
Глава девятая	108
Глава десятая	113
Глава одиннадцатая	119
Глава двенадцатая	133
Глава тринадцатая	145
Глава четырнадцатая	161
Глава пятнадцатая	170
Глава шестнадцатая	177
Глава семнадцатая	182
Глава восемнадцатая	197
Глава девятнадцатая	208
Глава двадцатая	215
Глава двадцатая первая	223
Глава двадцать вторая	231
Глава двадцать третья	236
Глава двадцать четвертая	244
Глава двадцать пятая	250
Глава двадцать шестая	270
Глава двадцать седьмая	278
Глава двадцать восьмая	285
Глава двадцать девятая	297
Глава тридцатая	305
Глава тридцать первая	316
Глава тридцать вторая	321
Глава тридцать третья	339
Послесловие	348